
М.Н. Волконский
Сочинения в четырех томах
Воля судьбы
Забытые хоромы

М. Н. Волконский

М. Н. Волконский

Сочинения
в четырех
томах



Москва
Издательство „Пресса"
1992

М. Н. Волконский

том третий

Воля судьбы

Забытые хоромы

Москва,
Издательство „Пресса".
1992

84 Р 1
В 68

СОСТАВЛЕНИЕ
Т. Ф. ПРОКОПОВА

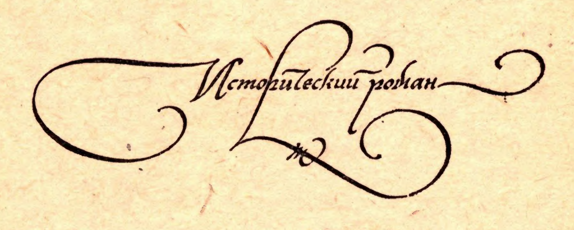
В $\frac{4702010101-2582}{080(02)-92}$ 2582—92

ISBN 5-253-00630-3

© Прокопов Т. Ф. Составление. 1992.
© Сейновский Б. Н. Оформление. 1992.



ВОЛЯ СУДЬБЫ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I
КНЯЗЬ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Несмотря на то, что старый князь Андрей Николаевич Проскуров, Рюрикович по происхождению, был богат, знатен, и если не более, то во всяком случае не менее своих сверстников обладал способностями к службе,— он, достигнув солидного возраста, не сделал карьеры. Ему просто не было счастья. Только что начинала улыбаться ему судьба, как являлось непредвиденное обстоятельство, разрушавшее все планы и надолго уносившее надежду на достижение желанной цели.

И это было тем обиднее, что сначала Проскурову повезло. Двадцати семи лет князь Андрей Николаевич, покровительствуемый Меншиковым, только что достигшим апогея своего величия с воцарением государыни Екатерины I, получил чин бригадира. Все улыбалось ему, он почти был уверен, что счастье в лице всесильного Меншикова, навеки не изменит ему, лишь бы суметь угодить временщику, и приложил к тому все старания.

Но императрица Екатерина вскоре скончалась, а затем и Меншиков пал и был отправлен в ссылку. Проскуров не был замешан в его дело, но, как лицо, которому все-таки покровительствовал опальный, должен был уехать к себе в деревню. Ему намекнули об этом; и он, из боязни навлечь на себя еще более тяжкие беды, не заставил повторять себе намек.

Наконец, после долгих усилий, просьб и искательств, Проскурову удалось вернуться в Петербург, но уже сорокалетним бригадиром. Этот чин, завидный в двадцать семь лет, теперь казался как будто не совсем почетным, когда

сверстники князя давно были уже генералами, а иные даже заседали в кабинете.

После тринадцати лет деревенской жизни Проскуров попал в Петербург в самый разгар борьбы Волынского с Бироном. Устроившись в столице, он старался осмотреться и решить, откуда ждать ему столь желаемых благ. Бирон был временщиком. Проскуров, видевший силу Меншикова, который, несмотря на эту силу, все-таки не мог устоять против происков врагов, теперь, видя всеобщую, хотя скрытую, нелюбовь к Бирону, решил, что и этому временщику не миновать гибели, и примкнул к Волынскому. Князь рассчитал верно. Однако не совсем: Бирону суждено было пасть, но только не Волынскому предстояло победить его; Волынский сам пал, казненный на площади. Проскуров не ждал на этот раз даже намека и сам поспешил уехать поскорее в деревню.

Скончалась императрица Анна Иоанновна, а через три месяца после этого правительницей Анной Леопольдовной был сослан Бирон. Проскуров снова ожил, снова полный надежд вернулся в Петербург, нашел дорогу к сильным людям, но едва приготовился встретить радостью как будто к нему на этот раз обращенную улыбку счастья, как новый удар, новое разочарование: ноябрьскою темною ночью цесаревна Елизавета Петровна явилась в казармы Преображенского полка, с тремястами солдат арестовала правительницу и была провозглашена самодержавной императрицей. Сильные люди, на которых надеялся и в которых верил Проскуров, а именно Миних, Остерман, Головин, были сосланы в далекие города, а сам Проскуров отправлен «вечным» бригадиром вновь в свое имение. «И все за то только, что в жилу не умел попасть»,— как говорил он.

С тех пор, то есть с воцарения Елизаветы Петровны, князь Андрей Николаевич жил уже безвыездно в деревне.

Однако, поселившись там, он все еще в глубине души надеялся, что настанет наконец и его время, и ждал этого времени, не замечая, что годы проходят, а сам он стареется. Это начало старости становилось в нем в особенности заметным по увеличивающейся с каждым годом ворчливости и раздражительности.

Свою барскую усадьбу Проскуров устроил в виде замка, окружив ее частоколом, валами и бойницами: он открыто принимал у себя только таких людей, которые бранили современные порядки, и не пускал к себе лиц на-

чальствующих; и благодаря его богатству это сходило ему, а главное — и ездили-то к нему в сущности люди самые смирные, только прикидывавшиеся пред ним недовольными, чтобы иметь к нему доступ, потому что всегда находили у него хороший завтрак и отборные вина. Князь Андрей Николаевич только и бывал в духе, когда, сидя за столом и кивая дворецкому, чтобы тот подливал вина, слушал разговоры о том, какие тяжелые времена, мол, переживаются теперь. Тогда он хмурил свои нависшие на глаза брови и одобрительно потряхивал чубуком.

Несмотря на безвыездную жизнь в деревне, Проскуров все-таки внимательно следил за всем, что делалось в столице, в особенности за наградами и повышениями, и, встретив в «Петербургских Ведомостях», в списке награжденных, знакомую фамилию, выходил обыкновенно из себя, комкал газету, кидал ее и становился несносен для окружающих. Правда, иногда он сам старался совладать с собой и тогда запирался в своем кабинете.

Но ничто не бесило Андрея Николаевича так, как возвышение Разумовского. Это он уже никому простить не мог и даже в провинции не терпел ненавистного имени. Одного из гостей он чуть не затравил собаками за то, что тот заговорил при нем о Разумовском, хотя и неодобрительно. Андрей Николаевич не хотел примириться с мыслью, что простой певчий стал вдруг вельможей, когда он, князь Проскуров, придворный Рюрикович, сидит где-то у себя в деревне с чином бригадира. Он всей душою ненавидел этот свой чин и тоже комкал и бросал письма, не читая их, если на адресе к титулу было прибавлено «и бригадиру». Впрочем, он говорил всем, что на чины не смотрит и что незачем ему иметь их, когда у него есть неотъемлемый княжеский титул, прирожденный, который пожаловать нельзя. И этому прирожденному титулу он придавал такое значение, что у него в усадьбе, в штабе служащих, жил ученый итальянец, специально приглашенный для составления родословной князей Проскуровых.

II

НАЙДЕНЫШ

К 1789 году князь Андрей Николаевич женился в Петербурге по любви и, пока все хорошо шло у него тогда относительно службы, был ласков с женою и, казалось, ду-

ши в ней не чаял. Он ждал, что первым ребенком у него будет непременно сын, продолжатель рода Проскуровых, и так, казалось, уверен был в этом, что только и говорил о том, как он назовет сына, как будет растить и воспитывать его. И вдруг родилась дочь. Князь заперся на неделю к себе в комнату, не пожелал видеть ребенка, не пошел к жене и отменил приготовленное заранее угощение для дворовых. На крестинах он тоже присутствовал лишь официально и никакого пира не устроил. Девочку назвали Ольгой.

С рождением дочери Андрей Николаевич вдруг охладел к жене. Вскоре тут пошли служебные неприятности. Положение Волынского, у которого «искал» Проскуров, казалось поколебленным. Князя грызло предчувствие, что он опять дал промах, и настроение его духа становилось все хуже и хуже. Конечно, страдали от этого главным образом домашние князя.

Княгиня была женщина болезненная, худенькая. Она едва перенесла первые роды, и доктора сказали, что вряд ли у нее еще будут дети. Это окончательно сразило Проскурова. Он долго не мог примириться с мыслью, что должен навсегда расстаться с мечтою о сыне.

Отношения его к жене совершенно испортились. Дом их разделился на две половины, и князь из своих комнат иногда по целым неделям не хаживал на половину княгини.

Однажды, рано утром (князь Андрей Николаевич только что встал с постели), в парадных больших сенях раздался крик младенца. Это был настойчивый, заявлявший свои права на жизнь, крик маленького существа, видимо, оставленного на милосердие добрых людей. Проскуров, сидевший в это время за сбитнем, поднял голову, прислушался, сейчас же понял, в чем дело, и велел принести к себе ребенка. Было ли в этот день особенно весело на душе Андрея Николаевича, потому что он получил накануне добрые вести о ходе борьбы Волынского с врагом его, или подкинутому ребенку было суждено найти кров в доме Проскурова, но когда князь нагнулся над корзиной, где лежало дитя, то улыбнулся и проговорил:

— У-у, славный какой, да еще мальчик!

Подкинутому мальчику было не больше нескольких дней, но он, словно поняв, что его судьба зависит от настоящей минуты, перестал кричать и растянул свой беззубый ротик, широко раскрыв удивленные черные большие глаза. Князь Андрей Николаевич окончательно рассмеялся и решил оставить мальчика у себя.

Словно в пику жене, он устроил торжественные крестины найденышу, дал ему, в честь Волынского, имя Артемия и сам занимался всеми мелочами необходимой для ребенка обстановки. Он велел пол в детской затянуть верблюжьим войлоком, люльку обить шелком, сделать несколько шелковых же покрывал и привезти из вотчины кормилицу, здоровую и красивую.

Кормилицу привезли действительно здоровую и красивую, пол затянули, люльку обили, покрывала дорогие сделали, но не сделали многого самого необходимого, о чем князь не умел распорядиться — даже свивальников не хватало. Однако Проскуров остался доволен. Княгиня, занятая на своей половине дочерью, не интересовалась найденышем, но князь иногда призывал ее и хвастал пред нею мальчиком.

Пока они жили в Петербурге, можно было еще надеяться, что особенное благоволение князя к найденышу явится для него только мимолетным занятием, развлечением и пройдет впоследствии, как одна из барских затей или прихотей. Но вскоре дело оказалось гораздо более серьезно. Как раз в это время случилось падение Волынского, и Проскуровы, торопливо собравшись, уехали в деревню.

Здесь, в деревне, очутившись без занятия, озлобленный неудачею, князь Андрей Николаевич единственно с кем был ласков — с маленьким Артемием. Он как будто радовался, что этим делает больно жене. Он, видевший для себя в жизни одни только неприятности, казалось, готов был теперь платить всему миру тем же, а так как до «всего мира» ему не достать было, а возле него находилось одно только существо, способное понять и воспринять горечь обиды, а именно жена, то он на ней и вымещал, должно быть, всю свою злобу к человечеству.

Одним из главных орудий такой мести был подкинутый ребенок, и князь с редким терпением нянчился, возился с ним, подчеркивал свою нелюбовь к родной дочери и преувеличивал нарочно привязанность к Артемию.

Княгиня принадлежала к числу тех странных женских натур, которые по непонятной, особенной логике, или, вернее, отбросив всякую логику, с необъяснимой, тихою преданностью любят именно мужей-мучителей, безропотно покоряются им, боятся их, но любят безответною, самоотверженною любовью.

Самые тяжелые годы начинались для княгини, когда она должна была с мужем поселиться надолго в деревне после воцарения императрицы Елисаветы.

Проскуров попал тогда в прямую опалу, конец которой трудно было предвидеть. В иные дни, в особенности, когда из столицы приходили вести о наградах сверстников князя, Андрей Николаевич доводил свою жестокость с женою до такого нравственного варварства, что крепостные люди даже жалели ее. Княгиня молча терпела и плакала втихомолку. Проскуров не мог видеть слезы и при виде их приходил в окончательное бешенство.

Между тем время шло, дети росли. Андрей Николаевич выписал учителей и целый ворох книг для Артемия и сам наблюдал за его воспитанием. Он лично преподавал ему математику. Эти уроки послужили первым разъединением князя с его любимцем. Сначала все шло хорошо, но вскоре учитель стал выказывать нетерпение, а ученик с каждым днем — увеличивающуюся робость пред ним, вследствие которой, во время объяснения урока, смотрел на него лишь испуганными глазами и ничего не понимал.

Однако Артемий оказался способным и толковым. Остальные учителя были довольны им, и сам князь, когда бывал в духе и не запугивал мальчика, мог только хвалить его.

Несмотря на появившиеся теперь вспышки гнева по отношению к Артемию за неудачные уроки, князь не переставал утрировать свое расположение к нему, то нарочно говоря при жене, что вот, мол, он не может найти в своей родной семье утешение, а должен искать его в чужом, найденыше, то обещая после своей смерти, которой, вероятно, ждут не дождутся, оставить все этому найденышу, а княжну Ольгу лишить наследства.

Несмотря на то, что Андрей Николаевич старался всяческим образом унизить дочь пред Артемием, видя, что это действует на мать, он всегда называл ее «княжною Ольгою», а Артемия «найденышем».

Княгиня невыразимо страдала и от непрерывных уколов мужа, и от того, что не могла или, как она думала, не умела угодить ему, не спала ночи, хворала постоянно.

Андрей Николаевич так привык к болезненному состоянию жены, что, кажется, думал, что иначе она и жить не может и что все это — пустяки, ничего опасного нет, а есть только одно преувеличение и мнительность. Однако княгиня не только не преувеличивала своего недуга, но, напротив, скрывала его и иногда, чтобы сделать приятное мужу, через силу выходила к нему, к гостям, и должна была улыбаться и пить во время тостов вино, которое терпеть не могла. Она не могла переносить постную пищу,

но, несмотря на это, когда князю иногда приходила фантазия соблюдать вдруг самый строгий пост, принуждала себя есть неприятные для нее блюда. Стоило ей выказать страх пред лошадью,— на другой же день ее сажали чуть ли не насильно верхом и не спускали с седла до тех пор, пока она не падала изнеможенная. И много было подобных приемов, изводивших по капле терпение, энергию и здоровье бедной женщины. Проскуров каждый день ухитрялся найти что-нибудь новое.

Княгиня выдержала одиннадцать лет своей замужней страдальческой жизни, но на двенадцатом слегла наконец, измученная, больная, и эта болезнь была последним ее страданием.

III
ПЕРЕЛОМ

Только тогда опомнился князь Андрей Николаевич, когда было уже поздно, и дело оказалось непоправимым. Княгиня лежала при смерти. Чем дольше она перемогала свою болезнь, чем упорнее боролась с нею и скрывала ее, тем сильнее эта болезнь подступила теперь своим последним натиском и вдруг сломила так долго крепившиеся силы измученной женщины.

В большой, затянутой штофом спальне проскуровского дома, на широкой кровати с шелковым балдахином, лежала неподвижная, без кровинки в лице, княгиня.

С вчерашнего дня, после того как ее отсоборовали и причастили, она не сказала ни слова и, как легла на спину, так и оставалась, не меняя положения всю ночь. Никто не знал, в памяти она или нет, страдает ли, или уже ощущения у нее притупились, сознает ли, наконец, окружающее, или светлое забытье, предшествующее той величественной тайне, которую люди назвали смертью, охватило ее существо, готовое встретить свой мирный, тихий, непостыдный христианский конец, потому что иного конца и быть не могло у несчастной княгини, искупившей всей своей жизнью предсмертные свои муки. Она лежала без движения, и только по чуть заметному колебанию ее гофрированной белой кофточки да по редкому движению неплотно опущенных век можно еще было судить, что угасающая жизнь теплится в ней.

Князь, не раздевавшийся и не ложившийся уже три ночи, стоял у постели, боясь, что вдруг не увидит медленного

движения и дыхания жены, к которому он жадно столько раз в эти дни прислушивался. И именно потому, что он боялся не найти этого дыхания, ему показалось, что его уже нет, и что последнее движение жизни оставило больную. Он в ужасе,— не крикнув только потому, что судорога свела ему горло,— протянул руки к жене и двинулся вперед.

Княгиня вдруг подняла веки. Ее большие черные глаза открылись и неподвижно уставились на князя, стоявшего тут, против, возле.

«Сознает ли она, видит ли, понимает, простила она или нет?» — тревожно и сразу все одновременно пронеслось в мыслях у князя.

И годами, десятками лет, целою жизнью показались ему те секунды, пока смотрели на него черные осмысленные, без слов говорящие глаза умирающей. Да, они были осмысленны и говорили без слов, что она сознает все, видит, понимает и прощает ему.

Наконец, губы княгини шевельнулись и резким, внятным, особенным шепотом произнесли:

— Девочку... Олю...

Оле шел уже одиннадцатый год. От нее не скрыли болезни матери, но, пока думали, что больная вне сознания, ее увели, стараясь как можно сократить тяжелое впечатление. Оля могла уже понимать.

Кто пошел за Олей, когда ее позвала мать, и скоро ли привели ее, Андрей Николаевич не сознавал; он помнил только (и на всю жизнь запечатлелось в нем это воспоминание), как девочка, серьезная, словно взрослая, без слов, с страшно изменившимся, осунувшимся, но красотою похожим на мать личиком, остановилась у высокой постели и упала на колена.

Мать сделала слабое движение рукою, но последняя не слушалась и бессильно упала опять. Князь положил ее на голову Оли и заглянул в глаза жены, как бы желая узнать, то ли он сделал, что нужно. Взгляд черных глаз ответил ему благодарностью.

Потом больная долго собиралась с силами, и наконец ее губы снова шевельнулись, и чуть внятный на этот раз шепот сказал:

— Лю... би... ее...

Князь не выдержал, закрыл лицо руками, напрасно силясь подавить сухие рыдания без слез.

IV

НОВАЯ ЖИЗНЬ

С тех пор, то есть со дня смерти княгини, прошло восемь лет.

Оля из ребенка стала взрослою девушкой. Обращение с нею отца после смерти княгини резко изменилось. Схоронив жену, князь, в особенности первое время, был очень ласков и мягок со всеми окружающими. Он проводил теперь почти целые дни в комнатах дочери и занимался лишь одною ею. Недавний любимец его Артемий был переведен во флигель, но учителя сначала остались у него. Вскоре, однако, они разъехались, найдя, что условия их жизни в княжеском доме теперь стали невыгодны. Новыми их не заменили. Таким образом, Артемий, ровесник Ольги, рано оказался предоставленным самому себе.

Жизнь мальчика, лишенного товарищей, была одинока, и это одиночество спасло его. Если он не имел из-за этого одиночества многих радостей детства, то не имел также дурного примера. Скука и однообразие проводимых безвыездно в усадьбе князя дней пристрастили Артемия к чтению. Он рано научился забираться в библиотеку большого дома и там, забытый иногда всеми, просиживал часами, не отрываясь от книги. Он читал все, что попадалось ему под руку, и детское воображение, работая в нем и дополняя прочитанное, создавало чудные картины под влиянием описываемых в романах событий или приключений, рассказанных путешественниками.

Среди книг часто попадались и более серьезные, научные. Артемий прочитывал и их. Таким образом, когда он вошел в юношеский возраст, то оказался не только не лишенным образования, но мог считаться вполне человеком, знающим многое.

Пришлось ему случайно выказать раза два свои познания пред князем, и Андрей Николаевич снова приблизил к себе прежнего своего любимца, стал поручать ему кое-какие дела, а потом мало-помалу Артемий сделался у него чем-то вроде домашнего секретаря.

Князь свято исполнял завет умирающей жены — любить дочь, но за-за его несчастного, испорченного житейскими неудачами характера эта любовь являлась иногда тяжелою, деспотическою. Он решительно не мог наладить свои отношения к дочери так, чтобы между ним и ею существовали та ясность и простота дружбы и то доверие,

которые служат истинным признаком истинной любви. Оля боялась отца более, чем любила. Андрей Николаевич видел это, выходил из себя, но делал усилия побороть бушевавшую в нем желчь; иногда это ему не удавалось, и он разражался вспышкою гнева, а это еще более запугивало молодую девушку. Правда, в таких случаях князь почти всегда умел совладеть с собою и приходил сейчас же к дочери с ласкою, но и ласкать не умел он.

.Тяжелою была жизнь и для самого Проскурова, и для окружающих его.

Чем более уходило времени со дня смерти княгини, тем слабее, разумеется, становилось впечатление ее конца и тем тяжелее делался нрав Андрея Николаевича.

Но в последнее время у него явились новый предлог для беспокойства и новая причина для гнева. Оля вошла в тот возраст, когда девушка может стать невестою. Это сразу почувствовалось в воздухе. Старухи дворовые, вздыхая и охая, шепотом заговорили по своим светелкам о том, что пора-де приискать жениха красавице-княжне. Соседи спрашивали друг у друга: «За кого же, однако, может выйти замуж Проскурова?» — и не находили ей достойной партии в околотке. Эти толки не доходили до князя, но он и без них не мог не видеть, что его Оля — не вечная жилица в его доме, и что близится то время, когда не он, не отец, а другой завладеет всецело ее сердцем, которое (князь чувствовал это) и теперь не бьется для него так, как этого ему хотелось бы.

Смерть похитила у него одно любящее существо, и он, потеряв его, только понял, как оно было дорого ему, а теперь ему грозила разлукою с другим близким, единственным родным существом свадьба. И князь инстинктивно стал бояться этой свадьбы пуще смерти.

А между тем не только в доме Андрея Николаевича, не только соседи в околотке, но и в столицах вспомнили, что у старого князя Проскурова есть дочь на возрасте, наследница всего его огромного состояния. И вдруг у него в Москве и в Петербурге отыскались приятели, старые знакомые. О них он и помнить забыл, а теперь они писали ему вежливые письма, спрашивали, как живет он, советовали бросить затворничество в деревне, приехать в столицу, и намекали, что теперь-де можно устроить это его возвращение, чтобы он только понадеялся на них и выразил согласие, а они уже похлопочут и все устроят.

Проскуров сразу понял истинную причину пробуждения этой приязни старых друзей — у каждого из них, как

нарочно, оказывался взрослый сын. И князь с тайным злорадством отвечал на письма, что своим деревенским житьем он доволен, что он стар, что трудно ему подниматься на старости лет всем домом, а главное — не находит нужным тащиться в столицу, когда ему и в деревне хорошо.

Как в продолжение всей жизни, так и теперь странно шутила судьба над князем Андреем Николаевичем: когда он хотел, желал жить в Петербурге — обстоятельства заставляли его уезжать; теперь не было сомнения в том, что дорога ему в столицы откроется свободно,— но он уже не имел охоты стремиться туда, потому что там пугал его призрак свадьбы дочери, для которой, собственно, и звали его туда.

Каждый человек меряет жизнь по своей собственной; так и Проскуров: он не исключительно из себялюбивого страха — остаться одиноким — боялся выдать дочь замуж. Он помнил свою жену и никогда не переставал винить себя, ее мужа, в ее преждевременной смерти; а если сам он, Проскуров, был таков, то что ожидает его Олю в замужестве?

Чтобы решиться отдать дочь, для князя нужно было решить почти невозможную задачу: найти человека л у ч ш е с а м о г о с е б я, и в силу этого каждый, кто мог рассчитывать на взаимность Ольги, становился вдвойне неприятен ему.

Пока в письмах, получаемых Андреем Николаевичем, были одни лишь намеки, они только доставляли ему удовольствие писать язвительные ответы, скрытые под изысканно-вежливою формой. Однако вскоре дело приняло более серьезный оборот. Князь Голицын написал прямо, что много слышал о красоте княжны, что нельзя же девушке жить затворницей, что пора ее отцу подумать о женихе для нее, и что он, князь Голицын, помнит Андрея Николаевича, всегда ему любезного, и что у него есть сын, обладающий превосходными качествами. Письмо было составлено, разумеется, очень гладко, с незаметными переходами, но смысл был более чем ясен.

Предложение казалось таким, над которым следовало подумать: сын князя Голицына являлся блестящей партией во всех отношениях. Однако Андрей Николаевич отказал ему без долгих рассуждений. Он вышел из себя уже, не распечатав еще письма: на адресе стояло злополучное «и бригадиру». Это было достаточно, чтобы князь отнесся к письму с полным предубеждением. Узнав его содержание,

он окончательно вспылил. У него разлилась желчь, и он три дня был болен.

Но это первое, поставленное ребром, приглашение расчистило почву для последующих, и вскоре князь Андрей Николаевич должен был принять у себя, в Проскурове, человека, о котором ему приходилось решать, лучше ли он его самого.

V

ЖЕНИХ

Барон Ульрих фон Эйзенбах, проживавший у себя на родине последние крохи значительного когда-то состояния, бывшего у его предков, приехал в Россию искать счастья. Здесь он хотя и нашел его, но все-таки это казалось не то, что он ожидал. Как бы то ни было, барон Эйзенбах все же устроился в Петербурге, женился на русской и прижил с нею сына Карла.

С князем Проскуровым барон сошелся по службе и впоследствии сумел поддержать дружеские с ним отношения. Несмотря на то, что князь даже ссужал его иногда деньгами, эти отношения не испортились. Барон оказывался аккуратен и день в день, час в час платил свои долги.

С переездом князя в деревню барон находился с ним в постоянной переписке, причем никогда в его письмах не было ничего, что могло бы раздражить Андрея Николаевича. В них сообщались лишь сведения, всегда приятные князю: последний из этих писем узнавал о неудаче того или другого в ход пошедшего лица и видел, что не один он на свете терпит немилость судьбы.

Все поручения, какие нужно было исполнить для князя в Петербурге, были ли это мелкие покупки, или большие тяжебные дела, исполнялись обязательным и аккуратным бароном, и исполнялись самым точным образом. Ни разу ничего не было забыто, ни одной тяжбы не проиграл Андрей Николаевич при посредстве своего приятеля.

Кроме того, барон очень ловко давал при случае понимать князю, что он все-таки имеет какое-нибудь значение в столичном служебном мире и что он — не кто-нибудь, а потомок славного дворянского немецкого рода. Князь благодаря этому не считал его ниже себя, но, напротив, относился к нему, как к приятелю, которому он даже многим обязан.

Итальянец, приглашенный князем для составления родословной, был рекомендован тоже бароном, и через этого-то иностранца Эйзенбах имел аккуратно сведения обо всем, что происходило в Проскурове.

Недаром, разумеется, барон хлопотал для князя, держал на откупу иностранца при нем и ухаживал в продолжение долгих лет за стариком Проскуровым. Восемнадцать лет тому назад, на скромных крестинах княжны Ольги, барон решил: «Вот будущая жена моему Карлу!»,— и с тех пор вел правильную осаду для завоевания своему Карлу счастья, гарантированного богатым приданым княжны.

Он заботился о сыне, насколько хватало у него сил. Карла природа наградила всем, чем только могла,— и умом, и молодцеватым видом, и красивым лицом. Об одном только жалел его отец, а именно, что не может оставить ему крупное состояние, и старался заменить этот пробел, приготовив ему одну из самых богатых невест в России. Само безвыездное житье Проскурова в деревне было на руку барону. Роскошь двора Елизаветы и наличной аристократии в Петербурге на глазах Эйзенбаха съедали целые состояния, имущество же Проскурова лишь увеличивалось от его затворничества в деревне. Одиночество же этой затворнической жизни лишало барона конкурентов в задуманном им деле, потому что он знал наверное, что на письме никто так не сумеет подойти, как он, к взбалмошному и своенравному князю.

У Андрея Николаевича была одна склонность; она проявилась сравнительно недавно, но тем не менее с необычайною силой, как всякая прихоть: он полюбил цветы, в особенности розы. Расширяя коллекцию их, князь поручил барону выписать и выслать ему целую партию кустов. Эйзенбах исполнил это, как всегда, крайне тщательно. Князь остался ими очень доволен и целый угол своего сада отделил специально под розы. Они разрослись и, покрытые цветами, представляли действительно прекрасный вид, производивший совсем необычайное впечатление.

Весною того года, когда исполнилось Ольге восемнадцать лет, князю понадобились еще какие-то совсем особенные сорта. Он написал об этом барону. Тот ответил, что достанет розаны из императорских оранжерей, что по нежности их они требуют очень тщательной упаковки, а главное — перевозки, и доставить их затруднительно, но, по счастью, его сын Карл намеревается поехать в Москву и по дороге может, если угодно, завезти посылку собственноручно к князю.

Андрей Николаевич был поставлен до некоторой степени в тупик этим письмом приятеля. В этом письме, разумеется, не было и тени намека относительно каких-либо видов барона по отношению к княжне, однако старый князь сразу отнесся недоверчиво к появлению у себя молодого человека. Но отказать было трудно. Проскуров понимал, что нет причин обидеть старого и всегда обязательного приятеля. К тому же неизвестно еще, каков собою этот молодой Карл фон Эйзенбах; может быть, он и некрасив, да и влюблен уже в другую, да вовсе и не думает о княжне Проскуровой, так отчего же ему не приехать? И Проскуров выразил согласие видеть у себя молодого Карла, который привезет ему новые сорта роз.

Тем не менее, сообщив старику-барону о своем согласии, Андрей Николаевич впал на несколько дней в дурное расположение духа. Он молчал за обедом, подолгу ходил по саду один и наконец объявил раз за столом, что вскоре-де к ним приедет из Петербурга «петиметр» (почему Проскуров уже заранее, даже не видав Карла Эйзенбаха, пожаловал его в петиметры, этого и сам он, пожалуй, не знал вполне основательно).

Не знал также Андрей Николаевич, что главною целью поездки барона Карла была не Москва, а именно Проскурово. Туда он должен был заехать якобы по дороге, но на самом деле старый барон Эйзенбах, денежные дела которого были далеко не в блестящем состоянии, с большим трудом собирал сына в эту поездку. Проскуров не знал, каких трудов стоило его приятелю найти средства на этот случай для сына. Однако, несмотря на затруднения, все было сделано не только с уменьем соблюсти известные внешние приличия, но даже с расчетом на некоторое впечатление. Карл ехал в собственном, весьма удобном и изящном экипаже, с ним были запас щегольского платья, два лакея. Кроме розанов, он вез в подарок князю бювар, за который, скрепя сердце, старик Эйзенбах заплатил хорошие деньги.

Все это было ставкою опытного игрока, рассчитавшего на почти верный выигрыш и не жалеющего увеличить свой ударный, рассчитанный куш. Эйзенбах сильно рассчитывал на свадьбу сына с княжною Проскуровой. Эта свадьба могла не только поправить его дела, но позолотить побледневший герб барона, и позолотить с честью.

Таким образом молодой барон Карл явился в Проскурово блестящим гостем.

Его встретили тут с не меньшим достоинством и тактом. Сейчас же по приезде барона отвели во флигель, где были приготовлены для него комнаты. Почтенный дворецкий с медлительными и важными движениями явился к нему спросить, не угодно ли будет барону откушать у себя, потому что господа уже кончили обед, и князь Андрей Николаевич легли почивать после обеда, но, проснувшись, примут барона через два часа.

Проговорив все это, дворецкий откланялся, и барон мог, если ему было угодно, сделать честь расставленным на круглом столе блюдам на серебряном подносе. Флигель, отведенный под его помещение, был сплошь увит ползучими растениями, ветви которых причудливым кружевом свешивались над окнами, пропуская сквозь свои тонкие листья лучи солнца, заливавшие широкий цветник пред флигелем.

Эйзенбах устал с дороги, чувствовал голод и с тем большим удовольствием принялся за вкусные блюда. Он ел не спеша, стараясь оглядеться и оценить ту роскошь, в которую попал теперь и которая, может быть, со временем станет его собственностью. Ему было приятно чувствовать вокруг себя прохладу уютных комнат, уставленных штофною мебелью и дорогими вещами; ему было удивительно, после только что испытанных неприятностей и лишений дороги, видеть пред собою стол, за которым он сидел, отрезать золоченым ножом кусок паштета, которому позавидовал бы король Франции, наливать вино из хрустальных графинов и чувствовать ароматный, нежный, особенно во время еды, вкусный запах фруктов, поставленных пред ним в хрустальной же вазе, на причудливой серебряной подставке.

«Этот князь,— соображал барон, сидя за столом,— должен быть страшно богат, гораздо богаче, чем мы думали с отцом».

И он еще раз в душе решил, что постарается вести себя по возможности умно и дальновидно, не отступая ни на шаг от тех советов, которые давал ему предусмотрительный отец при отъезде.

Встав из-за стола, Эйзенбах начал одеваться, чтобы представиться князю. Камзолы, привезенные им с собою и казавшиеся ему в Петербурге довольно богатыми, теперь, после виденной им в Проскурове роскоши, были едва только приличными, и самый роскошный наряд, про который он говорил отцу, что едва ли стоит его делать, так как

пред князем необходима скромность, показался ему совершенно соответствующим.

Когда Эйзенбах оделся со всею тщательностью аккуратного человека, к нему снова явился важный дворецкий с докладом о том, что князь проснулся и ждет к себе молодого гостя.

VI

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ РАЗГОВОР

Карл Эйзенбах был введен дворецким в большой кабинет старого князя. Тот сидел у окна в кресле. Рядом с ним стоял столик, на котором в чинном порядке помещались очки, табакерка, платок, фарфоровая саксонская чашка с крышкой, стопка золотообрезной бумаги и карандаш.

Князь имел обыкновение вслед за послеобеденным сном один оставаться у себя в кабинете у окна некоторое время, в продолжение которого часто делал на отдельных листках заметки. Часть их вручалась управляющему и заключала в себе распоряжения по обширным делам и хозяйству, часть переносилась непосредственно со столика в секретный ящик бюро с тем, чтобы не быть вынутыми оттуда.

Никто не смел своим появлением нарушать это молчаливое «сиждение» князя у столика, и если в редких случаях Андрей Николаевич звал кого-нибудь к себе в это время, то делал это только в силу важных и исключительных причин. Таким образом для Карла Эйзенбаха было нарушено одно из обыкновений.

Объяснялось это тем, что Проскуров хотел поскорее увидеть, каков был на самом деле сын его приятеля, заранее обозванный уже им «петиметром», и относительно действительной цели посещения которого можно было догадываться. Поэтому, когда показался в дверях кабинета молодой гость, большие, строгие, выпуклые глаза князя остановились на нем с любопытством.

Несмотря на то, что Андрей Николаевич, умевший часто одним словом, с первого же взгляда охарактеризовать человека, явно смотрел на Карла Ульриха фон Эйзенбаха с тайным желанием подметить в нем какую-нибудь черту для прозвища,— блестящий внешний вид красивого молодого человека не мог подать ему для этого никакого повода. Карл был высок, строен, хорошо сложен. Его парик и платье ловко сидели на нем. Лаковые башмаки с пряжками, на красных каблуках, красиво облегали узкую ногу.

Кружево его манжет отличалось вкусом, хотя было весьма просто. Он стоял пред князем почтительно, но без подобострастной робости. Нельзя сказать, чтобы его красивое лицо с полными румяными губами казалось с первого же раза симпатичным, но производимое впечатление было всетаки скорее благоприятно. Карл знал это и потому так спокойно стоял пред князем, хотя это внешнее спокойствие все-таки стоило ему усилия, чтобы подавить в себе не робость, но некоторое биение сердца при виде этого внушительного, отделанного под темный дуб, богатого кабинета и старика-князя, сурово, строго и испытующе глядящего на него. Карл чувствовал, что серые глаза князя словно хотят, пронизав его насквозь, заглянуть в самый тайник его души, и старался не позволить этого, спокойно и почтительно выдерживая обращенный на него взгляд.

— Ну, познакомимся! — проговорил наконец князь.— Подойди сюда, сядь! Что отец? здоров?.. а?

Карл подошел, чуть заметно улыбаясь. Эта улыбка явилась у него невольно, потому что он знал теперь, что первый и самый серьезный искус выдержан: князь не понял его.

Он ответил не торопясь об отце, потом сказал, что всю дорогу берег розаны, так что те доставлены, по всем вероятиям, в полной неприкосновенности, и вместе с тем просил Проскурова принять привезенный им от отца в подарок бювар.

Князь благодарил, кивая головою. Относительно розанов он сказал: «Спасибо, потом пойду посмотрю»,— и, приняв бювар, с удовольствием поглядел на него.

Мозаиковый бювар, сделанный на заказ, с огромным гербом Проскуровых посредине, видимо, очень понравился Андрею Николаевичу. Старый барон знал, чем угодить приятелю.

Князь положил бювар рядом с собою на столик и, кладя его, заметил, что он словно по мерке сделан по тем листкам, на которых он имел обыкновение набрасывать свои заметки.

Карл сидел, скромно опустив глаза, будто не замечая явного удовольствия князя, не считавшего нужным скрывать это удовольствие.

— Ну, а ты что же, служишь? — заговорил опять Андрей Николаевич, слегка морщась при слове «служишь».

Карл глубоко вздохнул и с подчеркнутым сожалением ответил, что служит.

— И хорошо идешь по службе?

— Очень хорошо... Мне вот уже третье место предлагают и повышение! — опять ответил Карл с прежним спокойствием.

Князь нахмурился, но Эйзенбах не смутился. Он знал, что делал.

— Вот как! — отрывисто проговорил Проскуров.— А тебе и двадцати трех нет еще?

— Двадцать три будет в августе...

— Молодой, да из ранних! — подхватил Проскуров.— Что ж, при ком из сильных руку имеешь?

Тон князя становился с каждым словом недовольнее.

— Относительно протекции пожаловаться не могу, но должен сознаться, что и служба мне известна до мельчайшей подробности, и по мере сил я стараюсь... Вот недавно граф...

— Ну, и дай Бог вам! — вдруг перебил Проскуров и, нахмурив брови и отвернувшись к окну, забарабанил по подоконнику пальцами.

Эйзенбах молчал.

— В чины выйдете, пожалуй к нам, маленьким людям, в начальство попадете, так не забудьте вашими милостями,— продолжая глядеть в окно, усмехнулся князь.

— Я никогда не выйду в чины! — тихо проговорил Эйзенбах.

Князь быстро взглянул на него удивленно.

— Что так? — спросил он не столько словами, сколько взглядом и всем своим движением.

— Разве на службе умеют ценить истинные заслуги? — в свою очередь усмехнулся Карл.— Небольшой опыт, который я имел, и тот убеждает меня, что лишь искательство и ловкость дают возможность подвигаться вперед; но могу вас уверить, князь,— с жаром вдруг закончил барон,— что каждый истинно достойный человек должен бежать из того омута, который в столицах называют службой.

Находясь почти за пятьсот верст от Петербурга, Карл был уверен, что начальство, которому он еще недавно, уезжая, говорил совершенно противное, не услышит его, а потому мог позволить себе сказать это, чтобы выпустить пред князем первую ракету хитро обдуманной вместе с отцом блокады.

С первого же шага Карл увидел, что не только расчет оказался верен, но результаты превосходят ожидания.

Действительно не мог не обрадоваться видевший одни только неудачи по службе князь словам молодого человека, который, напротив, идет блестяще и все-таки убежден, что служба, не давшаяся Проскурову,— омут, его же должен избегать всякий достойный человек!

Улыбка снова осветила лицо князя. Ответом барона он так остался доволен, что, взяв большую щепоть табака, подмигнул гостю, зажмурился и втянул ее, после чего проговорил:

— Так ты говоришь, что служба все равно, что кумовство да дружба?

Карл, никогда не говоривший этого, но сейчас же заметивший, что князь снова начинает говорить ему «ты», наклонил голову и тоже улыбнулся.

— Ну, а если не служить, так что же делать, а? — весело снова спросил Проскуров.

— Судить об этом вообще не берусь, но личное мое желание при первой возможности ходатайствовать пред государыней об увольнении с тем, чтобы, если у батюшки будут средства, купить поместье и заняться им,— произнес Карл и вдруг с приливом внезапного красноречия (внезапным оно было для князя, потому что Карл всю дорогу обдумывал, как и что он будет говорить) стал объяснять, что истинное призвание дворян не на службе, а именно в деревне, что не один он, но большинство дельной современной молодежи уважает людей, посвятивших свою деятельность земле; пред ними эта молодежь преклоняется и им хочет подражать. А вслед затем Эйзенбах объяснил, почему именно он и большинство молодежи так думают: — Без служилых людей земля просуществует, а без земли служилые люди — нет! Ведь вся гордость и надежда России заключаются в истинных дворянах, живущих на земле и в годину бедствий идущих на зов своего государя, чтоб нести уже тогда действительную службу. Вот истинно великие люди, вот пример, достойный подражания.

И долго говорил красноречивый Карл фон Эйзенбах, приводил исторические справки, латинские цитаты, метал громы и журчал, как ручеек, постоянно однако следя за впечатлением, производимым на старого князя.

А Проскуров слушал, не перебивая. Речь ловкого барона, словно чарующая музыка, ласкала его слух. Его согнутая спина выпрямлялась, и голова гордо закидывалась назад.

Указ Петра Великого относительно обязательности службы для дворян давно приучил общественное сознание к тому, что вне этой службы нет спасения, и что человек не служащий почти ничего не стоит. Так думали все, так думал и Проскуров, страдавший своим деревенским житьем и ревниво оберегавший — для вида, разумеется,— это страдание от посторонних глаз, но чувствовавший его тем сильнее.

И вдруг теперь ему свидетельствуют, что, напротив, вся сила, вся суть — в людях, живущих «на земле», что они составляют главное и что уединение князя есть почетное уединение, заметное даже в Петербурге, и вот молодежь желает подражать ему, и мечтает не о той карьере, которая не удалась ему, но о жизни, которую он ведет. Значит, не один он, князь, завидует другим, но есть много людей, которые завидуют его положению.

Это открытие, это удовлетворение, после долгих лет тайного унижения — тайного, потому что всегда гордый по виду князь Проскуров внутренне лишь раздражался им,— не могло не подействовать особенно радостно на старика.

«Так вот как! — думал он, пристально смотря в ясные и, пожалуй, наивные глаза барона.— Вот как! Ну, не дурак же ты!.. молодец!..»

Но вслед за тем легкая тень пробежала по лицу князя: Андрей Николаевич давно научился не сразу доверять людям и всегда отыскивал затаенную причину их слов и действий. Сначала, по-видимому, такой причины в настоящем разговоре не могло быть у Карла, но потом у князя вдруг мелькнула мысль: а что если «мальчишка» морочит его, имея виды на княжну, его дочь?

«А вот мы это сейчас выясним»,— подумал снова Проскуров и ласково обратился к гостю:

— Ну, я очень рад был познакомиться! Милости прошу пожить, завтра дочь мою увидишь... Ты долго намерен остаться у нас?

Карл, вполне владея собою, ответил, что благодарит за честь, но едва ли ему будет возможно представиться княжне, так как он намерен завтра рано утром ехать дальше, и просит князя позволения откланяться ему сегодня вечером, а завтра на заре приказать приготовить для него лошадей.

Проскуров с удивлением посмотрел на него. По-видимому, у Карла никаких задних мыслей не было. Как ни странно показалось это князю, но приходилось верить.

— Ну, очень жаль! — сказал он.— А дочь сегодня уехала на целый день со старой своей нянюшкой в монастырь; ужинать одни будем... Так завтра, значит, едешь?

И, как внимательно ни вглядывался Андрей Николаевич в лицо молодого барона, ни одно движение мускула этого лица не выдало Карла.

— Да, мне нужно ехать завтра рано утром! — повторил он.

VII

РИСКОВАННАЯ СТАВКА

Князь не солгал, сказав, что Ольги не было дома. Она уехала за пять верст в монастырь на целый день. Там была погребена покойная княгиня, и монастырь был единственным местом, куда отпускал Андрей Николаевич свою дочь.

Ужин был накрыт в маленькой семейной столовой князя.

За столом, кроме хозяина и его гостя, был знакомый Карлу итальянец, рекомендованный его отцом Проскурову; однако тот не подал вида, что между ним и Эйзенбахами существуют какие-нибудь сношения. Кроме того, в ужине принимал участие и молодой человек, с которым князь обращался как со своим, называя его просто Артемием. Карл знал, что это был воспитанник князя, а теперь его секретарь, но и с ним познакомился, как с человеком, совсем ему неизвестным.

Князь Андрей Николаевич был в самом лучшем расположении духа и так весел, как давно не видали его домашние. Он, видимо, всеми силами хотел показать Карлу, что тот имел полное основание считать лучшей участью человека на земле — жизнь «деревенского затворника», и потому и шутил, и смеялся, как будто вполне довольный своею судьбою.

Карл, в свою очередь, играл роль неподражаемо. Впрочем, он мог от души хвалить барское и беззаботное житье Проскурова. Если бы ему сейчас предложили отказаться от всякого служебного самолюбия, а взамен этого дали этот роскошный дом, эту толпу слуг в золоченых ливреях и богатство Проскурова, то лучше этого он ничего и придумать не мог бы.

И снова два-три намека, сделанные вовремя, льстивая похвала, сказанная кстати, и наивно, словно случайно

вырвавшееся признание барона жить навсегда в деревне, произвели на князя свое впечатление и отметились в его памяти.

Из-за стола все встали веселые и довольные.

Карл, прощаясь, благодарил князя за гостеприимство и ушел к себе во флигель с веселым, улыбающимся лицом человека, у которого вся душа наружу, чистая и непорочная, как мечта дитяти.

Но, придя к себе в спальню, он уже не скрывал волнения и беспокойства, весь вечер тревоживших его и искусно скрываемых. Он торопливо разделся, велел уложить свои вещи, посмотрел, аккуратно ли сложен новый его наряд, и, отослав наконец слуг и надев полотняный шлафрок, сел было писать отцу, но с первых же строк увидел, что писать ему еще нечего.

Сегодня день весь был очень удачен. Карл чувствовал, что понравился старому князю, и понравился так, что не ожидал этого. Но вместе с тем он понимал, что игра, которую он вел, была очень опасна и что в продолжение ее каждую минуту можно было потерять все. И теперь именно Карл переживал одну из таких минут: положим, он понравился князю; тот не разгадал его, Карл вел себя отлично. Но неизвестно было — понравился ли Карл князю настолько, чтобы тот задержал его в Проскурове, якобы по своей и против его, Карла, воли. Барон рискнул, сказав, что ему нужно ехать завтра, и попросив лошадей рано утром. С одной стороны, это было отлично и окончательно убедило князя, что его гость ни на что никаких видов не имеет. Но с другой — этот ход казался способным сразу разбить все надежды и планы. Если завтра утром Карлу дадут лошадей — он должен будет уехать, и тогда трудно найти предлог для возвращения, и прощай все мечты, расчеты и, главное, расходы, сопряженные с этой поездкой. Но зато, если князь вдруг пожалеет так сразу отпустить приятного себе гостя и не прикажет давать лошадей, тогда кампания почти выиграна. Дальнейшее пойдет, как по маслу, Карл знал себя и надеялся на себя. Правда, он думал, что князь за ужином предложит ему остаться в Проскурове и отложить свой завтрашний отъезд. Но этого не случилось, и, вспоминая, как весь вечер сегодня он ждал и ловил, не обратится ли князь к нему с предложением погостить подольше, Карл чувствовал, что беспокойство неизвестности и сомнения овладевают им все больше и больше. Он ходил скорыми шагами по комнате, и то ему казалось, что все уже потеряно, и ясно было,

что у князя нет причин задерживать его, и он раскаивался в своем слишком рискованном поступке; то, наоборот, ему приходило в голову, что ведь каждую минуту одинаково рисковал он, каждую минуту взбалмошный старик-князь мог рассердиться на него, и просьба о лошадях — такой же риск, как и всякий другой, и все зависит от судьбы.

В то самое время, когда Карл не мог подумать о сне у себя во флигеле, тревожась и беспокоясь о том, что будет завтра, в угловой комнате большого дома, служившей и кабинетом, и спальней Андрея Николаевича, последний поворачивался с бока на бок на широкой кровати, тоже страдая бессонницей от вереницы мыслей, теснившихся в его голове.

Сначала он долго думал о Карле, и, чем больше думал о нем, тем больше нравился ему барон.

— Славный, славный мальчик! — бормотал князь, имевший привычку иногда вслух произносить то, что было у него на уме.

И он с удовольствием вспоминал, как Карл умно, смело и последовательно доказывал, что ненавистная ему до сих пор жизнь в деревне — лучший удел избранников счастья. Тут и самолюбие князя было польщено, и являлось сознание, что недаром прожиты им годы, долгие и скучные.

Андрей Николаевич удивился, как раньше ему не приходило этого в голову. Он не подозревал, что для него нужен был именно внешний толчок, свидетельство постороннего лица, чтобы направить его мысль на самоутешение. И впервые в жизни Проскуров почувствовал себя если не вполне счастливым, то, во всяком случае, примиренным с судьбою. Это примирение было настолько приятно ему, что он, хотя и знал, что от волнения заснуть не может, все-таки боялся, чтобы сон не сомкнул ему глаз,— так хорошо ему казалось теперь наяву и так радовался он проявившемуся у него сознанию благополучия. И он медленно повернулся на другой бок.

Новые, совсем новые мысли внезапно охватили князя, как будто, переменив положение тела, он почувствовал внутри себя тоже переворот, словно в нем пробудился совсем другой человек, который совершенно неожиданно стал рассуждать таким образом:

«Я не хочу отдать Ольгу ни за кого замуж, потому что боюсь ее несчастья и боюсь лишиться ее, чтобы не остаться одному. Но почему я до сих пор воображал, что нельзя устранить этих препятствий? Если найдется человек молодой, красивый, приличный, с хорошим именем, который

пожелает остаться в деревне навсегда, тут у меня, на моих глазах, и составить счастье дочери, то разве не одну лишь радость принесет мне это? Я с нею не расстанусь тогда, и сам уже буду следить за отношениями к ней мужа. Лишь бы нашелся такой человек».

И князь, не признаваясь себе в этом, чувствовал, что такой человек уже нашелся, и это — Карл Эйзенбах. Он был красив собою, горд дворянским именем своего древнего рода и казался настолько благоразумным, что мог, если присматривать за ним, явиться идеальным мужем.

Князь был уверен, что все эти мысли приходят ему сами собою, что сам он соображает и делает выводы и не отдавал себе отчета, что все его соображения подсказаны разговорами ловкого барона, который, благодаря урокам отца, знал, что никогда не нужно убеждать человека прямыми доводами, если это — не пустой разговор: наоборот, в деле серьезном нужно только направить его мысли так, чтобы сам он пришел к желаемому убеждению, и тогда это убеждение будет несокрушимо и твердо.

Как видно, старый барон Эйзенбах знал слабости человеческого сердца, а Карл оказался понятливым учеником. В результате этого рассуждения князя невольно катились, как снежный комок по подставленной ему плоскости, и этот комок разрастался и увеличивался. Князь уже видел себя главою семьи, счастливым, окруженным внуками и внучками, которых он любит, балует, и которые души не чают в своем милом дедушке.

При этой мечте Проскурову показались так милы и дороги его дом и сад, ему так захотелось дожить до тех пор, пока он увидит этот скучный и тихий до сих пор дом, оживленным новою жизнью родных, близких ему существ, что одно уже предвкушение этой радости делало его почти счастливым.

И с тихой, радостной улыбкой заснул старый князь в эту ночь. Никогда не спалось ему так покойно.

На другой день солнце встало без облачка. Утро было прекрасное, тихое.

Карл еще с вечера велел разбудить себя на заре и, едва его слуга вошел в комнату, как он уже открыл глаза и первым делом послал узнать, готовы ли лошади. Слуга пошел исполнять его приказание.

Быстро, нетерпеливо начал одеваться Карл, беспрестанно поглядывая на дверь, в ожидании известия. А что как ему скажут, что все готово к его отъезду? Что делать

тогда, как поступить? Тогда выхода не будет — придется ехать...

Наконец в дверях явился лакей.

«Ну, так и есть,— мелькнуло у Карла,— все кончено».

Однако лакей почтительно произнес:

— Его сиятельство просят господина барона пожаловать закусить с ним на террасу.

— А лошади? — спросил Эйзенбах.

— На конюшне не сделано никаких распоряжений.

Лицо Карла озарилось торжествующей улыбкой. В ней блеснула радость, сменившая его волнение, радость настолько же сильная, насколько было сильно волнение. Судьба благоприятствовала ему: рискованная ставка казалась выиграна.

VIII
ВСТРЕЧА

Послав сказать своему гостю, что он зовет его к себе на террасу, князь Андрей Николаевич прошел на половину дочери, которая вчера после ужина вернулась из монастыря целою и невредимою.

Ольга встретила его уже причесанная и одетая. Князь боялся, что вчерашняя поездка утомит ее, но к своему удивлению увидел, что на хорошеньком личике Ольги не было заметно и тени утомления. Ее тонкие, девственно очертанные, губы так же, как всегда, улыбнулись ему при встрече, голубые глаза были ясны, и матовый румянец играл на щеках.

— Экая ты у меня красавица! — проговорил Проскуров, взяв дочь обеими руками за голову и нежно и осторожно целуя ее в лоб.

Ольга стала рассказывать ему о вчерашней поездке, передала благословение и поклон игуменьи, принесла привезенную для него просфору и, видя, что отец в редко хорошем расположении духа, разговорилась, рассказывая. Она не могла никогда рассказывать спокойно, а быстро увлекалась, щеки ее разгорались и глаза блестели. Князь всегда любил смотреть на нее в такие минуты, но сегодня оживление Ольги, очень шедшее ей, как будто доставляло ему особенное удовольствие. Он любовался ею, не слушая того, что она говорит, и будучи занят своими, зародившимися у него вчера с вечера, мыслями.

— Вы как-то, батюшка, говорили, что к нам должен приехать... как это называется... петиметр...— вдруг произнесла Ольга.

Легкая тень пробежала по лицу князя.

— Ну, однако, пойдем! — проговорил он, вставая, и, взяв дочь за талью, повел ее вниз.

Войдя в большой зал с хорами, князь приостановился и, придерживая дочь, показал ей кивком головы на широкое окно, выходившее на террасу, уставленную тепличными деревьями. Там был накрыт стол для утреннего завтрака, и прямо в рамке окна, у стола, виднелась красивая и бравая фигура Карла Эйзенбаха.

— Ты видишь его? — спросил князь у Ольги.

Она молча взглянула в окно, потом с каким-то испуганным удивлением перевела взор на отца.

— Приглядись к нему — он мне нравится,— произнес князь отчетливо и ясно, голосом, которым отдавал приказания.— Он мне нравится,— еще раз повторил он и вышел на террасу.

Летом Проскуров имел обыкновение вставать с восходом солнца, и все домашние должны были следовать его примеру. Вследствие этого у стола, кроме Эйзенбаха, были в сборе и все остальные.

— А хороший денек сегодня будет! — весело говорил князь, здороваясь с ожидавшими его прихода на террасе и искоса взглядывая на дочь, так как желал незаметно проследить, как она встретит Карла.— Олюшка,— обернулся он к ней,— это — барон Карл фон Эйзенбах, сын старого моего приятеля... Ты сюда сядь,— сказал он Карлу, показывая на место справа от себя.

Лакеи отодвинули стулья и подставили их гостям.

Ольга села по левую сторону отца, против Эйзенбаха. Дальше за столом поместились Артемий и итальянец.

Недавнее оживление девушки, которым только что любовался Андрей Николаевич у нее в комнате, вдруг совершенно исчезло вместе с румянцем на ее щеках. Она казалась теперь бледною и смущенною и сидела, опустив глаза, словно к смерти приговоренная.

Князь не мог не заметить этой внезапной перемены в ней и тихо спросил ее, когда сел за стол:

— Что с тобою?

Ольга вздрогнула и провела рукою по лицу.

По счастью Карл нашелся. Он заговорил о красоте княжеского сада, чистосердечно сознаваясь, что никогда в жизни не видал ничего подобного.

Проскуров обернулся к нему и заговорил.

Эйзенбах очень ловко стал поддерживать разговор, но почти не спускал взора с Ольги в это время.

Когда сегодня его пришли звать на террасу, он понял, что увидит ее, и, подумав, сейчас же обсудил, как держать себя с нею.

Итальянец писал его отцу, что княжна очень красива. Карлу это было известно, но и зная о красоте ее, он все-таки был удивлен, когда увидел ее. Пред его глазами была теперь не одна красота; нет, вся женственная прелесть сосредоточилась в этой красоте, чтобы приковать к себе и взгляд, и мечты человека, у которого способно еще биться сердце.

С первого же взгляда на князя Карлу стало ясно, о чем тот думал сегодня ночью и о чем можно было уже догадаться по отсутствию приказания о лошадях на конюшне.

Карл не проронил ни одного взгляда князя, ни одного хотя бы легкого движения его лица. Он видел и хорошее расположение духа Андрея Николаевича, и легкое движение его бровей, когда Ольга вдруг побледнела, и особенную ласковость к себе Проскурова,— ласковость, которая сильно увеличилась со вчерашнего вечера.

«Все прекрасно!» — подумал Карл и решил, что он может не обинуясь выказывать свое восхищение пред Ольгой: князь этим не останется недоволен.

И действительно Проскуров, разговаривая с молодым гостем, все время чувствовал направление его глаз, которых тот не сводил с княжны. Андрей Николаевич не должен был сомневаться, что она нравится барону, да иначе и быть не могло.

Что касается Ольги, то Проскуров сначала попробовал объяснить ее смущение первым впечатлением нового знакомства с чужим молодым человеком.

«Ведь не броситься же ей ему на шею,— мысленно утешал он себя.— Что ж, она, как и следует девушке, скромна, вот и все...»

Но вместе с тем что-то внутри князя говорило ему, что в опущенных глазах Ольги и в особенности в бледности, покрывавшей ее лицо, есть нечто еще, кроме скромности и застенчивости: страх не страх, но во всяком случае недружелюбное чувство к Карлу. Откуда оно могло появиться? Но на этот вопрос старый князь тщетно старался ответить себе.

Молодой Эйзенбах как будто ничего не замечал, и, казалось, слова восторга так и готовы были сорваться у него с языка. Он был так увлечен, что не мог сосредоточить ни на чем остальном своего внимания; словно машинально, не замечая того, что он делает, в рассеянности, он, кончив тарелку с простоквашей, выпил стакан сливок, потом наложил варенцу, а, съев последний, принялся за варенье.

«Ну, аппетит!» — невольно подумал итальянец, следя глазами за бароном.

Ольга ничего не ела, продолжая сидеть, опустив глаза. В ней, видимо, происходила какая-то необъяснимая тревога.

— Да что ты, устала со вчерашнего? — опять спросил ее князь.

Она хотела ответить, но губы ее задрожали, и подбородок затрясся.

На этот раз на помощь ей пришел ученый итальянец.

— Княжна, может быть, нездорова? — сказал он на дурном русском языке.

— Ты нездорова? — испуганно переспросил ее князь.

— Да... А впрочем, нет... так... голова...

— Хочешь, Иосиф Александрович принесет тебе капли?

Итальянец, которого собственно звали Джузеппе Торичиоли и который в России привык откликаться на имя Иосифа Александровича, сделал движение встать. На его попечении была домашняя аптека князя.

— Нет, нет, не надо! — поспешно проговорила Ольга и, налив себе стакан воды, выпила его почти залпом.

Благодаря этому происшествию с княжною, за столом сидели недолго. Князь поднялся первым и, когда все встали сейчас же за ним, он уж уходя, в дверях, как бы только что вспомнив, обернулся к Карлу и проговорил улыбаясь:

— А я и забыл сказать тебе, что лошадей не велел тебе закладывать; разве в деревню приезжают гостить на одни день? Ты говоришь, у тебя дела в Москве?

Барон смотрел на князя в нерешимости, что ответить ему.

Но Проскуров не дал ему говорить.

— Так дела подождут,— продолжал он, пригибаясь к Карлу и взяв его повыше локтя.— Подождут ведь, а?

— Мне ли не послушаться вас, князь! — ответил барон с таким выражением преданности и покорности, что Андрей Николаевич рассмеялся тихим, радостным смехом и, похлопав гостя по плечу, произнес:

— Ну, ну, хорошо!.. поживем — увидим...

Вслед затем он особенно бодрыми и скорыми шагами направился к себе, насвистывая что-то военное.

В приемной, смежной с кабинетом, князя уже ждали приказчики, бурмистры и конторщики с докладом, но, прежде чем позвать их, Андрей Николаевич велел лакею доложить княжне, что просит ее прийти к себе.

IX

ЧТО ОНА СКАЖЕТ?

Ольга вошла к отцу, уже вполне оправившись и стараясь казаться по-прежнему веселою и беззаботною.

Трудно было понять, откуда и как эта воспитанная в четырех стенах проскуровского дома девушка могла научиться в нужную минуту владеть тем особенным, гибким, чисто женским тактом, который способен провести самую опытную наблюдательность.

— Ты, правда, нездорова? — участливо, нежно обернулся к ней навстречу князь, ходивший по кабинету и ожидавший ее в беспокойстве.

— Да нет, батюшка,— как бы шутя, проговорила Ольга.— Это, должно быть, от цветов — слишком сильно пахло ими на террасе.

— От цветов? — недоверчиво протянул Проскуров и глубоко вздохнул.

Он опять вспомнил о своей покойной жене, которая вероятно сумела бы разгадать причину тайной тревоги дочери, а он вот не может. И это внутренне обидело его и вызвало то неприятное стеснение в груди, которым обыкновенно обозначалось у него начало проявления гнева.

— Ну, а барон понравился тебе? — спросил он опять.

Ольга слегка вздрогнула и не ответила.

Князь так все хорошо обдумал вчера, в его мечтах такою прекрасною слагалась их общая жизнь в Проскурове, и главное — ему все это так казалось возможно, что он как-то обходил мыслями самое существенное препятствие, а именно следующее: а что, если барон не понравится Ольге? Но у него было столько неудач в его расчетах в про-

должении жизни, что, как ему хотелось думать, уже трудно было ждать и тут опять нового промаха. И вдруг, с первых же шагов дело имело вид не совсем ладный. И от одной возможности допущения ошибки желчь князя начала подниматься. Глаза его сузились, лоб сморщился, и он, близко подойдя к молча стоявшей пред ним дочери, подставил ухо к самым ее губам и резко, крикливо проговорил:

— Что ты говоришь, а? Не слышу.

Ольга продолжала молчать. Подбородок ее снова затрясся, глаза наполнились слезами. Она готова была разрыдаться.

Андрей Николаевич опомнился. Он понял, что пошел напролом, силой там, где можно было добиться чего-нибудь только лаской, и, круто повернувшись, сделал несколько шагов по комнате, стараясь успокоиться.

— Ну, погоди, дочка... Прости... погорячился... Иди к себе... иди! — сказал он наконец тихим голосом, неуверенно подымая руку, чтобы приласкать дочь.

Эта близость ласки обрадовала Олю. Она по впечатлениям детства помнила припадки гнева отца, боялась их какою-то сверхъестественною, неудержимою боязнью и с тем большею радостью и доверием готова была теперь обнять его и в слезах, при его редкой для нее ласке, высказать, может быть, все, что у нее на душе.

Но князь боялся за себя.

— Иди!.. Иди, говорю тебе! — опять крикливо произнес он и, отстранив руку резким движением, опять зашагал по кабинету.

Ольга неслышно скользнула из комнаты.

Долго в этот день бурмистры и приказчики ждали, пока князь станет звать их по одному к себе, и прислушивались из приемной к мерным шагам Андрея Николаевича по кабинету. А он ходил и соображал, ища себе успокоения. И так как он хотел найти себе его, то и доводы приходили ему на ум утешительные.

«В самом деле,— рассуждал князь,— с чего мне это пришло в голову? Да ведь, если бы она оставалась равнодушною, хуже было бы... конечно хуже... И разве можно было спрашивать так прямо? какая же девушка скажет?.. Ну, первый раз в жизни видит молодого человека... не могла же она камнем сидеть... а выказывать радость было бы неприлично»...

И чем дольше думал Андрей Николаевич, тем более

опять, как вчера, успокаивался, находя, что решительно не было причин ему выходить из себя.

Не было сомнения, что Ольга понравилась барону с первого же взгляда. А она? Да чего же ей еще? Он и ловок, кажется, и умен, и красив, и имя имеет... Да где же сыскать еще такого молодца?

И, к своему удивлению, подначальные князя, когда он наконец призвал их к себе, вместо ожидаемого гневного на сегодня приказа, обыкновенно следовавшего за долгим хождением барина по кабинету, получили, напротив, милостивое разрешение всех дел.

Карл, беспрекословно подчинившийся воле князя и тем еще более выигравший в его глазах, написал подробно отцу и остался жить в Проскурове, ожидая дальнейших событий.

Главное препятствие было пройдено — старый князь оказался на стороне ловкого и дальновидного молодого человека. Но в отношении Ольги барон положительно не знал, как ему подойти. Он, видавший на своем веку виды, понимал, что сразу вступить в какие бы то ни было объяснения являлось более чем опасным. Сначала все должно было если не решиться, то во всяком случае подготовиться посредством того непереводимого языка любви, который при помощи взгляда, выражения, интонации совершенно обыкновенных по-видимому слов говорил яснее всяких объяснений, и затем эти объяснения должны были подтвердить только то, что давно уже жило в душе обеих сторон.

Чем чаще видал Ольгу Эйзенбах, тем сильнее становилось его вполне искреннее чувство к ней. Но, как ни старался разгадать он задумчиво-грустный взгляд Ольги, трудно было подметить в нем не только ответ на это чувство, но даже легкий проблеск надежды, что этот ответ может явиться хоть со временем. Ольга была вежлива с гостем отца, говорила с ним, но как бы нехотя, и если смотрела на него, то тем холодно-стальным взглядом, которым умеют смотреть женщины на ненавистного им человека. Инстинктом влюбленного Карл чувствовал весь скрытый смысл этого взгляда, так же далекий от поэмы любви, как далека была Ольга от проявления нежности к красивому барону.

Барон ломал голову над тем, чем мог он провиниться пред нею, но все его усилия были тщетны. К тому же Ольга была непроницаема и с самого своего приезда он не видел ни разу на лице ее ни оживления, ни веселости. Он

спрашивал у Торичиоли, всегда ли Ольга такая. Итальянец качал головою и говорил, что в последнее время просто не узнает княжны.

Карл пробовал все средства ухаживанья, не раз примененные им и увенчавшиеся успехом: то он, как в первый день их знакомства и утро встречи на террасе, старался показать, что до того занят ею, что не замечает ничего кругом, то, напротив, прикидывался равнодушным и делал вид, что не обращает внимания. Иногда он заводил умные, горячие, поэтичные разговоры, рассказывал истории, полные страсти, но Ольга слушала все это с видимым терпением притворной любезности, пугалась, когда он подчеркивал свое внимание к ней, и вздыхала свободнее, когда он не замечал ее.

Старый князь, обдумавший положение и успокоивший себя тем, что рано или поздно девушка не может остаться равнодушной к исканиям честного, порядочного и красивого молодого человека, удерживал у себя влюбленного барона и — в ожидании исполнения своих грез — строил новые планы будущей жизни, еще заманчивее прежних.

Когда сильно желаешь чего-нибудь, то невольно веришь, что желание сбудется, и невольно готов истолковать все в пользу этого своего желания. Так и князь, ослепленный своими мечтами и неспособный к тому наблюдению посредством инстинкта, которым владел Карл благодаря своему чувству, не видел холодности Ольги и верил, что, напротив, она уже начинает интересоваться молодым Эйзенбахом.

С отцом Карла он поддерживал все это время деятельную переписку. Старый барон отвечал ему немедленно же и с верной оказией. Он также писал сыну, сообщая ему вкратце, что пишет ему князь, и делая наставления Карлу, как держать себя и как вести к благополучному окончанию так блестяще начатое дело. Относительно «молодой девушки», как он называл Ольгу в своих письмах, старик Эйзенбах почти не сомневался. «Ты у меня — такой славный мужчина,— писал он Карлу,— что не только запертую в захолустье княжну, но и петербургскую девицу сумеешь обуздать и послушною сделать»,— и как бы для того, чтобы придать еще более храбрости Карлу, добавлял, что его отсутствие в Петербурге заметно и о нем скучают некоторые персоны.

«Славный мужчина» был польщен этими похвалами и одобрением, но все-таки не находил пути, дабы, по выра-

жению отца, «запертую княжну обуздать и послушною сделать».

Наконец через три с половиной недели своего пребывания в Проскурове Карл получил от отца радостное известие, что старый князь прислал в Петербург письмо, в котором делал более чем прозрачные намеки и звал старика-барона к себе в деревню погостить. Ясно было, что Андрей Николаевич затевал формальное сватовство. Карл понял, что долее терять время нечего, и решил во что бы то ни стало объясниться с Ольгой.

X

СОЛОВЬИНАЯ ПЕСНЬ

Карл сидел с письмом отца в руках у окна своего флигеля. Пред ним за расположенным под окнами цветником виднелась часть проскуровского сада, устроенного князем в первые годы пребывания в деревне.

Этот сад был большой, со множеством перекрещивающихся дорожек и аллей, лабиринт которых молодой Эйзенбах успел уже изучить во время своего трехнедельного пребывания в гостях у князя.

От цветника у флигеля, окруженного подстриженными на голландский манер деревьями, шли клумбы другого большого цветника, примыкавшего к террасе главного дома. Дальше виднелось начало первой аллеи, терявшейся затем в глубине высоких лип. Направо узкой змейкой вилась дорожка в самый красивый угол сада, засаженный розанами и кончавшийся обрывом у реки.

Был тот час вечера, когда солнце еще не закатилось совсем, но сумерки постепенно уж наплыли и сгустили тени в чаще дерев. Жаркий день сменялся теплым вечером. Воздух был так хорош, что Карлу жаль казалось отойти от окна.

Старый князь сказал за обедом, что у него много дела и что он вплоть до ужина не выйдет из своего кабинета. У Карла оставалось свободных часа полтора. Он думал было пойти погулять, но какой-то внутренний голос словно шептал ему, что некуда, да и рано теперь идти и что следует остаться у окна, чтобы дышать этим легким, пахучим воздухом и смотреть, как медленно лиловые сумерки охватывают все кругом, давая предметам волшебные, фантастические очертания.

Сегодня это тихое, вечернее погружение природы в сон особенно было нежно. Никогда тени не казались так глубоко прозрачны, никогда отблеск потухающих лучей не переливался в высоком небе такими причудливыми красками и никогда почему-то не дышалось Карлу так легко, как сегодня.

Вдали — должно быть, у реки — пел соловей, и отклик его песни словно наполнял собою дрожащий истомою, влажный, но теплый воздух.

Вдруг Карл приподнялся со своего места и, высунувшись в окно, стал внимательно вглядываться пред собою. От большого дома, между клумб цветника, шла, не торопясь, спокойною, уверенной походкою Ольга. Барон сделал усилие, чтобы приглядеться еще — не обманывают ли его глаза; нет, он не ошибся, это была действительно Ольга. Она шла опустив голову. Он узнал ее голубое платье и косыночку.

Ольга, миновав цветник, направилась не по главной аллее, а по дорожке к розанам. Она была одна.

Сама судьба, казалось, давала Карлу возможность переговорить с нею при самых подходящих условиях. Но выйти из флигеля с тем, чтобы нагнать ее на дорожке, было рискованно и опасно. Она могла повернуть назад, к дому, и тогда случай был бы упущен. Карл сейчас же сообразил это и, будучи предусмотрительным даже в увлечении, немедленно составил план необходимого действия. Самое лучшее было спуститься низом и короткой дорогой достичь обрыва, подняться к розанам и пойти навстречу княжне, сойдясь с нею как бы случайно.

Не теряя ни минуты, Карл схватил шляпу и почти выбежал из флигеля со стороны, противоположной цветнику.

Быстрою, уверенною походкой подвигался Карл вперед, пробираясь по сухим от росы местам. Хотя избранный им путь значительно сокращал расстояние, но все-таки нельзя было терять время, потому что приходилось сторониться от кустов и выбирать дорогу так, чтобы мокрая трава не слишком замочила башмаки и чулки: ведь неловко было показаться княжне в неряшливом виде.

Благодаря этому Карл достиг обрыва позже, чем думал. Если бы Ольга ускорила шаг, она могла бы дойти уже к розанам. Но назад уходить Карлу не было основания. К тому же он надеялся, что княжна продолжала идти так же медленно, как и вначале, когда он видел ее из окна.

Достигнув кустов наверху, он остановился. Ему послышалось движение за ними. Ольга была здесь.

«Скоро, однако!» — мелькнуло у Карла.

Теперь ему было бы неловко прямо вылезать из кустов, и он решил неслышно пробраться на дорожку и выйти оттуда к Ольге. Только сначала ему хотелось удостовериться, она ли это была здесь. Он осторожно, чуть дыша, раздвинул ветки кустов. На него пахнуло сладким, густым, пахучим ароматом розанов, его глазам открылась небольшая площадка, и, взглянув туда, Карл замер от удивления, неожиданности и вдруг поднявшейся злобы. Ему сразу все стало ясно.

На площадке на скамейке сидел Артемий, молодой воспитанник князя; Ольга подходила к нему, с трудом переводя дух от быстрой ходьбы.

— Долго ждал? — спросила она, приблизившись к скамейке, и, привычным движением любимой и счастливой этою любовью девушки, опустила обе руки на плечи Артемия.

Он вместо ответа охватил ее талью, а другой рукой взял ее руку и прижал последнюю к своим губам.

— Долго ли ждал? — проговорил он наконец.— Да теперь мне уже казалось, что ты никогда не придешь ко мне.

И он снова прижался губами к руке девушки.

Дрожь пробежала по спине Карла, в висках застучала прихлынувшая кровь; одно мгновение у него мелькнула сумасшедшая мысль кинуться вперед, но он сделал над собою усилие и прилег к земле, не спуская жадных, завистливых взоров с того, что происходило пред ним. Нужны были почти сверхчеловеческие усилия, чтобы не выдать себя несчастному Карлу.

— Погоди! — сказала княжна.— Дай мне сесть, я слишком торопилась идти,— и она опустилась на скамейку рядом с Артемием.— Ну, отчего т е п е р ь тебе показалось, что я не приду?

Артемий вздохнул.

— Теперь другое, Оля!..

— Отчего же другое, отчего? Я тебе говорю, что из всего этого ничего не выйдет, ничего он не добьется от меня... ему надоест здесь жить, он уедет и все пойдет по-старому.

Теперь, когда она села, Карлу было видно вполоборота ее оживленное счастьем лицо, дышавшее еще невиданной им прелестью.

Артемий снова вздохнул, опустив голову:

— И как все хорошо было, Оля, до сих пор!

— И потом будет хорошо... ты увидишь, я знаю... Послушай! Разве мало ему петербургских красавиц? Ну, что ему во мне?.. Разве он не найдет лучше меня?

Артемий улыбнулся и отрицательно покачал головою.

«Боже мой, Боже мой! — думал Карл.— Как она хороша, как она хороша!»

И он вспомнил петербургских красавиц, про которых говорила Ольга, набеленных и нарумяненных, и та же улыбка, что у Артемия, скользнула по его губам.

— Ты заметил,— продолжала Ольга,— я делаю все, чтобы казаться ему дурною: и одеваюсь хуже, и глупости говорю...

Артемий, счастливый этой преданностью любви, рассмеялся тихим смехом, а затем сказал:

— Да разве это возможно? Ведь, что бы ты ни делала, ты все-таки останешься красавицей... Милая моя, милая!..

И Карл, стиснув от бешенства зубы, снова увидел, как Артемий взял Ольгу за талью, а она прижалась к нему, видимо желая, если не словами, то лаской рассеять его беспокойство.

— И потом я не знаю,— начал снова Артемий,— но иногда приходит в голову, что вдруг...

Тут он запнулся.

— Что «вдруг»? — переспросила Ольга.

— Ты разлюбишь меня...

— И тебе это не стыдно думать?.. не стыдно тебе, а? — воскликнула Ольга.

В ее голосе слышалась шутка, но Артемий делался все серьезнее.

— Право, я иногда сравниваю себя с ним и чувствую, что он лучше меня,— произнес он.

Теперь, казалось, очередь рассмеяться была за Ольгою.

— Кто? — проговорила она.— Кто лучше тебя? Эта петербургская кукла, этот барон с вывороченными глазами? Ты замечал, как он иногда смотрит на меня? мне всегда смешно, когда он начинает ворочать белками.

Но не договорив она вдруг вздрогнула.

— Что с тобой? — спросил Артемий.

Ольга, вытянув шею, прислушивалась.

— Нет, ничего... Мне показалось, точно шорох... наверно птица.

Карл чуть не выдал себя, пальцы его судорожно сжались, и он сделал невольное движение вперед.

— Конечно птица,— ответил Артемий.— Кому же быть теперь? Ведь князь сказал, что не выйдет до ужина, итальянец — в библиотеке.

— А петербургский барон?

— Кажется, пишет письмо к родителям.

— Ну, вот, видишь, значит, это время наше, мое, и ты — мой! Ну, что же, все еще не веришь? Не успокоился?

— Ах, Оля! Вот ты сейчас назвала барона петербургскою куклой, значит, если бы он был иной, лучше, чем есть, ты бы тогда...

«Проклятый мальчишка, найденыш!» — бешено стиснув зубы, думал Карл, которому было слышно каждое слово.

— Ну, еще, еще что? — перебила Ольга.— Ах, какой ты смешной и милый!.. Да, будь он в десять раз лучше, чем ты представить себе можешь, я и тогда не променяла бы тебя... Довольно?

Замолкнувший соловей, отголосок песни которого Карл слышал, выходя из дома, снова начал петь где-то близко, гулко, точно только что почуяв возле шепот любви и торопясь приветствовать его своею песнью.

Это был хороший нотный соловей; он чисто проделал почин с оттолчкой, а затем сделал два колена и рассыпался дробью, раскатился, запленкал, протянул, перешел в звонкий свист, защелкал гусачком и разлился бесконечною трелью.

Артемий и Ольга притихли. Она положила ему на плечо голову, прислушиваясь к пению.

Эйзенбах едва себя сдерживал, чтобы не вырваться из засады. По счастью, он понимал, что выскочив ничего не выиграет, что, напротив, ему нужно притаиться теперь, несмотря на то, что пытка его была невыносима. И он молча давал себе клятвы в том, что счастливый Артемий дорого заплатит ему за испытываемые им муки. Время для него казалось теперь вечностью.

А Ольга и Артемий, как нарочно, словно дразня его, сидели счастливые, упоенные своим счастьем, и соловей дразнил его своей песнью, а вечер охватывал его томною негой.

«Господи, да долго ли они будут сидеть так?» — думал Карл, чувствуя, что сила и последний остаток благоразумия изменяют ему и он готов уже кинуться вперед, чтобы задушить этого Артемия.

— Ты слышишь эту песню? — заговорила Ольга,— слышишь, милый?.. Ну, так вот так же, как хороша эта песня, так же, как хороши и этот вечер, и мир Божий, и жизнь моя, так же мне хорошо с тобою, и клянусь тебе, что или ты, или никто... никого мне не надо, кроме тебя одного... я люблю тебя...

А соловей, будто желая засвидетельствовать и подтвердить эту клятву, с особенной силой и прелестью завел новую песню.

XI

ОТЕЦ

Карл шатаясь вернулся в свой флигель; но он выдержал до конца, не выдав себя ни одним неосторожным движением и не пропустив ни одного слова из подслушанного разговора Артемия с Ольгой.

«Так вот оно что! — соображал он,— так вот причина ее смущения при знакомстве, вот где тайна ее обращения со мною!.. Но что же делать теперь?»

Однако он чувствовал, что немедленный ответ на этот вопрос дать себе не может и что ему нужно прежде всего успокоиться, чтобы обдумать, как поступать дальше.

Голова барона горела, тело дрожало, как в лихорадке, дыхание прерывалось. Он чувствовал, что переживает одну из тех минут, когда люди, вполне здоровые и владеющие полным разумом, способны вдруг потерять его.

Карл решил сказаться больным и не выходить к ужину. Он действительно был совсем болен.

Он призвал к себе слугу, чтобы тот помог ему раздеться; но лакей доложил, что приходил из большого дома дворецкий сказать, что князь Андрей Николаевич просит барона к себе немедленно, как только они вернутся с прогулки.

Карл взглянул на него недоумевающими, рассеянными глазами и спросил, поднося руку ко лбу:

— Что ты говоришь? Какой князь? Куда он зовет меня?..

— Князь Андрей Николаевич,— пояснил лакей.— Они желают вас видеть до ужина, к себе приказали просить.

— Да, к себе,— машинально повторил Карл и, так же машинально взяв поданную ему лакеем шляпу, пошел к князю.

Никогда он так сильно, как теперь, не любил Ольгу, то есть никогда она не нравилась ему так, как теперь, и вместе с тем он ненавидел ее.

Он шел по знакомой дороге в кабинет старого князя, не давая себе хорошенько отчета, что идет туда. Мысли его были все еще заняты только что виденным; пред затуманившимися глазами были Ольга и Артемий, а в ушах звучала соловьиная песнь, под которую Ольга произносила свою клятву.

Андрей Николаевич сидел у стола, перебирая бумаги. Он, наморщив лоб и пригнув слегка голову от мешавшей ему видеть в глубину комнаты зажженной на столе восковой свечи, всматривался, чтобы разглядеть, кто вошел.

— А, это — ты,— ласково проговорил он.— Что, гулять ходил?

— Вы меня звали? — спросил Карл, чувствуя, что голос изменяет ему.

Князь опять поглядел в его сторону, точно не узнавая его голоса. Эйзенбах постарался остаться в тени.

— Да, я звал тебя,— начал Проскуров,— и по очень серьезному вопросу.— Он взял большую щепоть табака и потянул его с тем особенным удовольствием, которое служило у него признаком, что вещи, которые он намеревается сказать, будут приятны.— Вот что, мой милый! Надобно тебе знать, что с первого же дня твоего приезда ты понравился мне, и оттого я удержал тебя у себя... Теперь я узнал тебя ближе и еще более полюбил...

«Боже, как мог бы я быть счастлив!» — подумал, невольно вздохнув, Карл.

— Ты говоришь что-нибудь? — спросил князь.

— Нет, я слушаю.

— Ну, вот! Так задерживал я тебя недаром. Житье в Проскурове нравится тебе?

— Да, нравится.

— Ты, кажется, не прочь от деревенской жизни?

— Нет, я очень люблю ее.

— И мог бы не выезжать из деревни долго?

— Да,— чуть слышно подтвердил Карл.

Он понимал, к чему клонились эти вопросы князя. Он сознавал, что счастье его жизни должно было решиться сегодня, и князь начал разговор об этом именно сегодня,

почти сразу после того, как Карл мог воочию убедиться, что счастье не суждено на его долю.

Если бы Проскуров знал, что испытывает теперь Карл, то не говорил бы так ласково-спокойно. Эта его ласковость и приветливость только увеличивали страдания молодого человека.

А князь, довольный своими мечтами и довольный тем, что пора приводить их в исполнение, не спеша рассказывал, что он в переписке с отцом Карла решил многое: что старик барон выедет на днях из Петербурга и что если Карл не знает, в чем дело, то это «многое» заключается в сватовстве его, Карла, к княжне, для чего-де и едет сюда барон Эйзенбах.

— Твой батюшка, вероятно, писал тебе о наших предположениях,— со мной можешь говорить без обиняков,— продолжал князь.— И едва ли, я думаю, ты будешь несчастлив...

Карл молчал.

Князь истолковал это молчание по-своему и продолжал:

— Затеял я наш разговор для того, чтобы узнать отчасти твои мысли и спросить, как, на твой взгляд, относится к тебе твоя будущая невеста... Я знаю, что моя дочь никогда не выйдет из моей воли, но, понимаешь, мне хотелось бы полного счастья между вами, мне желалось бы услышать от тебя самого, что она будет счастлива с тобою, потому что только тогда я буду спокоен окончательно, чтобы прожить остаток дней своих в ненарушимой радости.

— Этого быть не может! — вырвалось вдруг у Карла.

Однако тут же его охватило раскаяние, зачем он сказал это, и если бы князь призвал его к себе завтра, не сейчас после сцены в саду, если бы у него было время одуматься, приготовиться, то Проскуров конечно ни за что не услыхал от него этих несчастных слов. Теперь же Карл был застигнут врасплох.

— А почему это, сударь мой? — спросил вдруг в один миг изменившийся князь и, словно ощетинясь, приподнялся на кресле, причем впился в Карла блестящими, сразу налившимися кровью, глазами.

Где-то, в глубине души, Проскуров предчувствовал, что его мечты не сбудутся, что тяготящая над ним немилость судьбы не изменится и на этот раз. И вот при словах Карла: «Этого не может быть»,— у князя вдруг со всею

силою поднялось это сознание вечной неудачи. Да, и на этот раз расчет был неосуществим, как всегда. Но отчего, кто или что помешает ему?

Это заинтересовало князя, и он теперь желал лишь узнать причину, разбившую его надежды.

— Почему это, сударь мой, спрашиваю я вас? — крикнул он, не помня уже себя.

Только теперь увидел Карл, что значили эти страшные припадки гнева Проскурова, про которые он слышал от отца. Только теперь увидел он, до чего может дойти человек, еще за минуту пред тем ласковый и спокойный.

— Мне ваш батюшка писал, что вы всем сердцем рады, а теперь, что же это?.. Да говорите же что-нибудь! — крикнул князь.

— Я, князь, рад,— заговорил вдруг оробевший Карл.— Я, князь, про себя ничего не говорю, но княжна...

— Ну, ну, что княжна? Что княжна?..

— Может быть, у нее найдется другой избранник сердца...

Князь упал в кресло и, откинувшись на спинку, воскликнул:

— Другой избранник сердца!.. Ах ты, шут гороховый!.. Да откуда же взяться этому избраннику?.. В Петербурге у вас девки бегают на свободе, а здесь кого увидит княжна Проскурова? Кого, спрашиваю я? Итальянца да Артемия... Что ж, она в Артемия влюбилась, что ли? — и князь расхохотался.

Карл стиснул между колен руки так, что пальцы его хрустнули.

Андрей Николаевич вдруг оборвал свой смех, и, словно пораженный ужасом и удивлением, обернулся к Карлу.

— А!.. тебе не смешно?.. Что ж ты не смеешься?.. В Артемия? — проговорил он.— Что ж, разве это мыслимо?

И, точно догадываясь уже по новому молчанию Карла, что для судьбы ничего нет немыслимого, князь, ударяя в ладоши, крикнул Артемия. Он знал, что тот должен был находиться в приемной.

Дверь отворилась, и на пороге показался Артемий. Он был бледен, но держался прямее обыкновенного. Голова его не склонилась, глаза глядели открыто и прямо. Он точно вырос в эту минуту.

Барон сидел, напротив, съежившись и втянув голову в плечи.

Старый князь поднялся со стула, большими шагами подошел к Артемию и, схватив его за руку, подтащил к барону и заговорил, резко выкрикивая слова:

— Скажи ему, что он лжет! Он говорит, то есть не говорит он, а молчит... он думает... подозревает, что Ольга... что ты... Пойми ты... скажи ему, что это — ложь...

Князь совсем задыхался.

Артемий опустил глаза. Он должен был ответить, не мог смолчать.

И он ответил:

— Барон говорит правду.

Андрей Николаевич отскочил, точно громовой удар разразился над ним. Он несколько раз перевел с трудом дух, силясь проговорить что-то.

— И... и она? — наконец спросил он.

— Я сегодня сам своими глазами видел, как этот молодой человек сидел с княжною в саду, где розаны...— произнес барон отчетливо и ясно.— Я не мог ошибиться... И я слышал весь их разговор...

Злоба при виде Артемия увлекла его, и он снова не мог удержаться.

Несколько мгновений в комнате было слышно только редкое и тяжелое дыхание старика. Он сидел в неловкой, случайной позе в кресле, и лишь изредка руки его судорожно вздрагивали.

— И это...— заговорил он наконец,— за все мои заботы... за всю мою ласку... за то, что я берег ее... берег... для того, чтобы найденыш, без рода и племени, осмелился... ее... княжну Проскурову... Вон! — вдруг крикнул князь в сторону Артемия.— Вон, и чтоб на глаза мне не показываться!.. Убью!..

Артемий стоял бледный, с затрясшейся нижнею челюстью, но на крик князя он не выказал испуга, а покорно повернулся и вышел.

Князь опять встал, подошел к Эйзенбаху и, отвесив низкий поклон, проговорил:

— Виноват, кажется, ваша правда. Не оставьте теперь меня одного!

XII
СИНЬОР ТОРИЧИОЛИ

Весть о княжеском гневе с быстротою молнии разнеслась по усадьбе, и дворовые, по опыту знавшие, каков бывал рассерженный князь, притаились и притихли, запрятались

по своим конурам, чтобы хотя случайно не попасть на глаза грозному барину. Дворецкий, давно не видевший гнева Андрея Николаевича и знавший, что припадок будет тем сильнее, чем дольше был светлый промежуток, дрожал заранее, в ожидании, когда господа выйдут ужинать.

На его счастье, никто не явился к столу. В этот вечер в Проскурове некому было вспомнить о еде.

Карл, придя к себе, лег на кровать не раздеваясь и, заложив руки за шею, долго лежал так, с усилием стараясь разобрать спутавшиеся нити мыслей и прийти в себя после свалившихся так неожиданно на его голову несчастий. Только что происшедшее объяснение с князем было у него, как в тумане. Хотя он и обвинял себя за излишнюю, может быть, горячность, но, обсуждая теперь дело со всех сторон, приходил к убеждению, что трудно было поступить иначе. Все равно, рано или поздно, истина должна была выйти наружу, и то, что произошло сегодня, неминуемо произошло бы тогда.

Долго лежал у себя Карл, пока наконец в дверях показалась голова лакея.

— Иосиф Александрович просит барона, может ли он войти к нему? — доложил лакей.

— Просите.

Итальянец являлся теперь в Проскурове человеком, которого более всех остальных желательно было видеть Эйзенбаху.

Торичиоли вошел. Карл поднялся ему навстречу и спросил по-немецки:

— Вы знаете, что случилось?

Торичиоли владел этим языком довольно свободно.

— Слышал,— ответил он.— Если бы вы видели, что там происходило! — и итальянец качнул головою в сторону большого дома.

— А что?

— На половине княжны. Князь отправился к ней, и была минута, что он в бешенстве чуть не убил ее. Я там был с каплями. Я его удержал прямо за руку.

— А как же поступить иначе? — спросил он.

— Она молчит. Села в уголок и застыла, не дрогнет.

Карл прошелся по комнате.

— Плохо дело, синьор Торичиоли,— проговорил он.

— Да, барон, не хорошо.

— Я думаю, что все кончено. Выхода нет... Нужно уезжать...

— Значит, все ваши и мои хлопоты пропадут даром? — возразил итальянец.

— А вам сколько обещано отцом в случае, если свадьба состоится?

— Пять тысяч единовременно и пенсия от вашего имени,— вздохнув ответил Торичиоли.

— Вознаграждение хорошее,— улыбнулся Карл.— Ну, теперь придется вам забыть о нем.

— А разве вы хотите бросить дело? Это — ваше окончательное решение?

Барон на ходу остановился пред итальянцем:

— А как же поступить иначе? — спросил он.

— Нужно поискать сначала какого-нибудь исхода...

— Ищите! — Карл опять заходил по комнате.

— Припадок гнева князя пройдет скоро,— начал рассуждать Торичиоли,— тогда он будет к вам опять ласков... Вы не виноваты ни в чем. Нужно победить молодую девушку — вот вся задача.

— Победить, победить! — процедил сквозь зубы Эйзенбах.— Легко сказать это — победить...

Нужно было видеть Карла в эту минуту, чтобы судить, каков был этот человек, когда маска добродушия спадала с него. Лицо его резко изменилось, движения были отрывисты, бешенство горело в глазах. Казалось, он готов был на все решиться, чтобы достичь желанной цели.

— Нужно стараться,— проговорил итальянец.

Карл нетерпеливо взмахнул руками.

— Да разве я не старался, разве не делал все, от меня зависящее, в течение этих трех недель?.. Можно провести отца, но чувство девушки не обманешь!

— Эх, если бы был я свободен действовать! — вздохнул вдруг Торичиоли.

Видно было, что ему и хотелось, и вместе с тем не хотелось говорить то, что он думал.

Искра надежды мелькнула в глазах Карла.

— Вы имеете какой-нибудь план? — живо спросил он.— Слушайте: если княжна будет моею,— кроме пяти тысяч и пенсии, я обещаю вам заемное письмо в пятьдесят тысяч.

— Пятьдесят тысяч! — повторил Торичиоли.— Пять тысяч и пенсия, заемное письмо в пятьдесят тысяч...

— Да, и ценный подарок в день свадьбы еще... Говорите, что вы придумали?

— Средство довольно старое, но тем не менее всегда действительное... У нас, в Италии, есть много секретов. Когда-то я занимался кое-чем. Можно молодой девушке дать несколько капель...

Карл махнул рукою, не желая дальше слушать.

— Я думал, у вас есть что-нибудь более серьезное,— сказал он разочарованно и снова заходил.

Тонкие губы итальянца растянулись в улыбку.

— Неужели, барон, вы думаете, что я говорю вам про те эликсиры, корешки и нашептывания, которые якобы способны приворожить девушку к кому-нибудь или заставить ее полюбить?.. Нет, Джузеппе Торичиоли никогда не занимался шарлатанством... Ему известны рецепты более действительные и знания более точные...

— Что же это? Яд, что ли?

— Зачем яд? — рассмеялся Торичиоли.— Нет, напротив, самый жизненный напиток... В наших интересах, чтобы молодая девушка жила и благоденствовала, а молодого человека, который нам мешает, и без того немедля ушлют куда-нибудь очень далеко... После случившегося сегодня он нам уже не опасен...

— Ну, так я не понимаю...— перебил Карл.

— Очень просто! Молодого человека ушлют — в этом нельзя сомневаться, и вы останетесь хозяином положения, будете одни здесь, и тогда-то несколько капель известной мне настойки могут оказать свое действие.

— Да что же это за настойка? — нетерпеливо перебил Карл.— Что же, заставив княжну выпить ваши капли, вы вольете в ее сердце любовь ко мне?

Торичиоли снова улыбнулся и ответил:

— Любовь? Пожалуй — да. Но именно к вам? Нет, сделать это я не в силах. Однако довольно и того, что мои капли возбудят в ней такую страсть, такое желание страсти, что никто не убережет ее и сама она побороть себя не будет в силах, а так как, кроме вас, никого она более подходящего возле себя не увидит, то она и рада будет кинуться вам на шею.

— Вот оно что! — протянул Карл.— Но это ужасно!.. Ведь это все равно, что украсть ее сердце.

— Но зато это верно,— спокойно проговорил Торичиоли.

Карл задумался.

— Да, ужасное, но верное средство — это правда,— сказал он наконец, произнося вслух то, что было у него на уме, и заходил по комнате.— Но если я составлю ее сча-

стье,— заговорил он опять,— то сделаю все, чтобы она видела в жизни одну только радость... Синьор Джузеппе, я говорю вам, что она не раскается в потере этого безродного найденыша... Я люблю ее...

— Тем лучше,— подтвердил Джузеппе, вполне понимая эгоистическую самоуверенность барона: все влюбленные на один лад, и все они думают, что рай только в их шалаше.

— И у вас есть готовым этот эликсир?

Торичиоли поморщился. В душе его, видно было, промелькнуло что-то неприятное, словно тяжелое воспоминание, какой-то призрак прошлого, которому он не хотел позволить возродиться.

— Нет,— ответил он,— у меня нет готовых капель, их нужно сделать... а главное, вспомнить пропорцию, снова вычислить ее... Сегодня которое число?

— Девятое июня, кажется.

— Странно! — как бы говоря сам с собою, произнес итальянец, поводя плечами,— ровно девятнадцать лет тому назад я в последний раз должен был применить свое искусство... Много времени прошло с тех пор...

Но Карл был занят своими соображениями, и воспоминания синьора Джузеппе не интересовали его.

— А много времени вам понадобится, чтобы составить капли? — спросил он.

— Если найду все необходимые материалы, то недели две, самое большее — три...

— Долгий срок! — сказал Эйзенбах.

— Какой вы нетерпеливый!

— Тут дело не в нетерпении, а в том, что рассерженному князю вдруг может прийти фантазия завтра велеть мне приготовить лошадей. Теперь я вижу его характер.

— Скажитесь больным, лягте в постель; я буду делать вид, что лечу вас. И вы только выиграете в глазах князя тем, что так потрясены, что даже заболели.

— Синьор Торичиоли, вы — умный человек! — проговорил Карл улыбаясь.

— Господин барон, вы очень любезны! — в тон ему ответил итальянец.

— Значит, по рукам?

На лице Джузеппе еще раз явилась его особенная улыбка. Он улыбался всегда одними губами, глаза у него оставались серьезны, как это бывает у людей или очень несчастных, или таких, на совести которых лежит какой-нибудь упрек за прошлую жизнь.

— Нет, господин барон, не совсем еще по рукам,— остановил Торичиоли Карла, когда тот для заключения условия протянул ему руку.

— В чем же дело? — удивился Эйзенбах.

— Да в том, что вознаграждение, которое вы мне предлагаете, слишком мало.

— Слишком мало? Вам мало пятидесяти тысяч?

— Вот видите ли,— с расстановкой проговорил итальянец,— я рискую уж слишком многим.

— На мой взгляд — решительно ничем. Никто не может узнать. И в моих, и в ваших интересах хранить тайну, а никому, кроме нас, она не известна.

— Да, но... вот тут что: я должен нарушить одно обещание... больше обещания — клятву... данную мною ровно девятнадцать лет тому назад...

— Ну, это, значит,— эпизод из древней истории; можно легко забыть то, что было девятнадцать лет тому назад.

— Согласитесь, однако, барон, что из-за пятидесяти только тысяч нарушить клятву...

— Синьор Торичиоли, вы, разумеется, рассказываете мне сказки про ваши клятвы.

— Которым вы можете верить или нет,— подхватил итальянец.— Но ведь вы должны получить за княжною около миллиона; неужели вам жалко увеличить мою долю?

— Этот аргумент более рационален,— сказал подумав Карл.— Но капли уже будут поднесены вами; я ни во что не вмешиваюсь... Сколько приемов вы должны дать?

— О, достаточно одного — в пять или шесть капель!

— Вот дорогой напиток!..— улыбнулся Карл.— По двадцати тысяч капля!.. Что же вам угодно? Заемное письмо?

— Простую записку, которую вы подпишете.

И условие было заключено.

XIII

«КАЖДОМУ СВОЕ»

Прошло три дня. Старый князь сидел запершись у себя в кабинете и никого не пускал к себе, кроме камердинера. Он вовсе не ложился, проводя все время у окна, не спал и ничего не ел.

Странная сцена, происшедшая в комнате Ольги, когда старый князь явился туда после разговора с бароном, так подействовала на молодую девушку, что она слегла.

Отец ни разу не спросил о ней. Он беспокоился только о себе и о новом ударе, которым поразила его судьба.

И этот удар был чувствительнее всех прежних для себялюбивого князя. Князь Проскуров, весь век гордившийся своим титулом, потому что кроме этого ему нечем было гордиться, князь Проскуров, высокомерно отвергший предложение князя Голицына и других завидных женихов, должен был сознать, что найденыш завладел сердцем его дочери. Это поистине казалось ужасным.

Но Ольга не была виновата в том, что полюбила Артемия. Чувству не прикажешь, и, когда ее любовь перестала быть тайной, когда рассерженный отец грозил ей монастырем, упрекал в неблагодарности и клялся сжить со света негодного мальчишку, она твердо вынесла всю сцену, но затем не выдержала. Здоровье ее всегда было плохо. Слабенькая, рожденная от болезненной матери, проведшая свое детство в вечном страхе пред отцом — она выросла нервным, впечатлительным ребенком. Ей случалось жаловаться на грудь: она не могла не задыхаясь двигаться скоро... Пока отец берег ее, она чувствовала себя хорошо, но достаточно было первого же сильного нравственного потрясения, чтобы ее некрепкие силы надломились.

Артемий сидел, по приказанию князя, в своей комнате, под ключом, безвыходно. Участь его была решена: его отправляли в действующую армию солдатом.

Один Торичиоли еще надеялся, что все уладится, лишь бы поскорее услали Артемия. Перспектива ста тысяч придала ему бодрости, и он не хотел допустить и в мыслях, что это опьянившее его уже заранее богатство ускользнет от него, а потому горячо взялся за свое дело. Он вытащил запыленные книги, к которым давно не прикасался, сделал выкладки, отыскал на дне своего сундука коробку с засохшими корешками и к удовольствию своему убедился, что все, нужное ему, было налицо. Оставалось набрать розовых лепестков для эссенции.

Мнимобольной Карл лежал у себя во флигеле, скучая своим положением и отчасти уже раскаиваясь, что представился больным,— так, казалось ему, несносно проводить весь день у себя в неволе. Он спрашивал у Торичиоли, нельзя ли ему выздороветь, говорил, что ему скучно, но тот принес ему из библиотеки груду книг для развлечения и сказал, что выздоравливать рано, потому что самое лучшее сделать это днем позже того, как старый князь, отсидевшись у себя в кабинете, выйдет оттуда, тем более что к тому времени и Артемия по всей вероятности уже уш-

лют. Карл проклял в несчетный уже раз Артемия и остался лежать.

Он попробовал утешить себя книгами; он их вообще недолюбливал, но ему попался под руку один из безнравственных романов, довольно многочисленных в литературе XVIII века, и он стал читать его не без интереса. В этом случае он делал только то, что делало почти все общество его времени.

Роман подходил к развязке, и Карла очень занимало, женится в конце концов герой или нет, как вдруг, на самом интересном месте, раздались в комнате, соседней с его спальнею, быстрые шаги и, распахнув широко дверь, вбежал растерянный и сам на себя не похожий Торичиоли. Он был без шляпы, парик сбился слегка у него набок, дрожащими руками он силился расстегнуть камзол на груди.

— Что такое, что с вами? — проговорил барон, приподымаясь на постели.

Итальянец махнул рукой и в изнеможении не опустился, а просто упал на попавшийся ему стул, причем испуганными, широко открытыми глазами уставился на Карла. Он тяжело дышал, точно ему пришлось пробежать целую версту.

— Это невероятно, непостижимо, это выше моего понимания, но между тем я видел е г о... я видел собственными глазами,— запинаясь произнес он.

Карл испугался: Торичиоли, казалось, с ума сошел.

— Да ведь как видел, вот не дальше пяти шагов! — продолжал, все еще едва переводя дух, итальянец.— Мне нужны были розаны... я рвал их и вдруг вижу — о н идет по дорожке... Да, да, это был о н, я не мог не узнать его!.. В девятнадцать лет его лицо нисколько не изменилось, как будто время совершенно не оставило на нем следов... И как раз теперь, когда я чуть было не нарушил...

— Да кого вы видели? — возвышая голос, перебил Карл, которому невольно передавался ужас Торичиоли, видимо потерявшего голову.

— Да, я видел... Вот, возьмите назад; я — не слуга вам... Нет, не надо... Возьмите вашу записку, рвите ее... я ни за что, ни за какие деньги... Ах, барон, барон!..

И, говоря это, итальянец расстегнул свой камзол, достал висевший на груди у него полотняный мешочек, а затем, выхватив из него расписку Карла, бросил ее ему.

— Что с вами, кого вы видели наконец? Дьявола, что ли? — рассердился барон.

— Не знаю... может быть... может быть... но только это почти сверхъестественно... Я наклонился над кустом, подымаю голову... и вижу...

Торичиоли не договорил. Он замер почти на полуслове, остановив глаза на окне.

Эйзенбах взглянул за ним туда же. Сквозь частую сетку оконной рамы виднелся цветник, между подстриженными деревьями, по дорожке, на которой Карл в памятный ему вечер видел Ольгу, шел теперь к большому дому человек небольшого роста, коренастый, мускулистый, бодрою и твердою походкой. Он шел уверенно, просто, вполне владея тем, что называют «видной осанкой». Одет он был скромно, но его коричневый кафтан прекрасно сидел на нем, ноги, обутые в башмаки дешевой кожи, казались невелики (признак породы), а широкополая шляпа красиво оттеняла его выразительное, несколько смуглое лицо. Парика он не носил, и черные волосы его темнели издали.

— Кто же это? — спросил опять Карл.

Но Торичиоли не слыхал этого вопроса и снова не ответил. Эйзенбах стал настаивать дольше.

Мало-помалу, медленно Торичиоли пришел в себя. Он выпил воды, отер платком бледный свой лоб, глубоко вздохнул и заговорил:

— Если бы за минуту пред тем мне сказали, клянусь всеми святыми... голову свою заложить... я не поверил бы, что это могло случиться... Откуда ему попасть сюда?

Эйзенбах повернулся на кровати и сказал, видя, что теперь наконец можно говорить с итальянцем:

— Ну, постойте! Чего же вы так испугались? Что случилось особенного в том, что вы увидели этого господина? Воскрес он, что ли? Были вы уверены, что он умер?

— Нет.

— Ну, так что ж тогда? Это — ваш соотечественник, как его зовут?

— Comte Soltikoff.

— «Comte Soltikoff»,— повторил Карл, пожав плечами.— Это — русская фамилия: «граф Солтыков». По всей вероятности, проезжий или, может быть, новый сосед здешний, подъехал к княжескому парку и вышел погулять... Вы давно знакомы с ним?

— Да... да,— все еще рассеянно повторял Торичиоли,— да, тут нет нчего особенного, все это, может быть, очень просто... Soltikoff — русская фамилия... но девятнадцать лет тому назад в Генуе, и теперь вдруг здесь... Нет, это очень странно!..

— Значит, это — ваш давнишний знакомый? Вы пойдете к нему?

— Per Bacco[1], барон! Я останусь лучше с вами,— ответил Торичиоли, испуганно взглянув Карлу в лицо, и спустил на окнах, якобы от солнца, шторы.

XIV

НОВЫЙ ГОСТЬ

Только что Торичиоли успокоился немного, выразив намерение остаться в комнате барона, как появился лакей. Итальянец с новым испугом взглянул на него.

— Там вас спрашивает дворецкий,— доложил лакей, обращаясь к Торичиоли.

«Так и есть!» — подумал итальянец.

Но делать было нечего, и он вышел к дворецкому.

Дворецкий Иван Пахомович, угождавший князю с самого поселения его в деревне и очень гордившийся этим, был человек весьма обстоятельный, спокойный и не лишенный своего рода такта.

— Иосиф Александрович,— начал он, когда к нему вышел Торичиоли,— там иностранный господин пришел и просит доложить о нем князю. А ведь вы сами изволите знать, какие обстоятельства теперь,— к князю подойти невозможно... Я на себя не мог взять решение...

Дворецкий говорил с тою полупочтительною фамильярностью, с которою имеет обыкновение обращаться высокопоставленная прислуга не к господам, но к людям, стоящим близко к последним.

Торичиоли, давно привыкший к этой фамильярности, не обратил на нее внимания, тем более теперь, когда мысли его были всецело заняты совершенно другим.

— Надобно вам сказать, Иосиф Александрович,— продолжал Иван Пахомович, разводя руками,— этот господин явился-с через сад, довольно странно...

— Положим, тут может и не быть ничего странного,— сказал Торичиоли, невольно повторяя то, что только что говорил ему Карл.— Этот господин — вероятно, или приезжий, или новый сосед князя — гулял... зашел в сад...— Но тут Торичиоли замялся, потому что из показавшегося сначала правдоподобным соображения барона теперь как-то

---

[1] Клянусь Бахусом! *(ит.)*

не выходило ничего убедительного. Наконец он спросил: — А он сказал свою фамилию? Фамилия его русская?

— Нет, иностранная.

— Иностранная?

— Он говорит, что он — доктор.

— Доктор? Как же он назвал себя?

— Доктор Шенинг.

Торичиоли вздохнул свободнее. Он понял, что человек, которого он знал в Генуе под именем графа Soltikoff, не желает, чтобы его узнавали здесь, и, подумав: «Тем лучше»,— спросил дворецкого:

— Вы сказали ему, что князя нельзя видеть?

— Да, но он просит остаться в доме. Я ему говорю, что без князя нельзя, а он говорит: «Так доложите князю!» — и Иван Пахомович снова развел руками.— Я уже и не знаю, как быть, Иосиф Александрович? — добавил он.— Как угодно, а вы выйдите, поговорите с ним; я на себя одного не могу взять это дело.

Торичиоли остановился в нерешимости. Он чувствовал, что должен идти, что скрыться все равно некуда и что трудно будет выпроводить внезапного гостя, если тот захочет остаться. Под влиянием этого соображения он быстро взвесил все обстоятельства за и против. Строго говоря, бояться ему было нечего. Человек, явившийся под именем доктора Шенинга, не желает быть узнанным; условие, заключенное с Карлом, нарушено. В продолжение девятнадцати последних лет своей жизни он, Торичиоли, не может упрекнуть себя ни в чем. Ввиду всего этого он решился.

— Я сейчас! — сказал он и вернулся в комнату Эйзенбаха.

Карл лежал по-прежнему на кровати и ждал возвращения итальянца, уставившись на дверь нетерпеливым взором. Любопытство его было задето.

Торичиоли только высунулся в дверь и быстрым шепотом проговорил:

— Так помните, барон, что я — не слуга вам больше, что между нами нет никакого условия и что я вернул вам вашу записку.

Вслед затем, не дождавшись ответа, он снова исчез.

Доктор Шенинг ждал в больших парадных сенях, когда вернется дворецкий, сказавший ему, что пойдет посоветоваться относительно его просьбы. Он спокойно стоял у окна, и вся его фигура обличала столько уверенности в пра-

вильности его поступков, что становилось понятно, почему Иван Пахомович не отказал ему сразу, а нашел удобным посоветоваться с итальянцем о том, как ему поступить.

Торичиоли вышел с крыльца в сени. Доктор обернулся к нему, и глаза их встретились. Но ни один мускул неподвижного лица доктора не тронулся, он бровью не шевельнул, и его остановленный на итальянце взгляд не выражал ничего, кроме ожидания. Казалось, он не только не узнал Торичиоли, но просто никогда не видел до сих пор и не подозревал, откуда явилось смущение этого итальянца и что значит его растерянный, тревожный вид.

«А, может быть, это — просто сходство, может быть, память обманывает меня?..— радостно подумал Торичиоли.— И в самом деле человек не может сохраниться так в продолжение девятнадцати лет... Да, конечно...»

И он смелее поглядел на доктора.

— Я имею удовольствие говорить с управляющим князя? — спросил тот на ломанном русском языке.

«Голос как будто тот»,— снова мелькнуло у итальянца; но он тотчас же ответил по-немецки:

— Нет, я живу у князя не в качестве управляющего. Но что вам угодно?

— Я прошу гостеприимства в этом богатом доме. Мне сказали, что это — дом князя Проскурова; я прошу гостеприимства у князя.

— Но его сиятельство никого не может принять теперь... его нельзя беспокоить...

— Я и не желаю беспокоить князя, но прошу лишь, чтобы мне было позволено отдохнуть.

— Это невозможно!

— Разве обычное в России радушие чуждо дому князя? — спросил доктор улыбнувшись.

Иван Пахомович стоял важно и серьезно, переводя взоры с доктора на итальянца, как будто стараясь узнать смысл непонятного разговора на чуждом ему языке. Он видел, что доктор сказал итальянцу что-то такое, что тот замялся.

— Иван! — вдруг раздался голос старого князя.— Кто это такой и что ему нужно?

Князь Андрей Николаевич стоял на верхней ступеньке спускавшейся в сени внутренней лестницы. Он в первый раз после случившегося три дня тому назад шел гулять в сад.

XV
ДОКТОР ШЕНИНГ

Вероятно, это было следствием трех бессонных ночей и нервного утомления князя Андрея Николаевича, но с ним случилось нечто очень-очень странное.

Когда он, намереваясь пойти гулять, вышел на лестницу и наткнулся в сенях на иностранного доктора, просящего гостеприимства, он, должно быть, заговорил с ним и пригласил идти за собою, потому что полное и ясное сознание окружающего вернулось к нему только в саду, когда он шел по дорожке, по которой имел обыкновение ходить. Рядом с ним шел доктор Шенинг. Они разговаривали.

Как это случилось, что вот они очутились вместе, в саду, разговаривая,— старый князь отчетливо не помнил, хотя и понимал, что особенно удивительного тут ничего не было: он вышел сегодня в первый раз из кабинета, утомленный физически и нравственно. Весьма естественно, в первую минуту он мог почувствовать некоторую слабость, затмение и не помнил, что и как говорил. Потом свежий воздух отрезвил его, и он пришел в себя.

Как бы то ни было, но доктор был рядом с ним и держался так уверенно и просто, как будто так и следовало тому быть.

Князь поверил его убежденному виду и подумал только про себя: «Гм... плохо дело; видимо, старость приходит, если ж я забывать стал».

Разговор у них шел по-немецки...

— Прекрасно у вас здесь! — хвалил доктор князю его сад и цветник.

Это, видимо, доставляло большое удовольствие Андрею Николаевичу, который был в сущности очень рад поговорить теперь с лицом совершенно посторонним. Доктор, случайно заброшенный в Проскурово и конечно совершенно чуждый всему, что здесь произошло три дня тому назад, являлся вполне таким лицом. Кроме того, бывают люди, в обществе которых чувствуешь себя лучше, сильнее и крепче, словно они электризуют вас исходящими от них симпатическими токами. И доктор Шенинг был именно таким человеком, и в его обществе Проскуров чувствовал себя лучше.

Он, стараясь отвлечь свои мысли от надвинувшегося на него и заполнившего его беспокойства, показывал доктору цветник и высказывал предположения о том, как он разо-

бьет клумбы в будущем году и как это будет еще красивее, чем теперь.

— Да,— согласился доктор,— при желании, разумеется, все можно сделать, хотя ваши клумбы так хороши теперь, что едва ли мыслимо распланировать их еще лучше.

Князь приостановился и взглянул на доктора из-под своих седых нависших бровей.

Когда человек поглощен чем-нибудь, ему кажется, что разговор затрагивает именно его больное место; так и теперь князь видел, что, несмотря на его старание говорить о совсем посторонних его горю вещах, все-таки сейчас же дело зашло о «неисполнимости желаний», то есть о том, что составляло самое суть его несчастья.

— Да, но вот говорят, что если сильно желаешь чего-нибудь, то оно непременно сбудется,— ответил Андрей Николаевич (говорил уже не о цветнике, но о том, о чем мучительно думал в продолжение трех последних дней).

Доктор в свою очередь пристально поглядел на него и, улыбнувшись, произнес:

— Дело в том, что нужно у м е т ь желать, нужно знать, каким путем направить волю свою, и тогда это замечательное наблюдение опыта явится непреложною истиной, в противном случае произойдет совершенно обратное, и человек вечно будет встречать все, идущее вразрез его желаниям, и никогда они не удовлетворятся. Муки Тантала — не простой, бессмысленный миф, не сказка, придуманная для забавы детей. Нет, это, может быть,— одна из аллегорий важнейшего откровения... Человек, неспособный управлять своей волей, обречен на то, что вода будет сама, как у Тантала, убегать от его горячих, жаждущих, воспаленных губ.

Волнение снова охватило князя, но он с радостью ощутил, что это не было волнение гнева.

— Уметь желать, уметь желать! — повторил он.— Но хорошо сказать это, а как выполнить? как научиться этому?

— Жизнь научит.

— Ну, а если есть люди, которые в продолжение всей жизни не могли научиться этому?

— Значит, в их жизни не было ничего такого, чего бы им следовало ж е л а т ь по-настоящему, значит, судьба сделала все, чтобы они были счастливы, и желания их были излишни, не нужны... себялюбивы...

Это последнее слово Шенинга, как каленым железом, обожгло Андрея Николаевича, но, к его удивлению, этот ожог имел целебное, успокаивающее свойство.

— А разве могут быть желания не себялюбивые? — спросил он...

— Не только могут, но они должны быть,— ответил доктор.

Князь задумался.

«Да,— словно заговорил в нем какой-то внутренний, вдруг только что пробудившийся голос,— неожиданность изменит твои расчеты, и судьба разрушит твои планы, если не положить конец страстям, конец себялюбию... Ты веришь в свою силу, а, глядишь — камешек, попавшийся на твоей дороге, сильнее тебя... И так во всем».

И этот тайный голос был результатом всей жизни князя. Он это почувствовал теперь.

Они продолжали идти молча, обходя во второй уже раз большой цветник. Флигель, где жил Карл, был направо от них. Они подошли к флигелю. Князь вспомнил про Эйзенбаха, а также сообщение слуг о том, что молодой человек болен.

— У меня тут больной,— сказал он, указывая на флигель и, видимо, желая дать понять доктору, что хочет его оставить на некоторое время, чтобы зайти к больному.

— Может быть, я могу быть полезен? — спросил Шенинг.

Князь недоверчиво взглянул на него и наконец решился спросить:

— Так вы... вы действительно — доктор?

Шенинг опять улыбнулся той уверенною улыбкой, которая удивительно шла его непоколебимому спокойствию и выдержанной, полной достоинства, манере держать себя.

— С какой же стати я говорил бы вам неправду? — ответил он и назвал известную немецкую академию, давшую ему ученую степень.

Имя академии окончательно убедило князя.

— В таком случае зайдемте вместе,— пригласил он.

XVI

МНИМОБОЛЬНОЙ

Карл со своей постели мнимобольного видел через окно, как против его флигеля остановился старый князь вместе со странным гостем, появление которого так напугало То-

ричиоли, что тот вернул ему его расписку и вдруг отказался от задуманного плана. Карл видел также, как они поговорили с князем и потом вместе повернули во флигель.

«Зачем он ведет его ко мне?» — удивился барон.

В первую минуту он решил было поскорее одеться, чтобы выйти к князю, но сейчас же передумал это, потому что лучше было, если Андрей Николаевич воочию убедится, что он действительно болен и лежит. И Карл постарался придать лицу как можно больше уныния и грусти, полузакрыл глаза, натянул на себя одеяло и, в знак своей слабости, склонил голову на сторону.

Едва успел он принять соответствующую позу, как дверь отворилась и вошел старый князь.

— Лежите? — проговорил он.— Мне сказали, что вы больны, значит, серьезно больны?

Андрей Николаевич опять говорил Карлу «вы».

«Плохой знак!» — подумал тот.

Князь вошел очень храбро, но войдя уже заметно сожалел, зачем пришел сюда, потому что собственно не имел ничего сказать Карлу. Однако он понимал, что встреча их все же необходима, и пошел к барону.

— Благодарю вас, князь,— слабым голосом ответил тот,— мне Торичиоли давал лекарство, он находит, что это пройдет.

Карл говорил одно, а думал совершенно другое: он думал о том, какую имеют связь этот граф, как его назвал итальянец, Солтыков, и старый князь, разгуливающий с ним по саду, и сам наконец Торичиоли. Карл находился еще под впечатлением появления и ухода перебедовавшегося итальянца.

— Итальянец — не доктор,— ответил князь.— Не послать ли за настоящим?

— О, нет, не надо! — поспешно перебил барон.

— Отчего же? А то вот проезжий есть... говорит, он — тоже доктор; пусть посмотрит.

И князь вернулся к двери и впустил в комнату Шенинга. Он распоряжался, как хозяин, потому что привык считать хозяином в Проскурове только себя.

Удивление Карла росло. Тот, кого князь называл «доктором» и впустил сейчас, был только что итальянцем показан ему, Карлу, под именем графа Солтыкова.

«Что за чепуха?» — недоумевал барон.

Но Шенинг, или тот, кого называли так, быстро приблизился к его постели, окинул его сосредоточенным, вни-

мательным взглядом и посмотрел прямо в самые глаза его. Барон невольно опустил веки. Казалось, ему заглянули в самую душу и поняли все его помыслы.

— Цвет лица — прекрасный,— сказал Шенинг, затем попробовал голову Карла, тронул его руку.

Эйзенбах так растерялся от того тона, которым доктор сказал, что у него прекрасный цвет лица, что не успел опомниться и высказать сопротивление осмотру...

— Да он здоров,— проговорил вдруг Шенинг.

— Как здоров? — переспросил князь.

— Совершенно здоров, могу вас уверить. Даже излишней мнительности нет; это — простое притворство, и только.

Карл вскочил на постели. Резкие слова доктора взорвали его.

— Что ж, я лгу, что ли? — почти крикнул он.

Куда девались его слабость, его бессильный голос! Кровь прихлынула к его щекам, и по всей его энергичной фигуре всякий теперь сразу мог убедиться, что он действительно совсем здоров.

Доктор молча обернулся к князю, как бы приглашая его оценить эту метаморфозу в больном.

— Но с чего ж бы ему притворяться? — проговорил князь.

— Я не знаю,— ответил Шенинг, пожав плечами,— я не знаю даже, кто этот молодой человек, но не могу не сказать того, что вижу. Поищите: вероятно, есть причина, зачем ему нужно притворяться.

— Я — барон Карл фон Эйзенбах,— бешено, не помня себя, продолжал Карл,— меня, слава Богу, знают... и я не позволю какому-нибудь проходимцу, назвавшемуся чужим именем, оскорблять меня... Вы — не больше, как проходимец, неизвестно откуда взявшийся... Слышите, и убирайтесь вон отсюда!

Князь едва сдерживал себя, чувствуя уже приступ своего гневного припадка и стеснения в груди. Он уже не сомневался, что болезнь Карла была мнимая, и даже смутно понимал, зачем барон разыгрывал комедию. Если это было (как пришло в голову Андрею Николаевичу) для того, чтобы разжалобить Ольгу, то он мог, пожалуй, допустить это, но чтобы в его присутствии молодой человек, почти мальчишка, забылся до того, что осмелился оскорблять человека, это он не мог допустить.

— Извольте, государь мой, замолчать! — резко проговорил он.

Карл опомнился слегка.

Шенинг оставался по-прежнему невозмутим и спокоен.

— Вы напрасно оскорбляете меня,— тихо проговорил он,— вы не знаете сами, что делаете, и змея укусит не меня, а вас.

Это невозмутимое спокойствие Шенинга и тихий, но отчетливый голос подействовали на барона, как масло на огонь. Он затрясся от злости. С первого же взгляда этот таинственный доктор стал антипатичен ему.

— Вы меня извините, князь,— обратился он к Андрею Николаевичу,— но если я, по мнению этого господина,— мнимый больной, то могу засвидетельствовать, что он — мнимый доктор, да... Торичиоли показал мне его в окно, когда он проходил по саду, и назвал графом Солтыковым, которого он знал девятнадцать лет тому назад в Генуе.

Ни одна черта не двинулась в лице доктора. Он остался, как и был, и лишь в глазах промелькнула у него искра, когда Карл назвал его «Солтыковым». Эту искру не могли заметить ни Карл, ни старый князь. Доктор стоял, опершись рукою на спинку кровати Карла, и глядел поверх его головы, как будто то, что говорил барон, вовсе не касалось его.

— Меня могли назвать, как угодно, но это еще ничего не доказывает,— опять пожал он плечами.

Андрей Николаевич поднялся со своего места.

— Милости прошу,— обратился он к Шенингу и, не сказав ни слова Карлу и даже не взглянув на него, вышел из комнаты вместе с доктором.

Эйзенбах схватился за голову. Так хорошо начатое им дело кончилось таким постыдным посрамлением.

«А все этот Торичиоли! — подумал он.— И нужно мне было связываться с ним!.. Да и я не выдержал... глупо... теперь все кончено...»

И вдруг, к ужасу своему, Карл заметил, что записка, которую ему бросил убежав Торичиоли и которую он забыл спрятать, лежала на столике у самой кровати, повернутая кверху надписанной стороной. С того места, где сидел князь, прочесть текст, казалось, было немыслимо,— это Карл сейчас же сообразил и успокоился. Но этот доктор... мог ли он видеть?

Эйзенбах быстро спустил ноги, вдел их в туфли и, подойдя к спинке кровати, оперся на нее рукою совершенно так же, как это делал доктор. Только что он встал на место, как ему прямо бросилось в глаза то, что было написано на этом несчастном клочке бумаги:

«Обязуюсь внести синьору Джузеппе Торичиоли сто тысяч рублей, если княжна Ольга Андреевна Проскурова станет баронессой фон Эйзенбах».

И Карл с отчаянием вспомнил, как он кричал, что он — сам барон фон Эйзенбах, этому доктору, который в ту самую минуту, может быть, читал эту записку.

Не теряя дольше времени, барон схватил со стола трут и огниво, высек огонь, раздул, приложил серничку, зажег свечу и, скомкав бумагу, поднес ее к пламени. Бумага, корчась и чернея, вспыхнула синим пламенем и медленно превратилась в пепел.

«Ну, теперь пусть доказывает!» — успокоился Эйзенбах.

Выйдя от Карла вместе с доктором, князь Андрей Николаевич пошел в большой дом с таким видом, как бы предлагая Шенингу следовать за собою.

«Призвать итальянца и свести их с доктором,— сделал он в уме как бы выкладку,— если бароновы слова — правда, то выгнать».

«А, может, барон и врет!» — пришло ему также в голову.

Придя наверх, он попросил Шенинга подождать в приемной, а сам прошел в кабинет и велел позвать к себе Торичиоли.

Обстановка кабинета, в которую вернулся Проскуров и которая особенно в последние три дня опротивела ему, не произвела на него удручающего впечатления. А этого он боялся. Напротив, прогулка, видимо, принесла князю пользу: он чувствовал себя бодрее.

Торичиоли явился приниженным и смущенным. Чтобы попасть в кабинет князя, ему нужно было пройти через приемную, где находился доктор.

— Вы видали когда-нибудь этого доктора? — спросил князь.

Итальянец заморгал глазами и, делая всевозможные отрицательные жесты и головою, и руками, поспешно ответил:

— Никогда я раньше не видал доктора, никогда.

— А барон Эйзенбах говорит, что вы указывали на него, как на вашего знакомого в Генуе... и там он будто бы носил другую фамилию.

Итальянец задергался сильнее и, продолжая убедительно размахивать руками, заговорил:

— Ах, нет, господин князь, я не говорил этого; я только сказал, что знал девятнадцать лет тому назад — дейст-

вительно в Генуе — человека, похожего на доктора Шенинга; но это был не он.

— Вы уверены в этом?

— О, да!.. Тем более, что тот господин был приблизительно на вид тех же лет, как теперь и доктор...

— Ну, хорошо! Так подите проведите доктора в одну из комнат, предназначенных для гостей! — Андрей Николаевич приостановился немного и затем вдруг скороговоркой добавил: — А потом велите завтра утром приготовить лошадей для молодого барона. Он завтра едет.

Вслед затем движением бровей князь показал итальянцу, что тот может идти и что возражать ему нечего.

Торичиоли вышел в приемную и, согнувшись и извиваясь, стал просить «господина доктора» следовать за ним. Но тот, прежде чем сделать это, вынул из карманного портфеля сложенную вчетверо бумагу и сказал, подавая ее итальянцу:

— На всякий случай будьте добры показать это князю.

Проводив доктора до избранной для него комнаты и оставшись один, Торичиоли немедленно развернул данную ему для князя бумагу. Это оказалась засвидетельствованная русскими властями копия и перевод с диплома академии, выданная на имя доктора Шенинга.

XVII

ДВЕ ДЕВУШКИ

Больная Оля сидела у себя в комнате. Она сильно переменилась: бледные щеки ее ввалились, глаза неподвижно останавливались на первой попавшейся точке. Она не могла плакать, хотя слезы принесли бы ей утешение.

В первый раз третьего дня отец напомнил себя ей таким, каков он был во времена ее детства, когда она жила в вечном страхе и за себя, и за мать.

Смерть почти замученной на ее глазах матери стояла теперь пред девушкой во всех мельчайших подробностях своего леденящего кровь ужаса. Неужели и ей суждено так же умереть? Неужели она должна будет проститься с этой милою для нее до сих пор жизнью, и со своим дорогим, радостным чувством любви? Ей запрещали любить — значит, не хотели, чтоб она жила, потому что она не могла жить и не любить.

Она полюбила человека, которого знала с детства, который сам любил ее, и они были так счастливы, так чисто,

безгранично счастливы до сих пор. Они не думали и никогда не говорили между собою о будущем, никогда не строили планов: настоящее казалось им так прекрасно, что нечего было уходить от него даже в мыслях. И вдруг все это оборвалось так грубо, неумолимо, бесповоротно! Оля чувствовала и понимала, что выхода из ее положения нет, что нечего и думать о благоприятном исходе.

Через свою горничную Дуняшу она уже знала о том, что Артемия отправляют. Она знала нрав отца и не сомневалась, что его решения нельзя изменить.

Но и в себе, в своем самочувствии, она не могла тоже ошибиться. В ней во время гневного припадка отца словно оборвалось что-то, и, помимо нравственного страдания, она заболела физически, силы ее упали. Она была очень плоха.

Дуняша, принимавшая горячее участие в своей госпоже и служившая ей с безграничной преданностью, ухаживала за Олей, не спала ночи и, казалось, умереть была готова для нее.

Оля, несмотря на свою слабость, не лежала в постели, но проводила дни в кресле, беспомощно облокотясь на его спинку и инстинктивно, почасту и подолгу останавливая свои широко открытые глаза на окне, выходившем в сад. Она ждала, что Артемий, может быть, пройдет мимо, что, может быть, ей удастся если не перекинуться с ним несколькими словами, то хоть увидеть его. Потом ей сказали, что Артемия заперли; но она уже по привычке все продолжала смотреть в окно.

Дуняша понимала этот упорный, молчаливый, но тем не менее красноречивый взгляд своей княжны, и в тот день, когда старый князь «отсидевшись», как называли в доме, вышел наконец из своего кабинета, она, принеся в комнату Ольги обед, остановилась в отдалении, ожидая, пока княжна заговорит с нею.

— Нет, не хочу,— проговорила Ольга, слабым движением руки отстраняя от себя поднос.— Что ты, Дуняша?

— Да что, барышня! Сердце надрывается, на вас глядючи... Бедная ты моя!..— и в голосе беззаботной в дни веселья черноглазой Дуняши, первой затейницы в хороводах и играх, сводившей с ума первостатейных кавалеров дворни, слышались теперь неподдельные слезы.— Барышня милая!.. Вот что я придумала!.. Завтра попроситесь на балкон, вниз, посидеть, будто воздухом подышать, а я тем временем раздобуду ключ от комнаты Артемия Андрееви-

ча; когда после обеда все успокоится, Артемий Андреевич и может спуститься в сад... Поняли?..

Тень улыбки мелькнула по бледным губам Ольги. Эта заботливость расторопной Дуняши, эта внимательность, выразившаяся в понимании того, что было нужно Ольге,— приласкали ее, а ей так нужна была ласка в эти тяжелые дни.

— Как же ты достанешь ключ? — спросила она.

— Уж это — мое дело. Он у Ивана Пахомовича; ему князь приказали соблюдать Артемия-то Андреевича, и так настрого, чтоб ни-ни-ни... Ну, а Иван Пахомович вчера Сергея посылал вместо себя обед относить Артемию Андреевичу, потому что мы все его на смех подняли,— я нарочно это завела,— что, мол, на старости лет из дворецких в острожные сторожа попал, вроде то есть тюремщика. Ивану Пахомовичу это обидно показалось. Ну, вот он и препоручил Сергею. Если завтра то же сделает, так Сергей уходя двери-то не запрет... Я ему уже говорила об этом.

— А Сергей не выдаст? — спросила княжна.

— Сергей-то?.. Да не жить ему после этого на свете, если он такое сделает! — воскликнула она, и яркий румянец покрыл ее щеки.

Дуняша уверенно, самодовольно усмехнулась, опустив глаза.

Ольга вспомнила, что ей давно было известно, что молодой буфетчик Сергей заглядывается на ее Дуняшу. И невольно пришла ей в голову параллель между собою и этой преданной ей девушкой, счастливой еще теперь так же, как была счастлива сама она так недавно, и она тяжело и глубоко вздохнула.

— Полноте, барышня! — проговорила Дуняша, как бы поняв вздох княжны и извиняясь за свое ненарушенное счастье.— Полноте!.. Все, Бог даст, к лучшему устроится, все хорошо будет...

— Нет, Дуняша, нет! — быстро перебила Ольга.— И не говори!.. Это только хуже... Чему ж тут устроиться?

Но Дуняша продолжала говорить:

— Нет, барышня! С чего же быть не по-нашему? за что на вашу долю напасти пойдут?.. Слава Богу, вы никого не обидели. За что же Господь вас обижать станет? И, посмотрите, пройдет время, и как еще заживете-то.

Несмотря на то, что слова Дуняши были самыми обыкновенными, избитыми словами утешения и Ольга не хотела слушать их, они все-таки доставили ей хотя минутную

долю спокойствия; хоть на минуту она забыла о гневе отца, но это была именно только минута...

«Не бывать тебе за найденышем, не бывать этому сраму; ты осрамила род князей Проскуровых!» — снова зазвучали в ушах Ольги гневные речи князя, которыми напугал он ее третьего дня, и она вздрогнула всем телом, после чего спросила:

— А что батюшка?

— Сегодня вышли в первый раз из кабинета. В саду гуляли... заходили во флигель, а потом приказали итальянцу велеть лошадей к завтрему приготовить: барон петербургский уезжают.

Ольга не выказала к этому известию никакой радости. Теперь для нее было совершенно безразлично, останется ли Карл здесь или уедет.

— Теперь у нас новости,— начала опять Дуняша,— доктор иностранный явился; наверно, вас лечить будет,— и она стала рассказывать княжне про доктора.

XVIII

БОЛЕЗНЬ ОЛЬГИ

На другой день рано утром Карлу, уже предупрежденному итальянцем о необходимости его отъезда, подали лошадей, и он, не откланявшись князю, уехал. Андрей Николаевич извинился пред ним возобновившимся якобы нездоровьем и приказал Торичиоли передать барону, что весьма сожалеет, что не может видеть его.

Пред отъездом Карл попробовал попытаться выведать у итальянца причину, почему он так испугался этого доктора, которого уже сам он, Карл, ненавидел всей душой, и узнать все-таки, кто он,— Солтыков или другой кто-нибудь; но Торичиоли упорно настаивал, что в первую минуту ошибся, обманулся сходством, и тщательно избегал разговора об их условии относительно капель, как будто этого условия и не бывало между ними. Карл в свою очередь скрыл от него свою неосторожность с запиской, которую по всем вероятиям прочитал странный доктор.

Они расстались довольно холодно, но, расставшись с итальянцем, Карл почувствовал некоторое облегчение, заключавшееся в сознании, что он вовремя был удержан обстоятельствами от поступка, способного лечь упреком на его совесть.

Проходя из флигеля в большой дом, чтобы выйти на крыльцо к экипажу, он взглянул на окна комнаты Ольги. Они были завешаны шторами.

Между тем незадолго до этого князь Андрей Николаевич задал камердинеру — впервые в последние три дня — вопрос об Ольге и, услышав от того ответ, что княжна нездорова, переспросил:

— Больна?

Однако сейчас же ему пришло в голову:

«Штуки... штуки!..»

— А петербургский уехал? — спросил он опять отрывисто.

— Уезжают,— доложил камердинер, уже изучивший лаконический разговор барина и понявший, что его спрашивают о бароне.

Проскуров кивнул головой в знак того, что все идет, как нужно. Но известие о болезни Ольги все-таки обеспокоило его. Ему было как будто немножко стыдно за то, что он не догадался осведомиться о ней раньше — Ольга могла, пожалуй, действительно захворать. Но так как, в случае действительности ее болезни, стыд был бы вполне справедлив, то князь сейчас же постарался себя уверить, что его дочь притворяется.

Он поднял голову и, глянув на лакея, снова проговорил:

— Доктор что?

— Давно уже встали и гулять ушли.

— Вернется — ко мне позвать!

Доктор Шенинг понравился вчера князю, причем главным образом тем, что не шарлатанил вчера, не стал лечить здорового Карла тем, чтобы потом похвалиться своим искусством, а как увидел, что человек здоров, так и сказал. Такого доктора князь еще не видывал.

«Молодец! — подумал он.— Во всяком случае, если она притворяется, то он узнает. Это — все, что нужно...»

И в ожидании доктора он сел писать в Петербург, для того чтобы ускорить отправку Артемия в солдаты.

К нему пришли спросить, может ли княжна, которой хочется воздуха, выйти на террасу? Андрей Николаевич поднял голову и пожал плечами:

— Конечно, может! Ведь я не запирал ее.

Лично он не шел к дочери, опасаясь себя самого и новой вспышки гнева.

Доктор Шенинг, который, видимо, имел обыкновение вставать очень рано, вышел, как доложил лакей князю, гу-

лять, но не в сад, а направился по дороге, ведущей к большому петербургско-московскому тракту, находившемуся верстах в пяти от усадьбы князя Проскурова. При соединении дороги с трактом стояла проскуровская деревня.

Эйзенбах, выехавший из Проскурова, видел через окно своей кареты, как шел этот человек легкою, привычною к ходьбе походкою, опираясь на свою высокую палку. Он узнал доктора Шенинга, от всей души пожелал ему провалиться сквозь землю и, поровнявшись с доктором, даже нарочно откинулся в глубину кареты и закрыл глаза.

Но Шенинг не обратил никакого внимания на обгонявшую его карету, продолжая идти вперед.

Прогулка его была довольно продолжительна. Часа через три только вернулся он в Проскурово, так что этого времени было ему достаточно, чтобы дойти до деревни и вернуться назад.

Однако, несмотря на довольно значительное расстояние, которое ему пришлось сделать, утомления не было заметно в нем, и он бодро и мерно, не замедляя шага, вернулся в усадьбу через сад.

Миновав цветник, Шенинг приблизился к ступеням террасы, на которой, пользуясь благоприятным, теплым днем, сидела уже Ольга, в кресле, окруженная подушками. Матовая бледность ее милого, девственно-прекрасного лица почти не отделялась от белизны полотна подушки. Голова, закинутая назад, не шевелилась, рот полуоткрылся, руки бессильно и безжизненно опустились. Она сидела с открытыми глазами, но, казалось, пред ними для нее было совсем другое — не терраса, не сад, а образы беспокойной, мучившей ее грезы.

— Бедное дитя! — вырвалось у Шенинга при виде Ольги.— Бедное... Неужели и у ней есть уже свое горе?

Он сразу своим опытным глазом увидел, что пред ним одна из тех нервных, на редкость впечатлительных натур, всякое ощущение которых как бы удваивается живущим в их душе огнем, и если это ощущение сильно, внезапно, то вспышка этого внутреннего огня может быть смертоносна. Ольга страдала — это было ясно без слов. Шенинг понял, что пред ним княжна, дочь князя Проскурова.

При шуме его шагов Ольга подняла голову и, увидев пред собою чужого, незнакомого человека, сделала невольное движение к своим распущенным волосам, чтобы закрыть их руками.

— Не бойтесь меня, не бойтесь! — внушительно, тихо, но поспешно проговорил Шенинг.— Звание доктора позво-

ляет мне видеть вас так, как вы есть... Я не сделаю вам зла.

И он протянул к девушке руку.

Спокойный вид Шенинга, улыбка, с которою он смотрел на нее, вызывали в Ольге невольное доверие к этому доктору, о котором она уже слышала через Дуняшу.

— Так это вы — приезжий доктор? — спросила она.

Шенинг поднялся по ступенькам террасы и спросил в свою очередь:

— А вы — княжна?

Ольга улыбнулась ему в ответ.

Ей казалось, что ее горе так велико, так всеобъемлюще, что все и всех наполняет собою и что всякий человек, с которым ей приходится говорить, должен непременно знать обо всем, или по крайней мере при одном взгляде на нее догадаться, что происходит в ее измученной тоскою душе. А доктор смотрел на нее кротко, с лаской, с участием, словно преданный друг, способный не только сказать ей слово облегчения, но и облегчить ее тоску. И потому-то она улыбнулась ему доверчиво и почти радостно. Отец, самый близкий для нее по крови человек, никогда так не смотрел на нее.

— Вы нездоровы, вы больны? — спросил опять Шенинг.— Скажите мне!.. Может быть, я помогу.

Ольга слабо покачала головой.

— Нет, вам не помочь мне, будь вы самый искусный доктор... Так я, кажется, здорова, но боль моя здесь, глубоко, глубоко,— и она крепко прижала свою маленькую руку к груди.

— Все наши физические боли, или большинство их, имеют причиной нравственное страдание,— ответил Шенинг.— У вас было какое-нибудь горе?

Ольга молчала.

Доктор внимательно следил за нею. Вдруг он сделал шаг вперед и поднял правую руку. Ольга испуганно обернулась к нему, не поняв его внезапного и немножко резкого движения.

«Боже, он что-то хочет сделать со мною!» — тревожно мелькнуло у ней, и ей вдруг стало страшно быть наедине с этим совсем чужим человеком, потерявшим уже свою первоначальную ласковость и ставшим строгим, непреклонным, подчиняющим себе ее волю.

В особенности глаза его казались страшны и строги. Он зачем-то медленно проводил рукою — все ближе и ближе к ней, сверху вниз. Дуняша пошла обедать — не

вернется. Ольга одна. Позвать, крикнуть!.. Но она не может ни позвать, ни крикнуть — язык ее немеет. А доктор что-то делает над нею, и она не может противостоять ему.

— Не бойтесь! — слышит она успокоительный шепот.— Верьте, не боритесь со мною, слушайте меня!

И он настойчиво, неотступно делает свои странные движения рукою.

Но он во всяком случае — не злой, он — добрый, да.

Теперь она была в полной власти Шенинга, в полном его подчинении. Он оглянулся кругом; они были одни.

Ольге становится хорошо. Теплота разливается по ее телу, веки сами собою закрываются. И вдруг, словно она в воду канула, ее охватил тихий, нежный сон. Шенинг сделал над нею еще несколько пассов, потом наклонился. Ольга спала.

Лицо Ольги, за минуту пред тем измученное тоскою и тревогой, казалось спокойным, тихим. Она недвижно лежала, закинув голову на подушку, словно наслаждаясь охватившим ее земное, телесное существо покоем. Шенинг снова нагнулся к ней.

— Вы слышите меня? — спросил он.

Он знал, что девушка должна услышать его, но ему нужно было, чтобы она ответила. И она ответила:

— Да!

— Верите ли вы мне, что я не хочу вам зла, что для вашего блага и только для него я сделал то, что сделал?

Улыбка явилась на губах Ольги.

— Да, да! — ответила она.

— Ну, теперь отвечайте! Можете вы видеть свою болезнь, причину ее?

— Я знаю ее... я знаю... я и наяву знаю ее.

— Может быть, вам в питье дали какие-нибудь капли? Припомните.

Молодая девушка слегка качнула головой.

— Нет, мне ничего не давали.

— Тем лучше! Значит, причина другая. Какая ж она?

— Я люблю,— сказала Ольга.

— Дальше?

— Я вижу отца. Какой он строгий! Он — бедный: он не знает, что, запрещая мне счастье, губит меня. Но он не изменит своей воли... Ах!.. Что я вижу!.. Мне жаль себя!.. Я вижу гроб, белый, глазетовый, и я лежу в нем... Цветы... все плачут... И отец плачет. А сделать уже ничего нельзя... ничего. Нет, я хочу жить... За что?.. Разве жизнь нехороша?.. Я люблю жизнь. Не надо этого гроба!

На бесстрастном лице Шенинга промелькнула тень сострадания.

— Так ищите средства! — сказал он.

— Его нет. Если не дадут мне счастья... только оно одно спасет меня.

— Ищите! Постарайтесь найти!

— Нет.

Шенинг опустил голову. Ему жаль было молодости и красоты Ольги, ее первой девственной любви, свидетельство силы которой он только что видел, и он захотел помочь по мере своих сил этой девушке, душевную драму которой случайно узнал он, попавший в дом ее отца вовсе не для того, чтобы входить в тесную жизнь этого совсем стороннего для него дома.

— Вы хотите спросить меня еще что-то? — проговорила Ольга.

Шенинг, глянув ей в лицо, спросил:

— Вы, значит, можете следить за моею мыслью?

— Конечно! — ответила Ольга с новой улыбкой, как будто ее спрашивали о вещах, о которых совсем не следовало спрашивать.

— Хорошо. Тогда говорите, что вы видите?

— Я вижу дорогу... поля по сторонам... Постойте, я знаю эту дорогу — она наша. Она ведет в проскуровскую деревню на тракт... Вот деревня... тракт... Я вижу много народа... Что это?.. Солдаты верхом... офицеры... кареты... одна, другая, третья... Как они красивы!.. какие дамы сидят в них... как скоро едут они... сколько золота блестит на солнце... вскачь, вскачь все... Но вот первая карета останавливается...

Однако доктор не дал договорить ей. Время терять ему было некогда.

Через несколько минут Ольга проснулась на террасе одна. Она помнила, что познакомилась с доктором, что он произвел на нее отличное впечатление, но, как она заснула и что видела во сне, она не знала.

XIX

ПРАВДА ДОКТОРА

Шенинг прошел от Ольги прямо к князю. Тот встретил его очень любезно, усадил против себя и протянул ему табакерку. Но доктор отказался от табака.

— Я просил вас прийти, имея в виду просьбу к вам,— сказал князь.— У меня дочь больна.

— Да, я знаю,— ответил Шенинг.— Я только что видел княжну на террасе и осмотрел ее... Она нехороша...

«Ой, врет!» — подумал князь и спросил:

— То есть, чем же нехороша, государь мой?

— Ее болезнь может перейти в сухотку. Я не имею права скрывать это пред вами.

Князь беспокойно задвигался на месте.

— В сухотку, вы говорите, в сухотку?.. Так ведь это... может чем же кончиться, это, значит, серьезно?

— Да, это серьезно! — подтвердил доктор.

— Что же нужно делать? В Москву, в чужие края везти ее... лечить?..

— Нужно уничтожить причину, корень ее болезни. У нее было какое-нибудь нравственное потрясение?

Князь резко двинул плечом и забарабанил пальцами по ручке кресла. Шенинг ждал ответа.

— А что мне докажет, государь мой, что ваши слова справедливы и что это верно? — вдруг оборачиваясь, резко спросил князь, глянув в упор на доктора.

— То есть, что верно? — переспросил тот.

— А то, что болезнь княжны, моей дочери, так опасна?

Шенинг поднялся со своего места и, отчеканивая каждое слово, произнес:

— Княжна не вынесет своей болезни, если не уничтожить той нравственной причины, от которой происходит ее недуг. И это так же верно, как то, что через полчаса к вам придет известие о том, что сегодня сюда, в этот дом, будут великая княгиня с великим князем.

Андрей Николаевич, как был, так и привскочил со своего места. Он еще не мог разобрать, не насмешка ли это над ним.

Но Шенинг был серьезнее обыкновенного.

— Та-ак-с! — протянул старый князь.— Ну, на этой штуке меня не поймаете-с... не таковский; рассчитали, государь мой, но плохо... плохо рассчитали, говорю я вам! — И Андрей Николаевич, пригибаясь вперед, отчеканил, роняя слово за словом: — Нам, помещикам, известно, что великий князь с супругою изволят проследовать сегодня по тракту в Москву, но нигде они останавливаться, кроме путевых дворцов государыни императрицы, не будут в дороге, и никаких встреч делать не дозволено. А посему они сегодня проедут мимо. Да и никогда у частных персон высокие особы не останавливаются. Все-с это предусмотрено,

и существуют особые дворцы. Вот и все-с... Извините, что потревожил вас... простите — тут вот дела у меня,— и князь поклонившись опустился в кресло и взялся за бумаги в знак того, что считает разговор оконченным и продолжать его не намерен.

Доктор все с тем же, свойственным ему, невозмутимым спокойствием тихо повернулся и вышел.

Судя по словам, которыми князь заключил свой разговор с Шенингом, не было сомнения, что этому доктору немедля подадут лошадей для выезда из Проскурова. И действительно Андрей Николаевич, окончив свои занятия в кабинете, готов был призвать дворецкого, чтобы приказать ему заложить лошадей для Шенинга. Но каково же было удивление князя, когда взволнованный дворецкий почти бегом влетел к нему и, торопясь и глотая слова, стал докладывать, что верхом приехал с тракта офицер, для того чтобы предупредить князя Проскурова, что к нему прибудут сейчас великий князь, княгиня и свита. С колеса у кареты великой княгини соскочила шина, и потому время, которое необходимо, чтобы поправить ее, высокие гости проведут в усадьбе князя, находящейся по счастливой случайности, вблизи места происшествия.

Это известие так поразило само по себе Андрея Николаевича, что он не имел даже времени удивиться еще более поразительному предупреждению доктора Шенинга, только что полученному им.

Богатый дом Проскурова, с целым рядом всегда готовых комнат для гостей, с кладовыми, полными всяких запасов, с оранжереями заморских плодов, набитый многочисленною прислугою, был одним из тех барских русских домов, в которых не приходилось, в случае нужды, вино курить и пиво варить — всего было вдоволь. И, словно по волшебству, вытянулся в большом зале длинный стол, покрытый голландскою скатертью и уставленный винами в серебряных жбанах и вазами с фруктами.

Забегали разодетые в яркие кафтаны лакеи, на кухнях застучали ножи.

Все поспело вовремя, и князь Андрей Николаевич в шитом золотом кафтане встречал с непокрытой головою своих гостей на крыльце. Он чувствовал себя точно во сне. Его тихая до сих пор усадьба вдруг наполнилась блестящею толпою, способною ослепить и привычного к ней человека своими каменьями, шелком, перьями, кружевами.

Все было весело, смеялось, шутило, было полно радости.

Только великая княгиня Екатерина Алексеевна казалась грустною, и благодаря ли этой своей грусти или иному чему; но резко выделялась из всей этой блестящей толпы. На ней было платье менее роскошное, чем у остальных, но никто ловчее ее не носил своего платья. Она была невысока ростом, но все остальные как-то уничтожались пред нею, казались ниже ее. Ее красивое лицо привлекало к себе не только красотою, но на нем лежала печать несомненного ума и энергии — качеств, которых не было заметно в маловыразительном, суживающемся к подбородку, лице ее мужа. Его выдавшиеся вперед, словно он испугался когда-то и застыл в этом выражении, глаза, черные, большие, казались безжизненными и не притягивали к себе. Взгляд великой княгини, напротив, проникал в самую душу, а чуть заметная складка между бровями служила признаком развития мысли и ранних дум.

Когда сели завтракать, сразу можно было увидеть, что в великокняжеской семье существуют два совершенно противоположных лагеря. Это было ясно и по разговору, и по привычкам.

Молодая Екатерина Алексеевна, прежде чем сесть за стол, обратилась в передний угол и набожно сделала крестное знамение; великий князь, хохоча и шутя, подскочил к своему стулу и, как-то сбоку перешагнув через него, сел и тотчас же принялся есть и пить, наливая себе вина полные стаканы.

Князь Проскуров не садился за стол и, в качестве хозяина, переходил, наблюдая за угощением.

Завтрак у князя Проскурова был хорош, вина вкусны, общество многочисленно, и разговор завязался поэтому интересный.

— Нет, что касается меня,— сказал Петр Федорович,— то, конечно, я не верю, но много есть на свете странного... Я вот сам скажу про себя, со мною была история...

И он начал рассказывать историю, которую обыкновенно повторял после выпитого вина; это была история о том, как он, будучи восьмилетним мальчиком, был послан отцом, герцогом Голштинским, против банды цыган и как победил их чудесным образом.

На всех лицах играла скрытая улыбка в продолжение этого невероятного рассказа, слышанного большинством присутствующих уже много-много раз.

Екатерина низко опустила голову и потупилась. Краска несколько раз ярким румянцем заливала ее щеки. Как ни

старалась она скрыть это, но заметно было, что ей и больно, и обидно за мужа.

Но Петр Федорович, красный от выпитого вина, блестя влажными глазами, продолжал свой рассказ, не обращая внимания ни на общую неловкость присутствующих, ни на сконфуженный вид супруги. Только когда он кончил и водворилось неприятное молчание, он как будто понял, что что-то не совсем ладно, и обратился к хозяину дома, как к человеку новому и не слыхавшему еще никогда истории о цыганах:

— Князь, а князь... как вас зовут там?

— Проскуров,— подсказал Андрей Николаевич.

— А! ну, все равно! что вы скажете о моем рассказе?

Князь развел руками.

— Удивительно, ваше высочество, но сегодня мне трудно удивляться чему-нибудь после того, что случилось со мною.

Все обернулись в его сторону. Великая княгиня подняла на него взор.

— Это интересно,— сказал кто-то.

— Что же с вами случилось? — спросил великий князь, довольный тем, что в пику жене, которая, по его мнению, всегда вела себя так, чтобы поставить его в неловкое положение, он вовсе не конфузится и держит себя молодцом.

— Счастье высокого посещения, которым я удостоен сегодня благодаря случаю,— ответил Проскуров,— было предсказано мне утром.

— Что ж, это — добрый пророк,— подхватил великий князь.— Я желал бы, чтобы у нас почаще ломались шины, чтобы иметь такой прием, завтрак, а главное, вино... У вас славное вино, князь,— заключил Петр Федорович и налил себе еще полный стакан шипучего.

— Вы слишком милостивы ко мне, ваше высочество,— поклонился князь низким, ниже поясного, поклоном.

— Кто же этот пророк? — спросил, сдвигая брови, Чоглоков, жена которого была приставлена к великой княгине императрицею и который тоже наблюдал и сам за «малым двором».

— Доктор,— поспешил ответить князь,— его фамилия Шенинг.

— Славная фамилия! — заметил великий князь.— А где ж он?

Князь старался предупреждать желания своего высокого гостя.

— Прикажете позвать его, ваше высочество? — живо спросил он.

— Ах, да, прикажите! — сказала одна из фрейлин.— Это, вероятно, очень интересно. Говорят, в Германии есть тайные союзы, и я убеждена, что он — член такого союза, а я никогда не видела их...

Андрей Николаевич кивнул дворецкому, тот, поняв с полуслова, побежал за доктором.

Дверь раскрылась, и на пороге появился доктор Шенинг.

На нем были тот же, что и вчера, коричневый кафтан, та же простая обувь, и так же, как вчера и, очевидно, как всегда, был спокоен его вид. Казалось, под этим простым и скромным одеянием являлся не бедный доктор пред лицо владетельных особ, но один из сильных мира сего входил в общество, знакомое ему и привычное. В нем не было заметно и тени волнения, охватившего всех в Проскурове, не исключая и старого князя, с минуты приезда гостей. Доктор приближался, не ускоряя шага, и, подойдя к столу, сделал почтительный поклон, полный достоинства.

Но только великая княгиня улыбкой и наклонением головы ответила на этот поклон. Остальные, и в особенности великий князь, смотрели на вошедшего, как на предмет любопытства, словно он был не человек, а вещь из кунсткамеры. Петр Федорович перегнулся, закинув руку за спинку стула и полураскрыв рот, точно очень удивился, что доктор — такой же, как и все остальные люди.

— А что же, он ничего,— вслух проговорил он, не стесняясь.

Великая княгиня закусала губы. С ее прирожденным тактом распознавания людей, она увидала сразу в докторе достойного человека. А ее муж уже оскорбил этого человека ни за что, ни про что своим обращением.

— Вы, говорят,— предсказатель, маг, волшебник? — продолжал Петр Федорович, обращаясь к доктору.

Старый князь смотрел в это время на Шенинга, сверкая глазами, будто всем существом своим хотел сказать ему: «Посмей у меня только быть непочтительным! так я тебя в щепки изломаю».

Но доктор, не теряя своего хладнокровия, тихо ответил:

— Я — ни то, ни другое, ни третье, ваше высочество!

— Ну, а все-таки наш приезд, случай с нами предсказали?

— Да.

— Каким же образом?

— Вам угодно испытать?

Петр Федорович расхохотался.

— Я — не столько глупая голова, чтобы верить вашим дурацким бредням.

— Но все-таки это интересно,— сказала Екатерина, чтобы смягчить последние слова великого князя.

— Да вот,— подхватил опять тот,— это совсем по женской части... Нам, мужчинам, разумеется, интереснее выпить стакан доброго вина... ну, а им заниматься гаданьем. Вы можете поворожить моей жене?

Шенинг взглянул на Екатерину. Вся эта сцена, видимо, была неприятна ей.

— Да, пожалуйста,— проговорила она.

— Если ее высочеству угодно будет,— ответил доктор,— в таком случае я попрошу ее высочество пройти со мною в соседнюю гостиную. Я могу исполнить ее волю только без посторонних свидетелей.

Екатерина поднялась со своего места.

— Я готова,— сказала она и добавила, обращаясь к Чоглокову вполголоса по-французски: — Я думаю, вы не будете ничего иметь против, если я избавлю этого человека от любезностей великого князя, а нас всех — от неприятной сцены.

Чоглоков поклонился в знак согласия.

— Только я попрошу ваше высочество оставаться недолго,— проговорил он.

Екатерина сделала знак Шенингу следовать за ней.

Остальные, когда встала великая княгиня, тоже поднялись из-за стола и перешли на террасу, где уже были приготовлены сласти и наливки, и Петр Федорович, несмотря на присутствие дам, потребовал себе трубку и закурил свой кнастер.

Войдя в гостиную, Екатерина быстро обернулась к Шенингу и, смягчая свои слова ласковой улыбкой, сказала ему:

— Надеюсь, вы удовольствуетесь тем, что я увела вас, чтобы избавить от неприятного разговора, и не станете в самом деле играть предо мной комедию с какими-нибудь предсказаниями?

— Если я решился обеспокоить ваше высочество,— ответил доктор, тоном своего голоса извиняясь, что перебил речь великой княгини,— то, поверьте, имел к тому более серьезные причины.

Говоря это, он достал из грудного кармана своего камзола сложенное и запечатанное письмо и подал его Екатерине.

Несмотря на то, что они были совсем одни, она невольно оглянулась по сторонам, несмело протянула руку к письму и недоверчиво осмотрела его. На печати она узнала герб принцессы Ангальт-Цербстской, а в почерке адреса — руку своей матери.

Не сомневаясь более, она быстро распечатала и начала читать.

«Граф Симон де Сен-Жермен,— написала ей мать по-французски,— передаст тебе это письмо и расскажет как обо мне, так и обо всем, что не успею я досказать тебе в этом письме. Доверься ему! Он — не только преданный друг мне, но и тебе может быть верным и добрым помощником».

Екатерина, пораженная неожиданностью, взглянула на стоявшего пред ней человека, молва о котором из Парижа глухо дошла до Петербурга и о котором ей приходилось уже слышать дивные вещи.

— Так вы,— сказала она,— граф...

— Симон де Сен-Жермен,— снова поклонился он.

— И вы для меня приехали из Парижа?

— Исключительно для вас, ваше высочество. Принцесса, ваша матушка, говорила мне о тех затруднениях, которым подвергается ваша переписка с нею, о том надзоре, под которым держат здесь ваше высочество, как в замке...

— Хуже замка. Я окружена соглядатаями, за каждым движением моим следят. Я не могу сделать буквально ни шага... Императрицы не видно месяцами... И достаточно, чтобы в ком-нибудь заметили преданность ко мне, дружбу, даже в слугах,— сейчас их удаляют от меня... Вблизи меня нет друзей...

— Но это не значит, чтобы их не было вовсе,— сказал граф, подчеркивая свои слова.

— Я это вижу,— улыбнулась Екатерина,— и, кажется, узнала одного из них сегодня.

Она протянула ему руку, которую граф поднес к своим губам, говоря:

— И в которого вы можете верить, ваше высочество.

— Благодарю вас, я верю. Представьте себе, мне даже не позволяют переписываться с матушкой. Письма к ней составляются в иностранной коллегии, и я могу лишь ставить на них свою подпись; мне запрещено делать какую-нибудь приписку... Мне сказано, что канцлер Бестужев лучше

знает, о чем и как должна писать великая княгиня. Но они забывают, что этот их канцлер не может знать, как хотела бы писать дочь к матери.

Имя Бестужева было произнесено так, что граф спросил:

— А ваше высочество считаете канцлера своим врагом?

— И одним из самых непреклонных.

— Не отдавайтесь этому чувству вражды. Оно ошибочно.

Брови Екатерины сдвинулись.

— Как? Вы хотите, чтобы я не имела ничего против Бестужева, от которого я терплю, может быть, больше, чем от других?.. Вы этого не знаете, а я тут это чувствую.

— Верьте, ваше высочество, что в Париже хорошо осведомлены обо всем, что касается вашего положения здесь. Канцлер временно делает вам притеснения, чтобы показать свою силу и выгоду союза с ним. Но он слишком умен и дальновиден, чтобы не стать на вашу сторону, если вам угодно будет выказать к тому желание.

Екатерина задумалась. Ей было весело и приятно сознавать, что она, за минуту еще пред тем чувствовавшая там, за столом, себя совершенно покинутой, среди людей, с которыми ничего не имеет общего,— вдруг видит, что где-то далеко, в Париже, заботятся о ней, знают мельчайшие подробности отношений к ней окружающих и думают за нее.

— Да,— сказала она,— мне это не приходило в голову. Попробую. Может быть! А то бывают минуты, что теперешняя жизнь просто невмоготу делается.

— Если будет очень тяжело,— продолжал Сен-Жермен,— обратитесь к императрице и попросите ее отпустить вас домой. Она этого не сделает, но к вам станет относиться ласковее. Впрочем, обо всем этом вам принцесса пишет в письме; постарайтесь только, чтобы его не увидали у вас.

— О, будьте покойны! — уверенно произнесла Екатерина.— Но как же вы пробрались сюда? Почему вы знали, что мы будем здесь?.. Или это — одна из тайн графа Сен-Жермена?

Он весело улыбнулся.

— Поверьте, ваше высочество, все, что я делаю, очень просто и главное — естественно. Оно не похоже только на то, к чему привыкла толпа. И она удивляется тому, чего не знает. Вот и все. Я должен был переменить имя, чтобы явиться в Россию. Я ехал в Петербург, но на дороге уз-

нал, что вы отправляетесь в Москву, и свернул по проселкам наперерез вам. Я рассчитал, что мы должны съехаться в имении здешнего князя. Ваш кучер был заранее подкуплен для того, чтобы сказать в условленном месте, что лопнула шина, и дальше ехать нельзя. Сегодня утром я был в деревне и распорядился относительно условленного знака. Не было сомнения, что вы остановитесь в усадьбе...

— И увижу вас, чтобы высказать вам свою благодарность,— добавила Екатерина.— Но я боюсь, что наше «гаданье» покажется там,— великая княгиня кивнула на террасу,— слишком продолжительным. Увижу ли я вас еще?

— Я должен ехать завтра утром назад.

— В таком случае все-таки до свидания.

Граф ответил ей новым поклоном.

Екатерина направилась к двери.

— Граф! — вдруг остановилась она, и легкая краска смущения зарумянила ее щеки.— Простите мне один вопрос: вам дорого стоило подкупить кучера?

— Ваше высочество, зачем вам знать это?

— Чтобы вернуть вам расходы.

Новая улыбка явилась на лице графа. Он опустил руку в карман своего бедного коричневого камзола и достал оттуда целую горсть бриллиантов.

— Вы видите, у меня еще хватит на подкуп не одного только кучера. Желаю вам счастья, ваше высочество!

Про графа Сен-Жермена говорили, что он обладает тайной искусственно воспроизводить бриллианты чистейшей воды. Екатерина вспомнила это и, не сказав больше ни слова, но еще раз кивнув, с особенною, только ей свойственной улыбкой, своему новому другу, вышла из комнаты.

XX

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО КНЯЗЯ

Неожиданный прием, оказанный Проскуровым великому князю и свите, вышел столь блестящим, что Андрею Николаевичу оставалось только самому удивиться, как это все было хорошо. Самый придирчивый человек не мог бы сделать никакого замечания. Гости были очень довольны приемом.

Великий князь и великая княгиня благодарили хозяина. Но все-таки Андрей Николаевич мог свободно вздохнуть лишь тогда, когда вся эта блестящая толпа села в экипажи и лошади тронулись. До самого конца нельзя бы-

ло ручаться, что непривычная ко двору прислуга Проскурова не сделает какой-нибудь неловкости, или мало ли что может произойти.

Но зато, когда все кончилось, вздох довольства и радости вырвался из груди старого князя, долго стоявшего на крыльце и не спускавшего взора с удаляющегося поезда.

Кузов последней кареты исчез из вида, и князь повернулся, чтобы идти в дом.

Часы, которые он пережил, были так хороши, так льстили его болезненному самолюбию, что он, нарочно подымаясь тихими шагами по лестнице к себе наверх, медлил, чтобы продолжить удовольствие вынесенных впечатлений и не сейчас окунуться снова в ту разладицу, которая явилась теперь в его доме и должна будет охватить его, едва лишь войдет он в кабинет. Там он снова из чарующего мира блеска и двора очутится в мире неприятностей, где этот неблагодарный Артемий, больная дочь и неудавшееся сватовство ее с сыном старинного приятеля.

Но не успел он дойти до кабинета, как уже должен был сводить свои счеты с этим миром. В приемной его ждал тот, кого он знал под именем доктора Шенинга.

— Верите ли вы теперь моим словам? — встретил он князя вопросом.

Проскуров крепко провел рукою по лбу.

— Ну, да, государь мой! Что же вы хотите?

— Я говорю о вашей дочери.

— Да, да... Все это очень удивительно! — заговорил Андрей Николаевич с расстановкой.— Да... И великая княгиня назвала вас удивительным человеком... Да... Вы говорили, что болезнь Ольги серьезна?..

— Очень серьезна, князь.

Андрей Николаевич хмурился с каждым словом.

— Но она все-таки молода, ее натура может выдержать... я надеюсь,— проговорил он.

— Ее натура слишком впечатлительна, и в этом все несчастье; причина ее болезни нравственная. Она любит. Только свадьба с любимым человеком может спасти ее... Я это повторяю вам, как отцу, который, вероятно, не захочет смерти единственной своей дочери.

Руки князя помимо его воли начали конвульсивно сжиматься.

— Да знаете ли вы, что вы говорите? — вдруг подступил он.— Знаете ли вы, что она выдумала?.. Она, дочь князя Андрея Николаевича Проскурова, выдумала зара-

зиться амурным сумасшествием к найденышу, к человеку без рода, без племени, за которого нельзя отдать ее.

Доктор пожал плечами и спокойно возразил:

— В таком случае вам приходится выбирать между самолюбием и жалостью к дочери, жизнь которой в ваших руках.

Князь чувствовал, что это спокойствие, с которым говорили с ним, действует на него внушительно.

Неужели в самом деле ему приходилось выбирать между жизнью и смертью дочери?

И вдруг ему ясно, отчетливо-правдиво вспомнились последние минуты жены, как она, бледная, лежала неподвижно на кровати и как он следил за чуть заметным колебанием ее гофрированной сорочки, боясь не увидеть его. И Оля, его дочь Оля, так же угаснет на его глазах?.. И начнутся те страшные муки отчаяния и горя, которые он пережил уже однажды.

И старый князь, тяжело дыша, бессильно опустился на один из стульев, вытянутых в струнку по стене приемной.

— Да разве другого исхода быть не может?— почти с мольбою в голосе спросил он.

Доктор, внимательно следивший за внутренней борьбою князя, ответил, сжав брови:

— Ни в каком случае не может!

Андрей Николаевич закрыл лицо руками, а затем вдруг вставая проговорил, как человек твердо решившийся:

— Хорошо! Если ей суждено умереть — пусть, но имени своего она не опозорит... Не один князь Проскуров умирал за честь этого имени и встречал не дрогнув свою смерть. Если ей суждено — пусть... До сих пор наше княжеское имя носилось с достоинством, для которого жертвовали жизнью наши предки... Пусть и она пожертвует! Значит, такова судьба...

Голос Проскурова был слаб; руки его дрожали и челюсть ходила из стороны в сторону.

— И это — ваше последнее слово, князь? — спросил доктор.

— Да, последнее. Оставьте меня!

— Но вы позволите еще раз мне пройти в комнату больной?

— Ах, идите, куда хотите, хоть к...— и, не договорив, князь взялся за голову и, бросившись в кабинет, с силой хлопнул за собою дверью.

Весь этот день, за исключением времени, проведенного на террасе, Ольга просидела в своей комнате, куда к ней

изредка доносился отдаленный гул великокняжеского приема. Дуняша, в отчаянной борьбе между собственным любопытством и преданностью своей барышне, то бегала вниз посмотреть на небывалых гостей, то являлась к Ольге с рассказами. Княжне временами казалось, что где-то, когда-то, она как будто видела эти кареты и все то, о чем передавала ей Дуняша; но где, как и когда — она не могла себе дать решительно никакого отчета, хотя все-таки ей чудилось, что это было уже как-то.

Однако среди своих рассказов Дуняша не забывала о самой Ольге. Она сообразила, что поднявшаяся в доме суматоха более чем удобна для свидания Артемия с княжною, и старалась добыть заветный ключ, под которым сидел молодой человек.

Но все слуги, и дворецкий, и буфетчик Сергей сбились с ног и забыли об Артемии. Только когда гости уехали, вспомнили, что с утра никто не был у заключенного, хотя Дуняша и напоминала о нем, но ее не слушали.

Наконец она, пугнув буфетчика Сергея вечною своей немилостью, добилась того, что он спросил ключ у дворецкого и понес Артемию обед.

Дуняша прибежала сказать Ольге, что теперь, когда старый князь заперся в кабинете, а дворецкому, итальянцу и остальным старшим в доме придется, по всей вероятности, возиться с прислугой, чтобы она окончательно не перепилась остатками вина от завтрака, есть возможность выпустить Артемия и повидаться с ним.

— Но как же?.. Он тогда войдет сюда, ко мне? — спросила Ольга.

В этот момент в дверь раздался стук. Ольга вопросительно посмотрела на Дуняшу. Та поджала губы и на цыпочках, хотя этого вовсе и не требовалось, подошла к двери, растворила ее и отскочила в сторону.

«Об этом-то я и позабыла совсем!» — чуть не вслух проговорила она.

В дверях Ольга увидела доктора, с которым познакомилась сегодня утром на террасе.

— Я, с дозволения вашего батюшки,— начал он, входя,— пришел навестить вас в последний раз, потому что сегодня же должен ехать дальше.

Ольга улыбнулась ему, уже как знакомому.

— Благодарю вас, но я так слаба, что мне трудно говорить долго.

Она боялась, что ее задержат и она упустит удобное время.

Дуняша скользнула из комнаты.

Ольга думала, что доктор или не слыхал ее слов, или не обратил на них внимания, потому что он, спросив позволения сесть, преспокойно завел с нею разговор о том, выезжала ли она из деревни когда-нибудь или нет, и каково ей живется здесь. Она отвечала ему. Потом мысли ее начали путаться, потом веки закрылись сами собою... потом... она уже опять не помнила, что было потом.

XXI
ГРАФ

Цель, для которой явился в Проскурово под именем доктора Шенинга приехавший из Парижа граф Сен-Жермен, была достигнута им вполне. Он виделся с дочерью принцессы Ангальт-Цербстской — великою княгинею, передал ей письмо от матери, говорил с нею. Это было все, что ему нужно.

Но, попав в усадьбу князя Андрея Николаевича, он наткнулся здесь на совершенно постороннюю ему драму любви молодой княжны, которая не могла не вызвать в нем чувство живейшего сострадания. И он сделал все, что мог, для этой девушки.

Зная по опыту, что такие исключительные натуры, как княжна, приведенные в состояние искусственного сомнамбулизма, никогда не ошибаются относительно своей болезни и средств, которые могут излечить их,— он не мог сомневаться, что княжна действительно не переживет насилия над своим чувством. Он говорил с ее отцом, предупреждал его, но встретил в старом князе или разительный пример болезненного самолюбия, или же, несмотря ни на что, недоверие к своим словам.

Однако нельзя было оставлять несчастную девушку беспомощною. Но что же оставалось делать?

Граф явился к ней в комнату и, оставшись с нею один, возобновил утренний сеанс, так легко давшийся ему. На этот раз Ольга впала в забытье еще скорее, чем утром. Когда он заставил ее говорить, она уже предчувствовала его намерение.

— Нет, нет,— слабо проговорила она,— не надо этого...

Граф был серьезен и сосредоточен — ответственность, которую он брал на себя в эту минуту, была громадна.

— Когда вы будете разбужены,— проговорил он своим особенным, внятным и раздельным голосом,— вы должны забыть свое чувство.

Ольга тяжело вздохнула.

— Слышите ли?

Казалось, вся сила его воли была в этом «слышите ли». Тут звучали и приказание, и просьба, и повеление.

В лице княжны ясно отражалась происходившая в ней борьба.

— Это — единственный выход,— продолжал Сен-Жермен.— Ведь вы знаете, это — единственный выход.

Губы Ольги задвигались и задрожали.

— Лучше... лучше...— прошептала она.

Граф понял, что она хотела сказать «лучше смерть».

Дальше продолжать ее мучения, казалось, жестоко. Сен-Жермен нагнулся над девушкой и дунул ей в лицо. Теперь она была вне опасности: она не любила, не смела любить больше. Другого исхода, кроме этого, нельзя было найти.

Из комнаты Ольги граф прошел прямо к себе, долго не мог дозваться дворецкого и, когда тот наконец пришел к нему, попросил передать князю свою благодарность за гостеприимство, щедро наградил слуг, а затем, взяв свою трость и шляпу, направился через сад, как пришел.

За садом, через небольшое поле, начинался лесок, на противоположной опушке которого должна была ждать графа его карета. Сен-Жермен прошел сад, пересек поле и вышел в лесок, прохладный от вечерней свежести, спускавшейся уже на землю. Он оглянулся, чтобы последний раз посмотреть на красивую усадьбу князя Проскурова, и вдруг остановился: внутренний голос словно шепнул ему, что он не исполнил всего до конца в Проскурове, что ему оставалось еще что-то.

Прямо на него не то бежал, не то шел молодой человек, без шапки, без трости; вид его был растерян и шаги не тверды, но нервно быстры. Он словно или догонял кого-то, или сам хотел уйти от погони.

Сначала Сен-Жермен думал, что это — посланный за ним почему-нибудь, но сейчас же увидел свою ошибку. Молодой человек быстро приближался к нему; его лицо было искажено внутренним страданием, глаза, широко открытые, как будто не видали того, что было пред ними. По платью и, главное, по манерам он не был похож на простолюдина, но среди господ граф тоже не видел его у князя.

Однако он слышал о «найденыше», о том, кого любила Ольга, и догадался, кто этот молодой человек.

Артемий действительно шел прямо на него и почти столкнулся с ним. Граф схватил его за руку. Артемий вздрогнул и, увидев пред собой чужого, незнакомого человека, взглянул на него, будто спрашивая, враг он ему или друг. Он готов был обрадоваться, если встретился с врагом.

— Что с вами? — спросил Сен-Жермен, и в голосе его прозвучало участие.

Артемий понял, что ему не хотят зла, и дернул руку.

— Пустите меня... пустите... что вам за дело?

— Что с вами, что вы делаете? — переспросил граф.

Артемий стиснул зубы и, напрасно стараясь освободиться от крепких тисков, в которых была его рука, сам не зная того, что говорит, ответил:

— Гуляю.

— Так не гуляют,— сказал граф улыбнувшись.— Посмотрите, на что вы похожи. Зачем этот ножик у вас в руке?..

Артемий как бы удивленно поглядел на свою руку, судорожно сжимавшую небольшой складной ножик.

— Что вы затеяли? — продолжал граф.— Вы — сумасшедший: ведь не попадись я вам на дороге, вы готовы были покончить с собою.

Артемий злобно дернулся весь.

— Ну, и пусть! Вам-то какое дело? Ведь себя, не вас.

— Если бы вы знали то, что вы говорите! — возразил Сен-Жермен, покачав головою.— Милый мой, самоубийство — вовсе не то великое таинство, которое мы называем смертью. Знаете ли вы, что человек, насильно превративший свое тело в труп, не кончит с земною жизнью. Смерть нельзя заставить прийти по собственному желанию. Большего я не могу вам сказать, но верьте мне, верьте!..

Не столько эти слова, странные по своему таинственному смыслу, но убеждение, с которым они были сказаны, подействовали на Артемия. Он не то, что опомнился, нет, скорее был ошеломлен еще более, но его растерянные мысли направились в другую сторону, и он оказался застигнутым врасплох. На его бледном лбе выступили крупные капли пота, в глазах потемнело, и ножик выпал из рук.

— Смерть,— продолжал между тем Сен-Жермен,— есть освобождение, которого мудрый, конечно, желает

скорее для своего духа. Но нужно заслужить это освобождение, нужно перенести назначенное испытание земное — тогда она придет вовремя, лучезарная и светлая, и не испугает своим ужасом.

Отчетливо, ясно, слово за словом, Артемий не понимал того, что говорили ему, но общее впечатление этой звучавшей сознанием правды речи невольно оставалось в нем. На мгновение он как бы одумался и удивленно глянул в лицо графу, прямо в упор, но потом рванулся опять и еще с большею силой крикнул:

— Да пустите меня! Что вам от меня нужно, кто вам дал право, кто вы? Почем вы знаете, что будет со мною? А если и будет что-нибудь, то, как бы оно страшно ни было, все-таки лучше, чем здесь...

Между ними завязалась борьба, в продолжение которой Артемий, со стиснутыми зубами, с налившимися кровью глазами и красным от вздутых жил лицом, напрасно силился освободить свои руки. Граф успел взять его и за другую руку. Артемию казалось, что этот человек обладает сверхъестественною, железною силой. Он надрывался из последнего, он бился, как только мог, но его держали, словно шутя, без малейшего напряжения, и, несмотря на это, не было возможности ему вырваться.

Граф твердо и неумолимо держал его, не поддаваясь, зная, что физическое утомление служит самым лучшим средством для того, чтобы утихло нравственное страдание, и ждал, пока бившийся в его руках Артемий выбьется из сил.

— Пустите! — снова заговорил Артемий, чувствуя, что ослабевает, и в голосе его вместо угрозы зазвучала просьба,— пустите, ради Бога! Если вы когда-нибудь любили, если вы чувствовали хоть раз в жизни сострадание, пустите меня! Я никому не хочу зла... пустите!

Он едва уже мог двигаться — эта неравная борьба отняла у него последние силы.

— Я пущу вас, если вы терпеливо захотите выслушать меня,— услыхал он в ответ.— Потом... потом вы будете свободны делать, что вам угодно.

Ноги Артемия уже подкашивались, благодаря усталости и перенесенному им душевному потрясению. Он тяжело дышал и вдруг, подчиняясь, как послушный ребенок, позволил провести себя несколько шагов и усадить на попавшийся большой камень, обросший мохом.

Граф сел рядом с ним.

— Дух возмущения,— начал он,— дух злобы и беспорядка силен. Но на то человеку и дана воля, чтобы он мог руководить собою. Жизнь не может состоять из одного лишь приятного хотя бы уже потому, что, не будь ничего ему противоположного, нельзя бы было различить и эту приятность. Уничтожьте долины — и не будет гор. И до тех пор свет будет способен производить впечатление на глаз, пока будет существовать соответствующая ему тень. У вас есть горе — победите его, но не будьте настолько малодушны, чтобы дать ему победить себя. Человеку собственно все дано для счастья, но он должен заслужить его, должен завоевать. Мы несчастны тогда лишь, когда сами создаем себе наше несчастье. Всякое же горе, незаслуженное, как испытание, поразившее нас, это — кредит судьбы, в силу которого она щедро заплатит впоследствии счастьем. Но нужно заслужить его. Мы ничего не получим, если сделаем к тому усилия. Испытание — вот великое слово жизни! Жизнь — это змея, вечно чреватая и вечно сама себя пожирающая...

Артемий слушал, опустив голову, крепко сжав усталые руки между колен и, почти не моргая, уставившись вниз.

— Да,— проговорил он,— но когда все против вас, когда все противодействует вам...

Тихая улыбка промелькнула на губах графа.

— Только и можно,— ответил он,— опереться тогда, когда вы встречаете противодействие, и, чем оно сильнее, тем тверже должны вы стать.

Артемий вдруг поднял голову и не только с удивлением, но с чувством, близко подходящим к восхищению, посмотрел на этого человека, с которым так же трудно было бороться на словах, как победить его в борьбе физической.

— Послушайте! — заговорил он.— Я не знаю, кто вы и откуда, но, может быть, потому, что я не знал вас до сих пор и, вероятно, никогда не увижу, мне и легче сказать вам все. Послушайте: я любил девушку... в ней для меня была вся жизнь, все счастье... Я с детства не имел существа, мне близкого. У каждого человека есть отец, мать, родные,— у меня не было никого; тот, кто якобы заменял мне отца, на самом деле занимался мной, как игрушкой; его отношения ко мне были прихотью, да, только прихотью. Я рано понял это. Я рано понял, что у меня нет самого необходимого для ребенка — любви ко мне. И вот после дол-

гих лет одиночества я ощутил наконец свет и теплоту этого незнакомого мне чувства. До тех пор меня некому было и мне было некого — любить... И этот свет дала мне моя жизнь, моя радость, та, о которой я не смел думать. Ей стало жаль меня...

Артемий говорил, сам не зная, откуда у него берутся слова. И ему было легко, и ему хотелось теперь говорить.

Он рассказал подробно всю историю своей любви к Ольге, их случайные, потом условленные встречи, их объяснение, счастье, планы и мечты, и потом, как эти планы рушились, как ему жестко и сурово напомнили, что он — ничто, оскорбили, заперли, и как наконец сегодня он вырвался из своей тюрьмы, чтобы увидеться с княжною.

— Когда я сидел взаперти,— продолжал Артемий,— мне несколько раз приходило в голову кончить все, кончить с собою. Но я отгонял эту мысль. Я вспоминал про Ольгу, и ее чувство удерживало меня. Я был любим и любил ее, и надежда не оставляла меня... Я должен был жить для нее. Сегодня мы увиделись в первый раз после разразившейся над нами грозы. И сегодня я уже не нашел в ней и тени прежнего ее чувства. Что произошло, что с нею сделали — не знаю, но только прежнего для нее не существует теперь, она делает вид, что не помнит ничего, как будто я был для нее всегда чужим человеком.

— А-а! — произнес Сен-Жермен.— Вы недавно, вы сейчас только что виделись с нею?

— Да, и думал, что, выбежав от нее, я убегу от жизни, в которой мне ничего больше не остается. Но вы меня удержали...— Артемий схватился за голову. Опять в нем поднялось, закипело, разрослось и охватило его всего с новым, неожиданным приливом отчаяние, когда он рассказывая вспомнил то, что только что происходило в комнате Ольги.— Зачем вы удержали меня? — вскочив почти крикнул он.— Зачем? Все равно мне не жить, я не могу жить теперь...

Граф знал, что косвенной, невольной, именно роковой причиной отчаяния этого человека был он сам, но он не мог иначе поступить с Ольгой, и вместе с тем не должен был оставить погибнуть того, любить которого он запретил ей.

— Нет, вы будете жить! — сказал он Артемию и снова насильно посадил его рядом с собою.

XXII
ИСТОРИЯ ГРАФА

Если больному человеку рассказать о том, как испытывали такую же, как у него, боль другие люди, то ему, по свойственной нашей природе слабости, не то что станет легче, но во всяком случае эта боль покажется ему менее острою.

Граф Сен-Жермен, обладавший, кажется, ключом не только всех слабостей, но и силы человеческой, знал, каким образом следует говорить с людьми, находящимися в положении, подобном положению Артемия.

— Вы думаете,— обратился он к нему,— что ваше горе таково, что и нет ему равного и что нет ему другого исхода, кроме того, что вы придумали в своем сумасшествии... да, в сумасшествии, потому что вы опьянены теперь страстью и, может быть, погибли бы, не случись того препятствия, которое вы считаете для себя безысходным горем. Вот что было со мною: я тоже сумасшествовал, или почти сумасшествовал, и был, может быть, накануне погибели... и я любил так же, как вы...

Артемий успел немного приглядеться к своему собеседнику, который уже казался ему выходящим из ряда обыкновенных людей. Это был человек точно лишенный страстей, лишенный житейских желаний, человек, в устах которого признание в испытанной им когда-то любви было тем более странно, что оно совершенно не подходило к нему.

«Да, я должен сделать это признание,— мелькнуло у Сен-Жермена,— я все-таки — должник теперь этого человека».

— Я думаю, моя любовь, вернее то, что мы называем этим именем,— продолжал он,— была не менее сильна, чем ваша, и свидания, и улыбки казались не менее прекрасны... Я пользовался полной взаимностью... Она была вдова, следовательно, совершенно свободна. Казалось, не было никакого препятствия, ему неоткуда было явиться. В один вечер все изменилось. Обманом ее опоили, и человек, опоивший ее, опозорил. Между нами лег ее позор, наше чувство было осквернено. Любимая мною женщина не могла относиться ко мне по-прежнему, и в отчаянии хотела наложить на себя руки. Мне удалось спасти ее, но любовь нашу нельзя было очистить: это она не могла простить себе и, несмотря ни на что, уехала на свою далекую родину.

— Но вы могли найти все-таки своего оскорбителя,— сказал Артемий.

— Я и нашел его, я знал его. Это был несчастный молодой человек, сын богатых, но разорившихся родителей, молодой человек, стоявший на дороге к гибели.

— Вы могли отмстить, значит!

Граф опустил голову и задумался.

— Месть, месть! — проговорил он наконец, после долгого молчания.— Месть есть удовольствие, которое мы доставляем себе, сделав зло человеку, сделавшему нам злое. Но есть удовольствие большее: направить на добро злого и потерянного человека.

Уже не удивление, но какой-то страх удивления охватил Артемия.

— Неужели вы могли простить, неужели вы имели полную возможность мести и простили?

— Я не простил,— спокойно ответил граф,— но предпочел большее удовольствие меньшему. Отмстить я имел возможность, может быть, более и сильнее, чем кто-нибудь, но я был в силах заставить злого человека вернуться на путь истинный и постарался сделать это.

— И что же, вернулся он, стал лучше?

— Я думаю, что да. Впрочем, вам об этом, может, знать лучше меня.

Артемий раскрыл большие глаза.

— Мне? — переспросил он.

— Да, вы знаете этого человека, он вам известен. Это — Джузеппе Торичиоли.

— Торичиоли? Этот скромный и тихий итальянец, наш итальянец, который живет теперь у князя?

— Да, ваш итальянец, который живет теперь у князя.

— Но разве он был способен на такой поступок?

— Как видите, был способен. Впрочем, тогда, в Генуе, он был на девятнадцать лет моложе и чувствовал себя совсем иначе. Тогда он жил не трудясь, проживая последние крохи своего наследства.

— Торичиоли, Торичиоли! — качая головой, проговорил Артемий.— Кто бы мог ожидать этого! Сколько лет я знаю его: и могу вас уверить, что ничего не замечал за ним дурного.

— Ну, вот видите ли; значит, я был прав. Он мог начать новую жизнь, выйдя из той обстановки, в которой был. Я поставил ему условием удаление из Италии.

— Да, да, он стал другим человеком,— подтвердил Артемий.

— Может быть, не совсем еще,— улыбнулся граф,— но теперь, наверное, уже станет.

— Да, да,— растерянно повторил Артемий: мысли его окончательно путались и с поразительной быстротой менялись одна за другою.

Граф, встав со своего места, произнес:

— То, что я вам сказал, не должно быть известно никому. Когда почувствуете особенно сильный прилив своего горя, вспомните о моем рассказе. Ваше несчастье еще очень поправимо. Она жива, она не принадлежит никому и может снова полюбить вас. Терпите — будущее вознаградит вас.

И он простился с Артемием, который, пораженный, продолжал сидеть неподвижно на своем камне.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА

Зиму 1758 года прусский король провел в новых напряженных и деятельных приготовлениях к продолжению войны, которая для него была почти вопросом жизни или смерти.

Правда, его главнейший враг — Австрия — был уже истощен неудачами прежних двух лет, и императрица Мария Терезия тайно желала мира. Но Франция, боясь остаться один на один против Англии и Пруссии, снова разожгла самолюбие честолюбивой монархини.

В России господствовали два противоположные течения: наследник престола явно выказывал свои симпатии к Фридриху II, императрица же Елизавета Петровна питала к последнему неизмеримую ненависть.

Ухудшившееся одно время здоровье государыни поправилось, и военные действия России были возобновлены.

Таким образом, к весне 1758 года против Фридриха готовы были двинуться с трех разных сторон три союзные армии, своею численностью далеко превышавшие его собственную. Но, несмотря на это, все-таки на стороне прусского короля было много преимуществ: австрийские корпуса, набранные из молодых солдат различных национальностей, не имели единства в своих нижних чинах, что же касается высших, то там этого единства было еще менее, благодаря вечным интригам отдельных начальников и военного совета. Разладица была полная.

О французской армии граф Клермон, назначенный ее главнокомандующим, явившись на место своего назначения, писал Людовику XV:

«Я нашел войска Вашего Величества разделенными на три весьма различные части: первая находится на земле и

состоит из воров и разбойников, покрытых рубищем, вторая — зарыта в землю и наконец третья — лежит в госпиталях. Ожидаю повеления, не отвести ли мне первую часть за Рейн, прежде нежели она присоединится к двум последним частям?»

Русская армия, страдавшая от отсутствия провианта, одежды и обуви, была вверена начальству генерала Фермора, полководца не талантливого и не очень осмотрительного. Самый же существенный недостаток у нас ощущался в офицерах, о присылке которых в действующую армию то и дело просили главнокомандующие. Однако, несмотря на лишения и трудности, облегчить которые генерал Фермор оказался не в силах, наша армия пошла снова занимать восточную Пруссию, чтобы обратить ее, согласно данному ей предписанию, в русскую провинцию. Генерал Фермор еще в январе 1758 года вступил в Кенигсберг, и прусские правительственные места этого города присягнули на верноподданство России. Кампания началась, и русские со свойственными им терпением, настойчивостью и твердостью шли вперед. Пруссия осталась за нами. Граф Дона был оттеснен за Одер. В августе сам Фридрих двинул свои полки против русских, оказавшихся противниками более серьезными, чем он предполагал.

* * *

Говорят, что человек, решившийся однажды на самоубийство, в случае неудачи, никогда к нему не возвращается. Исключения, разумеется, бывают, но на этот раз Артемий не составил такого исключения.

Загадочные слова незнакомого человека, попавшегося ему на дороге, когда он хотел сделать свой последний шаг в жизни, заставили его задуматься. Кроме того, его посылали на войну, почти на верную смерть, и оставалось только идти ей навстречу. Артемий пошел. Пред отъездом своим он не пытался более увидеться с Ольгой.

Старому князю нетрудно было устроить записку в полк бывшего своего воспитанника, и Артемий, под фамилией Проскуровского, был записан в армейский Тарасовский пехотный полк.

Сам Андрей Николаевич отправлял его и, призвав к себе на прощанье, постарался казаться ласковым.

— Вот, на, возьми, Бог с тобой,— сказал он Артемию, сунув ему в руку набитый кошелек,— пригодится.

В кошельке оказалось двести рублей.

Но все это — прощание с князем, его кошелек, отъезд из Проскурова — прошло для Артемия, как в тумане, как во сне. Очнулся он лишь, когда очутился в совершенно новой, непривычной ему обстановке военной жизни.

Он сразу попал в самую кипень походной, тревожной деятельности, и эта деятельность волей-неволей всецело поглотила его.

Роту вел капрал, старый человек, обстрелянный и опытный, видавший еще при Ставучанах турецкие пули. Офицер, ротный командир, в начале кампании получил повышение, и заменить его, кроме капрала, было некому.

С появлением в роте Артемий сразу был замечен.

Образованный, смелый, исполнительный он, разумеется, выделился среди остальных солдат очень скоро. Сначала он был тих и молчалив, не сходился ни с кем, но потом мало-помалу втянулся в походную жизнь и по-походному, в буквальном смысле слова, получил повышение. На одном из переходов сержант их роты заболел и слег. Артемий стал на его место. Сержант не возвратился, и должность осталась за Артемием.

Никто в роте не знал его прошлого, никому он не рассказывал своих горестей, но все видели, что их молодой товарищ перенес в жизни многое и что, как ни скрывает он это,— трудно ему тянуть солдатскую лямку и не к такой обстановке привык он.

И солдаты, и капрал жалели его и любили. Часто у Артемия навертывались слезы от их простой и чистосердечной, заботливой ласли. Но, чем ласковее обходились с ним, тем строже относился он к себе и к своим обязанностям.

Под Кюстрином Тарасовский полк стоял в задней линии, далеко от города. Русские, на пути к Берлину, обложили Кюстрин и вели его осаду беспощадным бомбардированием. Осажденные вылазок почти не делали, и на передней позиции у нас были расположены только войска, необходимые для прикрытия артиллерии. Тарасовцы не попали в прикрытие.

Была середина августа, начиналась осень, и дожди выпадали чаще. Палатка, в которой жил Артемий, то и дело промокала насквозь, но он не обращал на это внимания. Сколько раз капрал советовал ему приказать солдатам устроить себе землянку (сам капрал жил в землянке), но Артемий отвечал, что ему ничего не нужно.

На седьмой день сидения у Кюстрина Артемий лежал на своей сколоченной из двух досок койке в палатке, по-

лотно которой промокло до того, что нельзя было притронуться к нему. Артемий по опыту знал, что если задеть его, то так и польется в том месте, где задел, целая струя воды, а потому лежал, стараясь не ворочаться и не двигаться. Целую неделю они ничего не делали, только жили в мокрых палатках. Для солдат эта неделя была отдыхом, но для Артемия она казалась гораздо тяжелее похода.

Внутренность палатки мало-помалу темнела. Спускался вечер. Дождь перестал капать. С правой стороны палатки послышались знакомые голоса солдат, соседей Артемия. Он давно изучил их. Один бравый, молодой, краснолицый солдат Федор, никогда и нигде не унывавший, предлагал разложить костер. Остальные не соглашались. Это было каждый вечер так. Собственно никто не хотел идти за хворостом, хотя Федор и не просил никого этого делать, но протестующие против костра боялись все-таки, что он может попросить идти. Дело кончалось обыкновенно тем, что Федор шел сам за хворостом, и костер все-таки зажигали. Так было и на этот раз... Федор уходил, потом вернулся, потом послышалась под его шутки возня солдат над сваленным хворостом; высекали огонь, и пламя затрещало, осветив одну сторону палатки сначала колеблющимся, неуверенным, но быстро покрасневшим, как зарево пожара, светом.

— Вот важно! — послышался веселый голос Федора, как будто все его счастье зависело от того, что загорится костер или нет, и он был теперь вполне счастлив, потому что костер загорелся.

Артемий грустно улыбнулся. Чего бы он не дал теперь, чтобы быть таким же вот, как Федор, и радоваться вместе с ним!

За что в самом деле из него сделали с детства полубарина, развили, научили понимать и чувствовать? Для чего? Для того, чтобы он мог больнее ощутить страдание своего горя и тех лишений, которые приходилось переносить ему?

Один... он был один на свете, то есть с н о в а один, и это казалось еще ужаснее, потому что судьба, как назло, чтобы дразнить его, дала отведать ему счастья, с тем чтобы потом резко и грубо отнять даже всякую надежду на это счастье.

Сколько раз в перестрелках с неприятелем Артемий ждал и искал, чтобы одна из жужжавших вокруг него пуль задела его и покончила с ним; но ему даже и тут не везло. Бывало, он нарочно высовывался, нарочно лез вперед, в са-

мую горячую схватку, но ни разу неприятельский штык не тронул его, ни одна пуля не задела.

Солдаты считали это отчаяние храбростью, и ему было стыдно, когда он видел на их лицах граничащее с восхищением одобрение к нему. Если бы они знали, что он чувствовал тогда! если бы кто-нибудь мог знать, что он чувствовал теперь, лежа в своей палатке и почти бессмысленно следя за мерцанием красного пламени костра!

— Ну, сударик, а я к тебе с новостью! — послышался голос капрала, который наклонясь входил в палатку.

С этим ласкательным прозвищем «сударик», произносимым с оттенком какой-то жалостливой нежности, все в роте обращались к Артемию.

Капрал вошел, и сейчас же случилось то, чего боялся Артемий: капрал задел головою за полотно, и оно протекло.

— Эк! Ведь говорил я тебе, пусть ребята землянку выкопают, так нет же.

Это опять бывало каждый вечер. Капрал входил, задевал полотно и начинал говорить про землянку. Но сегодня новость, с которою он пришел, видимо, была действительно новостью важною, потому что он, не договорив, присел к Артемию и начал медленно набивать свою трубку.

— Что? или отступаем? — спросил Артемий.

— Это — новость старая: отступить мы должны, потому что король Фридрих на нас двинулся,— ответил старик с такою важностью, словно не генерал Фермор, а он сам командовал русскими войсками.

— Ну, так что ж еще?

— А то, что поздравляю вас, сударик, с новым ротным командиром... вот что! — и капрал, раскурив трубку, зажал ее зубами и отвернулся.

Артемий приподнялся со своего места.

— Как же это так, как ротный командир? Откуда?

Он до того уже успел сжиться с маленьким миром своей роты, такою, какою она была, со старым капралом, которого все, как его «судариком», звали «дядей», до того этот мир стал для него своим, близким, нераздельным, что всякое новшество казалось невозможным в нем. И первое чувство, охватившее Артемия при известии, сообщенном ему, было чувство горькой обиды за себя и за всю роту. То же самое, видимо, чувствовал и капрал, то же почувствуют завтра и солдаты, когда узнают, что у них теперь новый, помимо «дяди», начальник.

— С чего же это назначили вдруг? — снова спросил Артемий и хотел добавить: «Разве вы недовольны ротой?» — но не добавил.

— Приехал из Петербурха, из гвардии молодчик,— проговорил капрал,— нужно же куда-нибудь, ну, вот и назначили. Только не долговечен он. Я так думаю, что до первого настоящего дела...

— Отчего же так?

— Да уж по всем приметам: штука парадная, нашей жизни не выдержит. А, может, и уходится,— заключил капрал, махнул рукою и замолчал.

— Вы как же его узнали? Видели, что ли?

— Писарь прибежал, сказывал давеча, что офицер к нам объявился новый, а потом самого меня на ферму позвали.

В каменном доме брошенной немцами-хозяевами фермы и ее службах помещался полковой командир с офицерами.

— Что же, говорили с ним? — спросил Артемий.

— Говорил. Велел завтра чем свет н а у ч е н ь е роту собрать... маршировать, должно, учить будет... Прошел бы с наше — тогда бы и учил... Шутка сказать, ученье!

— А как зовут его?

— Кого, офицера-то? фамилия немецкая... в прошлом вот году пруссак победу одержал...

— При Лейтене,— стал вспоминать Артемий.— Росбах...

— Росбах, не Росбах, а как-то похоже...

— Уж не Эйзенбах ли? — переспросил Артемий.

— Эйзенбах и есть... Он самый... А ты что же, сударик, знаешь его, что ли, что так удивился?

Артемий долго оставался, молча и неподвижно опершись на руку, в неловкой и случайной позе, как привстал. Известие оказывалось еще более странным и неожиданным.

— Одного Эйзенбаха я знаю,— проговорил он наконец.— Черный он, глаза черные!

— Черные... верно, он и есть... Ну, дела! Что ж твой-то, которого ты знаешь, хорош он?

Артемий не ответил. Он не слыхал вопроса.

Еще когда только капрал сказал, что к ним назначен новый ротный командир, ему словно что-то кольнуло в сердце и где-то глубоко мелькнуло предчувствие, не Карл ли это.

Теперь Артемий не сомневался.

— Ну, дела! — повторил капрал, видя, что странное происходит с его «сударикoм».— Что же, али у вас раньше с ним какие неприятности были?

Но Артемий вдруг приподнялся и быстро заговорил:

— Вот что, дядя: нужно людям сказать, что завтра смотр, нужно, чтобы приготовились... вы бы распоряжения сделали.

Старик понял, что лучше оставить Артемия одного.

— Да чего смотреть-то? Смотреть ведь нечего. Близок свет исходили, а тут, на вот, на парад выходи. Курам на смех! — сказал он поднимаясь.— Ну, до свиданья, сударик! — и он не торопясь вышел из палатки.

Артемий тихо опустился на свое сырое и жесткое изголовье. Костер пылал по-прежнему, и красный свет его с пробегавшими тенями дыма дрожал на просвечивающем полотне. Солдаты, слышавшие, должно быть, разговор в палатке начальства, притихли и шептались. Мало-помалу шепот их стал затихать — они улеглись.

Вероятно, долго лежал так Артемий, но сознание времени исчезло для него, потому что он думал все об одном и том же, и все та же мысль возвращалась к нему: Эйзенбах, тот самый? Карл Эйзенбах, который приехал, перевернул и нарушил тихое счастье Артемия, снова должен был столкнуться с ним и стать теперь его начальником! Что он был врагом Артемия, это казалось несомненно. И Артемию вспомнились слова, сказанные в лесу в тот день, когда он чуть не кончил с собою: «Месть есть удовольствие; но существует другое, высшее удовольствие — постараться сделать из злого человека доброго». И вспомнился ему ясно, во всех мельчайших подробностях, этот день, жаркий, летний, и трава, на которую уронил он свой ножик, и камень, на котором они сидели. И так это было далеко-далеко... и как теперь все другое... и сырость кругом, и мокреть...

— Федор, а Федор! — послышался за палаткой голос одного из замолкших солдат.

Федор зашевелился.

— А? — спросил он сонным голосом.

— А ведь Фридрих-то по-русски Федор будет, сказывали, и выходит, братец, что, как настоящего в полон заберем, так тебе первое место... потому ты — тоже Фридрих.

Федор обиделся.

— Толкуй тоже! Мало ли, что говорят...— и, громко зевнув, он задвигался и снова затих.

«Да,— думал Артемий,— из злого сделать доброго... Но ведь он — только враг мне, и неизвестно еще, злой ли он человек... Что ж, он полюбил ее,— а ее нельзя не полюбить,— вот и все... это так понятно... И как это странно: где любовь, там и злоба... Как это все вместе идет... сплетается...»

И ему хотелось, чтобы Карл непременно оказался злым по отношению к нему, чтобы он, Артемий, мог постараться сделать из него доброго человека. И тут же он внутренно смеялся над собою, сознавая себя ничтожным подчиненным, лишенным всякой возможности сделать что-нибудь человеку, в руках которого он всецело находился.

Но молодое воображение Артемия все-таки играло, и он волнуясь долго не мог заснуть, ожидая завтрашнего утра, когда произойдет его встреча с Карлом.

II

РОТНЫЙ КОМАНДИР

Пусть всякий заметит и проследит на себе, как судьба сталкивает обыкновенно человека, при самых различных обстоятельствах жизни, все с теми же самыми людьми, словно ему заранее отмежеван известный круг общества, в котором он должен вращаться. И в этих встречах нет ничего странного: напротив, они неизбежны.

Так должно быть со всеми, так было с Артемием и с Карлом.

Карл фон Эйзенбах, вернувшись из Проскурова с полною неудачей в вопросе своего сватовства, поразил своим неожиданным приездом отца, совсем уже готового лично отправиться в путь, в именье князя. Старик Эйзенбах был так удивлен, вдруг увидев сына, что в первую минуту не поверил своим глазам. Когда же он узнал причину возвращения Карла, увидел, что на его свадьбу с княжною надеяться нечего, он пришел в отчаяние настолько, насколько может, однако, прийти в отчаяние столь солидный человек, каким был старый барон фон Эйзенбах.

— Ты знаешь, милый Карл,— сказал он, наконец, сыну после долгого обсуждения.— нет такого случая, из которого нельзя было бы выйти. И я нашел выход.

Карл всегда верил мудрости отца и потому сейчас же выказал полную готовность повиноваться.

Старый барон объяснил свой план, который заключался в том, что Карл должен ехать в действующую армию, где можно, казалось, легко выделиться, потому что офицеров было мало. К тому же Карл из гвардии сразу мог быть назначен ротным командиром.

Раз решение было принято, приведение его в исполнение не откладывалось. Барон принялся хлопотать. Хлопоты оказались нетрудными. Однако Карл не особенно торопился ехать. Положение молодого, цветущего и видного (Карл стал снова в глазах окружающих молодым, цветущим и видным) офицера, отправляющегося на войну, нравилось ему. Постигшая его неудача сразу же забылась, когда стало известно, что он едет в действующую армию. Наконец он уехал.

Только под Кюстрином нагнал он русскую армию. Его назначили в Тарасовский полк. И вот, явившись на место новой своей деятельности, он намеревался ретиво приняться за нее. Он уже заранее обещал себе, что там покажет им, как это все нужно сделать.

Его интересовала рота, и он приказал капралу на другой день собрать роту, чтобы посмотреть ее и познакомиться с нею.

Приказание было исполнено. Люди надели мундиры, вычистили амуницию и в то время, когда остальные роты собирались к котлам, откуда уже несся пар разваренной каши, выстроились в ряды, в ожидании нового ротного командира.

Ровно в назначенный час появился Карл фон Эйзенбах, блестя своею новою, почти с иголочки, формою, эполетами и ботфортами. Он сразу хотел завести строжайшую дисциплину и потому нарочно назначил такой час для смотра, в который солдаты обыкновенно ели.

«Дядя» скомандовал «смирно». Карл подошел к фронту, поздоровался и оглядел людей. Разумеется, они все стояли совершенно не так, как следует: ни стойки, ни даже порядочного равнения.

«Этот старый капрал распустил роту — сержант ничего не делает!» — решил Карл и взглянул на сержанта.

Артемий стоял, вытянувшись и прямо глядя пред собою. Он узнал Карла еще издали, видел, как тот обвел их всех глазами, как взглянул на него, и видел тот миг, когда Карл узнал его.

Карл действительно сейчас же узнал Артемия, лицо которого врезалось в его памяти. Как ни поразительна, как ни неожиданна была эта встреча, но чувство весьма понят-

ного удивления в Карле быстро уступило место другому, и это другое чувство было не совсем, но почти радостью или вернее каким-то радостным удовлетворением. Из-за этой одной минуты их неожиданной встречи стоило приехать в действующую армию.

Еще вчера, когда Карл узнал, что сержанта его роты зовут по фамилии Проскуровский, его поразило это, но он подумал, что тут простое совпадение. Но теперь он видел пред собою живого Артемия — таким, каков тот был и каким он видел его тогда, в саду, среди благоухающих роз, счастливого свиданием с Ольгой, когда эти же розы беспощадно кололи своими острыми шипами судорожно сжимавшие их руки его, Карла, когда соловей пел и дразнил его, и разрывал ему сердце на части. И это воспоминание со всею болью еще живого оскорбления охватило Эйзенбаха, и вся злоба поднялась в нем.

Глаза обоих недавних соперников встретились, и словно искра пробежала между ними.

Карл сделал большой шаг вперед, прямо на Артемия.

— Как стоишь? — крикнул он подступая.— Голову... плечи... Рано в сержанты попал... молод еще, так я тебя выучу...

Говоря это, Карл чувствовал, что его так и подмывало говорить дальше.

Артемий стоял не шелохнувшись. Поэтому, как бы для того, чтобы показать, что он знает сам, что спрашивает, потому знает службу, Эйзенбах продолжал:

— Устав известен тебе, а?.. Помнишь, что в нем про сержанта сказано?..— и, забрав глубоко грудью воздух, он отчеканил, словно по-писанному: — «На нем лежит зело многое дело в роте; того ради нужно, чтоб он дослужен был от нижнего чина, дабы знати мог все свои надлежащие поступки».

«А сам-то ты дослужен?» — подумал Артемий.

И вдруг ему стало неудержимо смешно, потому что он подумал о том, как сегодня вечером солдат Федор, которого «обижали» Фридрихом, будет представлять эту сцену и вертеть талией так же вот, как и барон, и говорить грубо, но похоже подражая его голосу.

Эйзенбах видел в лице Артемия насмешку, и, чувствуя угрюмо устремленный на себя взгляд остальных людей, тупо смотревших на него, как на человека, который хочет учить их чему-то, когда они знают уже самое главное в жизни, то есть как люди умирают, он как будто понял, что

его щеголеватый мундир, а главное — не менее мундира щеголеватая горячность, не совсем-то уместны здесь. Но это было лишь минутное просветление, которое Карл счел за слабость и поспешил заглушить в себе.

Он глянул опять на Артемия; в глазах того так и светилась улыбка.

Отступившая было злоба Карла снова нахлынула, и с большею еще силою, потому что был перерыв. Сердце забилось у него, дыхание сперлось, в глазах потемнело.

— Ты...— задыхаясь, сквозь зубы, проговорил он,— ты смеяться надо мной?..— и рука его с сжатым кулаком поднялась наотмашь.

Щеки Артемия вдруг стали совсем белые-белые, как мел.

Рука Карла опустилась. Он опомнился, злобный порыв прошел.

Но не прошла ревность Карла к службе. Он заставил солдат маршировать и нашел, к своему ужасу, что они совсем не умеют делать этого, а просто идут в ногу, путем опыта выработав положение для тела, самое удобное на ходу и совершенно не такое, какое требовалось при маршировке с поднятием в три приема ноги на гвардейских парадах. Тогда Эйзенбах стал учить, как следует делать маршировку в три приема.

Остальные роты пообедали, убирали уже котлы, а седьмая, которою командовал Карл, все еще ходила по счету, подымая как можно выше ногу. Люди повиновались, но их озлобленные, голодные лица с зло поджатыми губами не предвещали ничего доброго для своего начальника.

Звук ли барабана, от которого Карл успел отвыкнуть во время дороги, или доносившийся грохот ядер бомбардировки Кюстрина, или желание заглушить свою злобу, или все это вместе возбуждали Карла к усиленной деятельности, и он из кожи лез, обучая голодных солдат и воображая, что этим сразу забирает роту в руки, потому что показывает, какой он есть на самом деле строгий начальник.

Выстрелы со стороны Кюстрина становились все чаще и чаще; наши, принявшись за дело, не уставали, и эти гулкие, доносившиеся издали, выстрелы, к которым уже привыкло ухо солдат, как мельник к стуку жернова, были для Карла первыми, слышанными им, настоящими выстрелами, то есть такими, которые посылались не для того, чтобы разрушить искусственную цель, а для того, чтобы бить как можно больше людей. Но Карл не видал этих

убитых людей, и потому отдаленный грохот ядер, бой барабана и бряцание оружия солдат были для него полными поэзии звуками войны и действовали возбуждающе.

Он командовал, горячился, показывал и забыл уже о времени.

По его расчету еще много надо было «поработать» над ротою, чтобы привести ее в более или менее приличный вид, как вдруг ему пришлось скорее, чем он думал, убедиться, чем была на самом деле его рота.

С фермы прискакал адъютант с приказанием немедленно сниматься и идти. Он казался сильно взволнован, и на лице его была уже заметна та тень внушительной серьезности, которая является у военных пред началом настоящего дела. И эта серьезность сейчас же передалась окружающим.

«А? что? сражение? мы идем в сражение?» — блестя глазами и, как новичок, радуясь, думал Карл и, вероятно, спросил об этом у адъютанта, потому что тот ответил ему:

— Нет, пока еще не идем, а отступаем.

— Да, отступаем,— согласился Карл и оглянулся на капрала.— Я думаю, люди успеют пообедать еще? — несколько сконфуженно спросил он.

Капрал махнул рукою и ответил только: «Эх, ваше высокоблагородие!»,— но в этом ответе было сказано многое. «Мы вас потешили,— говорил этот ответ,— голодные промаялись, все сделали по-вашему, не мешайте теперь и нам».

И, словно получив от ротного командира приказание, капрал стал делать распоряжения.

В постоянной борьбе походной жизни у этих людей выработались совсем иные приемы команды, более простые и ясные, чем это требовалось уставом.

Карл, всегда гордившийся своим знанием устава, которое обыкновенно ставилось в пример другим, увидел теперь вдруг пред своими глазами такое, что он никак бы не мог предполагать; солдаты его роты вдруг разбежались с криком и шумом, произошла какая-то сумятица, кажущаяся бестолковщина, хотя старый капрал все время распоряжался и, должно быть, все понимал. И вдруг, как бы по волшебству, все палатки исчезли, куда-то спрятались, и люди снова выровнялись в ряды. Со всех сторон кругом шли и двигались солдаты, и не успел Карл опомниться, как место, занятое только что лагерем, опустело, и сам он, Карл, со своей ротой шел уже в рядах выбравшегося на дорогу полка.

«Однако они ведь не ели»,— подумал он снова и, поглядев на солдат, удивился их бодрому и выносливо-покойному виду, с которым они шли, забыв, разумеется, наставления размеренного, считанного шага.

III
ПЕРВОЕ ДЕЛО

Выступление застало Карла врасплох, и после первого же перехода он не мог уже разобрать, куда девались его вещи. Его денщик куда-то исчез; Карлу сказали, что он, вероятно, в обозе. Эйзенбах решил потерпеть до завтра, но на другой день их опять повели; они шли лесом, перебрались через овраги и наконец остановились. Карл узнал, что они располагаются на позиции, что король Фридрих соединился с графом Дона против них, что пруссаки, вероятно, будут атаковать и что его вещи находятся в обозе, отправленном к Клейн-Камину и расположенном там вагенбургом.

Название «Клейн-Камина» знали, но, где именно был он, указывали различно.

Карл «пока» решил обойтись как-нибудь без вещей, потому что не хотел оставлять роту без себя. Состояние этого «пока» было истинным выражением его теперешнего положения. Так же, как он решил вещи оставить пока, решил он не приводить п о к а в ясность своих отношений к Артемию, своему подчиненному.

Эйзенбах в первый раз еще чувствовал себя «накануне сражения» и не понимал, что все, которые окружали его, чувствовали себя так не только сегодня, но давно уже привыкли к этому, потому что в продолжение похода всегда находились накануне дела.

Двадцать четвертого августа нового стиля, с девяти часов утра, послышались первые выстрелы с неприятельской стороны.

Седьмая рота Тарасовского полка, которою командовал Карл, пришла на место ночью и, когда рассвело, очутилась на небольшом возвышении. Местность кругом была болотистая; сзади виднелся большой лес; впереди было селение, занятое неприятелем.

Карл, уверявший, что любит все делать обстоятельно, постарался узнать у адъютантов и прочих офицеров нашу позицию. Оказалось, что мы ночью переменили фронт, что наши войска расположены продолговатым четырехуголь-

ником и что такая позиция выработана практикой наших войн с Турцией. Одни говорили, что все это очень хорошо, другие, напротив, упрекали Фермора, зачем он не помешал обходному движению прусского короля, вследствие чего нам пришлось спешно менять фронт и наша позиция оказалась разрезанною двумя оврагами. Карл узнал также, что Тарасовский полк находится на правом крыле. Все это ему казалось очень важно, и он со своей стороны высказал адъютанту соображения относительно позиции. Он думал также, что ему придется воодушевлять или поддерживать дух своей роты, но сейчас же почувствовал, что тут и без него все пойдет ладно. Он почувствовал это, однако не желал показать и в душе удивлялся, как спокойно, с задумчивыми, серьезными и решительными лицами, солдаты и их старый капрал устраивались, не заботясь об остальном, на том месте, которое было отведено им, может быть, для того, чтобы найти тут смерть.

С Артемием он не сказал ни слова, но все время, куда бы ни смотрел, видел его и следил за собою, стараясь показать, что сам он не трусит, что он так же храбр, как этот счастливый соперник его, с которым «потом» он будет еще иметь время свести свои счеты. Карл сердился на себя за свою выходку и горячность под Кюстрином. Он понимал, что произвел дурное впечатление на роту. Но, если бы он знал, что они так скоро двинутся, разве поступил бы так? И он был уверен, что сегодня на деле докажет противное, доказав солдатам свою храбрость.

На линии неприятельских огней чаще и чаще вспыхивали клубы серого дыма и с странным, совсем другим, чем на ученьях и экзерцициях, гулом подымались к облакам; там вдруг виднелся высоко, точно повешенный на мгновение в небо, черный диск ядра, и потом все исчезало, и снова с раскатом, как из огромной трубки, вылетали серомолочные клубы. Наши отвечали откуда-то с боков и снизу.

Карл, волнуясь, нетерпеливо ходил, чувствуя, что *началось*, и ожидая, когда же очередь дойдет до них, до него, потому что значение этих гулких дымных ударов ему не было еще совсем ясно. Там, под Кюстрином, они были совершенно понятны: мы бомбардировали город; но ведь тут города нет, тут сражение; где же враг, где неприятель, с которым ему нужно будет «схватиться»?

«Верно, еще рано»,— успокаивал себя Карл, поглядывая, с каким равнодушием курил свою коротенькую трубочку капрал, присевший на попавшийся ему камень.

Немолчный грохот наших и неприятельских орудий не только продолжался, но и усиливался все более и более; уже добрых полчаса, не уставая, стоял этот гул. Волнение Карла росло. Он раз двадцать обошел расположение своей роты и, казалось, уже вполне изучил и твердо запомнил все подробности этого места, и камень, где сидел капрал, и помятый куст, который сначала ему не нравился, потом понравился и опять успел уже надоесть. Карлу надоело ждать.

«Да что же это долго так будет?» — нетерпеливо спрашивал он себя.

Ни адъютанты, ни начальство, сначала изредка показывавшиеся, не приезжали больше. Казалось, седьмую роту забыли тут, на холмике.

Эйзенбах готов был идти на врага, жертвовать жизнью; отчего ж его никто не посылал вперед, отчего же никто не идет на него? Так глупо стоять и не знать, что делать! И хуже всего было то, что Карл чувствовал, что капрал и Артемий, и даже солдаты отменно знали, что им делать. Это-то и было обидно. Но Эйзенбах скорее дал бы разрубить себя на части, чем спросить у капрала: «Что же это?» И он продолжал ходить, с сознанием полного своего достоинства, гордо закинув голову, как бы говоря: «Погодите!.. дойдет дело до настоящего, увидим,— он или я». Под этим «он», конечно, подразумевался Артемий.

«Он или я... он или я»,— мысленно повторял Карл, когда вдруг совершенно неожиданный для него и новый звук где-то близко-близко потряс воздух, что-то шлепнуло тяжело, словно ухнуло, и запах пережженной селитры, смешанный с испарением нагретого металла, сделался ощутительней.

— Нацелил! — сказал чей-то голос, и в этот момент к Карлу подошел капрал.

— Ваше высокоблагородие, нужно людям сказать лечь,— на нас навели,— проговорил он.

— Да, да, нужно лечь,— согласился Карл, не сознавая хорошенько всего ужаса спокойных слов капрала «на нас навели».

Солдаты легли, но Карл, молодцевато оправляя шарф и мундир, ходил между ними, словно не желая понимать то, о чем говорили ядра, шлепнувшиеся два раза очень уж близко от его роты.

— Ваше высокоблагородие,— сказал ему капрал,— вам бы тоже прилечь.

Карл нетерпеливо дернул полу мундира.

— Молчать, не разговаривать! — вдруг совершенно неожиданно для себя выкрикнул он, но тут же подумал: «Глупо, очень глупо сердиться». Однако он все же сердился и, главным образом, на себя за то, что все еще никак не мог наладить свои отношения к роте.

В это время откуда-то справа к зычному гулу, утомившему уже с утра ухо, присоединилась вдруг мелкая перекатная трескотня, точно груду мелких досок повалили в яму.

«Что это?» — опять удивился Карл, не узнавая ружейного огня.

В воздухе протяжно, жалобно и весело зажужжали быстрые, словно пчелы, беспокойные пули.

«Только не кланяться, только не кланяться! — повторял себе Карл, делая усилие подавить всякое поползновение нагнуться.— Пора и нам начинать»,— решил он наконец и подал команду.

Он весь был в волнении. Солдаты, напротив, делали свое дело с каким-то непонятным спокойным трудолюбием, с тем самым выражением, с которым мужик наваливается на соху и ворочает ее всем своим существом.

Дело разгоралось, но было еще в самом начале. Враг, очевидно, подходил, но из-за застилавшего теперь все кругом дыма никого и ничего не было видно.

«Ну, поскорей бы уж, поскорей!» — повторял себе Карл, сознавая свое бездействие и будучи готов умереть от нетерпения.

С непривычки, от запаха порохового дыма, от бессонной ночи, от треска и грохота жаркого дела, от радости так быстро и неожиданно попасть в сражение и, главное, оттого, что он с утра ничего не ел и не пил, Карл мало-помалу пришел в состояние, близкое к опьянению, когда голова начинает кружиться и мысли путаются, и всякое движение захватывает дух. Он уже совершенно бессмысленно твердил теперь свое: «Поскорей бы уж!..» — ходил, кричал, поднимая руки, воображая, что ободряет солдат, и не замечал, что старик-капрал стал уже относиться к нему опять с тем же деловитым презрением, с которым сказал ему пред самым выступлением: «Эх, ваше высокоблагородие!»

— Эй, сударик, что у вас спят там! — покрикивал капрал.

Какой-то голос отвечал ему, но Карл не узнавал уже, что это был голос главного его врага — Артемия. Он перестал следить за ним и за собою. Он все еще думал, что все

происходящее вокруг него,— не сражение, а так, начало, прелюдия, и ждал, когда же будет настоящее, ждал каждую минуту и каждую минуту обманывался. Но пьяный восторг его не становился от этого меньше.

Ружейные залпы трещали, гул стоял в воздухе от пушечных выстрелов, солнце поднялось высоко; и осеннее сырое утро сменилось жарким, почти летним днем. Карл уже привык к свисту и жужжанию пуль и не думал о том, чтобы «не нагибаться». Его волнение усилилось настолько, что он не замечал этого свиста и не замечал, как один из солдатиков, будто по своей надобности, отделился от строя и убежал, сильно махая рукою. Это был раненый.

Сам Карл тоже взмахнул рукою, как это часто уже делал сегодня, и вдруг почувствовал, что на этот раз ему машется особенно благоприятно. Рука у него, словно сама собою, так легко заходила вверх и вниз и потом из стороны в сторону, что он невольно придерживал ее другою, левою рукою, и пальцы этой левой руки попали во что-то мокрое, склизкое и теплое. Карл оглядел пальцы; они были в крови.

«Где ж я мог выпачкаться?» — мелькнуло у него — и сейчас же прошло, потому что он понял, что он ранен и, как только он понял это, страшная боль защемила ему руку.

Он почувствовал уже потерю крови, чувствовал, что она отливает от его вдруг похолодевших щек и от сердца; последнее словно захлопнулось, ноги подкосились, и Эйзенбах, бледный, упал на согнутые колена.

Когда он открыл опять глаза, то же горячее солнце светило сквозь облако серого вонючего порохового дыма, и тот же треск и гул, которые были и прежде, стояли кругом.

Карл не только узнал этот треск и гул, но ему казалось теперь, что с самого рожденья, с детства, всю жизнь вокруг него немолчно так гудело и трещало. Кто-то наклонился над ним.

«Я умираю»,— решил Карл и хотел сказать об этом тому, кто наклонился над ним, но узнал Артемия, который хлопотал возле него, сделал ему перевязку и привел в чувство.

Тяжелее этой встречи для Карла трудно было придумать, найти что-нибудь. Заботливость Артемия не тронула его. Напротив, новый прилив бешенства охватил его, и, стиснув зубы, он силился сказать:

— Пошел, пошел!

Артемий делал вид, что не слышит, а, может быть, и на самом деле не слыхал, что ему говорили, потому что, склонившись на одном колене над Карлом, все время следил за тем, что происходит в рядах его роты, распознавая ход дела своим привычным уже к перестрелке ухом и чутко следя по этому, насколько было необходимо его присутствие среди солдат.

В тот самый миг, когда Карл открыл глаза, Артемий почувствовал, что теперь он в своей роте нужен более, чем здесь, возле Карла, и быстро поднялся. Солдаты уже вскочили на ноги и скрылись в дыму, бросившись вниз с возвышения на показавшегося, очевидно, неприятеля. Артемий кинулся к ним. Эйзенбах видел, как он вдруг оставил его, и, с трудом поднявшись на здоровую руку, постарался глянуть ему вслед; но, когда он поднялся, на месте, где лежали солдаты, никого уже не было; дым... дым, кругом везде был дым, застилавший все — и небо, и землю, и самое жизнь.

— Und dann Punktum [1]! — вспомнил почему-то Карл слова, которыми обыкновенно кончал ему диктовку учитель в детстве, и снова обессиленный упал на землю.

IV

ПОЛКОВОЕ ЗНАМЯ

Фридрих II, лично предводительствовавший своими войсками, успел произвести подробную рекогносцировку и решил атаковать правое наше крыло своими главными силами. Он выдвинул вперед свои батареи, и они открыли огонь, чтобы подготовить атаку.

В полдень прусский авангард под начальством Мантейфеля двинулся на русских. Это движение сначала было успешно; но по мере наступления авангард слишком отделился от остальной массы батальонов, а русские, ударив на Мантейфеля с фронта и фланга, заставили его отступить с большими потерями. Однако в это время кавалерия пруссаков зашла в тыл русским и в свою очередь нанесла им значительный вред. Наша пехота была окружена со всех сторон. Фермор был увлечен отступлением кавалерии и только вечером примкнул снова к армии, которая оставалась таким образом без настоящего главнокомандующего.

---

[1] И затем точка *(нем.)*.

Но и в прусских рядах происходило немалое расстройство. Несколько раз сам король не без труда собирал вернувшиеся из линии огня беспорядочные толпы своих солдат и, восстановив порядок, снова вводил их в дело.

В средине дня на правом нашем крыле сами пошли в атаку. Пруссаки, не дождавшись удара, побежали. Сражение опять казалось проигранным для Фридриха, но снова спасла его кавалерия. Она была под предводительством Зейдлица. Говорят, он сам понесся вдоль фронта, когда в начале своего движения его конные полки засуетились было, встреченные русскою картечью. Их уставшие лошади едва могли идти галопом. Но отвага генерала дала такой подъем духу солдат, что они, несмотря ни на что, врезались в ряды русской пехоты. Тут произошла одна из тех рукопашных свалок, которая еще раз доказала, что русских можно истребить, но победить нельзя. В отвратительной позиции или, вернее, без всякой позиции, окруженные неприятелем, не на своей, а на чужой земле, из-за которой приходилось им драться, лишенные главного начальника, русские дрались до смерти, до последней капли крови. Только наступившая вечерняя мгла прекратила кровопролитие.

Все эти движения, атаки и отступления были, разумеется, восстановлены впоследствии, когда по отдельным рассказам, более или менее правдоподобным, составили, как обыкновенно составляются такие описания,— приблизительный контур битвы, расцветив его, может быть, и произвольными красками. Для самих участников все дело представлялось совершенно иначе. Для них не могло быть последовательности и порядка там, где главным основанием, самою сутью являлось наиболее беспорядочное, идущее вразрез со всякою законною последовательностью жизни, дело — убийство себе равного.

Этот период губительства, разрушения, убийства и смерти начался для седьмой роты тарасовцев главным образом с того момента, когда они, увидев пред собою, сквозь потянувшийся по ветру пороховой дым, синие прусские мундиры, побежали на них, а Артемий, оставив раненого Карла, кинулся за ними.

Это была первая атака авангарда Мантейфеля, отбитая русскими. Тарасовцы показали себя.

Но не успели они оправиться, не успели оглядеться и увидеть, что они сделали сами и что сделали с ними, как на них, откуда-то сзади, налетела неприятельская конница, и они стали отбиваться от конницы.

В эту минуту для Артемия, у которого давно пересохло во рту и который от усталости уже не чувствовал ног и рук, не существовало ни войны, ни сражения, ни общих движений; для него все сосредоточилось в наскочившем на него кирасирском офицере, который хотел растоптать его лошадью или убить палашом. Но он, Артемий, уверенный, что пошел искать для себя смерти, все-таки не позволил сделать это и, ворочая ружьем, уложил и кирасира, и его лошадь.

— Молодца, сударик! — услышал он ободряющий голос дяди-капрала, и этот голос снова опьянил его, и он снова кинулся вперед, очертя голову.

Пригорок, на котором с утра была расположена рота и где остался раненым молодой офицерик-командир, был давно потерян. Весь вид местности изменился от разброcанного по ней оружия, валявшихся зарядных ящиков, колес и главное — неподвижно, в различных и самых невозможных позах, лежащих людей, искаженных и изуродованных.

Артемий помнил, что ему вдруг пришло на мысль, зачем это они лежат так? Но он, не отвечая, сейчас же постарался прогнать этот вопрос от себя.

Потом его чрезвычайно поразил солдат Федор, которого в роте дразнили «Фридрихом». Этот Федор, раненный в голову, вернулся с перевязкой снова в ряды и очень весело объяснил, что «не вытерпел», душа его не стерпела.

— Пруссак нынче очень обозлился, много народа попортит, — говорили солдаты и, несмотря на то, что они сами и были тем народом, которого должен был «попортить» пруссак, все-таки не унывали, сбивались в кучу на зов сигнала и отбивались от неприятеля.

Это было совсем уже к вечеру. Остатки Тарасовского полка, сильно пострадавшего в течение дня, держались вместе. Напряжение боя стало ослабевать; канонада артиллерии звучала ленивее. Почти на каждом шагу нога скользила, попадая в грязь, замесившуюся человеческою кровью; к ободряющим дерзким звукам выстрелов присоединились стоны раненых.

По этой изменившейся, ужасной в своем своеобразии музыке сражения опытное ухо старых служак уже чувствовало, что в людях начинает наступать отрезвление, и дело близится к концу.

И тут только почти у каждого из оставшихся в живых зашевелился вопрос: «Кто вышел победителем?» Несмотря

на то, что тарасовцев осталась десятая часть, они твердо были уверены, что если победа не на их стороне, то во всяком случае она и не на стороне врага.

Дело шло к концу, но еще не кончилось, и все зависело от последнего натиска, последнего решающего удара. И начальствующие, и солдаты, и старый капрал, и Артемий понимали это.

И вот снова показались пред ними синие мундиры прусской пехоты. Раздалась команда. Все, как один человек, почувствовали, что нельзя подпустить к себе пруссаков, ждать их, но нужно самим идти навстречу и натиском ответить на их натиск. Но потому ли, что команда раздалась неуверенно (офицеры боялись, послушают ли ее солдаты), или усталость превозмогла сознание необходимости двинуться вперед, но в первую минуту в рядах произошло что-то похожее на замешательство. Однако это была именно только одна минута. Известный всему полку Василий Карпов, тот самый Василий Карпов, который на походе, когда солдаты, изнемогая, вязли по колена в грязи, выскакивал вперед, надев на себя два ранца, один — на грудь, другой — на спину, и с этою двойною тяжестью начинал впереди песенников, прищелкивая, выбивать присядку, так что остальные наперерыв начинали лезть вперед, чтобы посмотреть на него,— этот Василий Карпов выскочил теперь первым туда, к синим мундирам, и за ним бросились тарасовцы, энергия и сила которых притупилась было, как притупилось их оружие. Никогда еще не выпадало на их долю столько рукопашных свалок, как сегодня.

Артемий ничего уже не помнил и, потеряв всякое сознание, отмахивался и дрался, как будто отмахивался и дрался вовсе не он, а совсем другой человек, а сам он был где-то далеко-далеко. Опять кровь, опять крики, опять кирасир, как утром, который хочет растоптать его. И вдруг Артемий опомнился, словно никак не мог сообразить, откуда пред ним взялся опять кирасир, когда они бросились за Василием Карповым на пехоту и когда он утром убил уже кирасира.

Но кругом, со всех сторон, торчали лошадиные морды и блестели латы немецких всадников, пробравшихся сквозь интервалы своей пехоты.

Артемию среди свалки ясно представилось дорогое, честное знамя его полка, высоко поднятое там, где дрались ожесточеннее всего. Верх знамени покачнулся, как макушка срубленного дерева, и оно рухнуло, быстро склонившись.

«Вот оно! — мелькнуло у Артемия.— Все пропало... все!..»

И то, что во весь день ему не приходило в голову, то есть, что он до сих пор только чудом остается в живых, теперь схватило его за сердце, и он перестал сомневаться, что давно желанный конец близок, что все кончено. Но, как только он решил это,— страшный, беспощадный удар в голову сшиб его с ног и в глазах потемнело.

Тарасовцы могли выдержать последний приступ вражеской пехоты, но, когда ее сменила кавалерийская атака, им осталось только умереть возле своего знамени. Противиться долее было сверх человеческих сил.

Небольшое селение Цорндорф, расположенное к северо-востоку от Кюстрина, по дороге в Сольдин, и решительно ничем не замечательное до 25 августа 1758 года, мирно и честно ведшее торговлю с окрестными городами и местечками, вдруг получило после этого числа историческую известность. Вокруг него легло около пятнадцати тысяч русских и немцев.

Этот упорнейший бой при Цорндорфе не принес победы ни той, ни другой сторонам. Ночью на 27 августа Фермор обошел левый фланг пруссаков и соединился со своим обозом у Клейн-Камина. Фридрих расположился у Тамселя. В этом расположении обе армии оставались до 31 августа. Затем Фермор отступил к Ландсбергу, а Фридрих возвратился в Саксонию.

V

ВДАЛИ ОТ ВОЕННЫХ СТОНОВ

Принцесса Иоганна Елизавета Ангальт-Цербстская, выдав свою дочь за наследника русского престола, думала сначала, что будет играть роль при дворе императрицы Елизаветы, но ее ожидания не оправдались. Государыня скоро была восстановлена против нее, и в этом были виноваты отчасти придворные интриги, а отчасти и сама принцесса. Как бы то ни было, но она должна была покинуть Россию. Положение ее дочери тоже с каждым днем становилось все тяжелее. Она и ее мать могли сноситься друг с другом только при помощи окольных, иногда очень рискованных, путей.

В последнее время великая княжна примирилась с канцлером Бестужевым, прежним своим врагом, и он, как

предупреждал ее при их странном свидании граф Сен-Жермен, действительно оказался преданным ей другом.

Принцесса Елизавета, думая, что это она устроила брак своей дочери, во что бы то ни стало хотела и дальше играть политическую роль. Маленький Цербст казался слишком тесен для этого. В Петербурге ей не повезло, и она поселилась в Париже под тем предлогом, что должна была бежать из охваченной губительной войною Германии.

Несмотря на то, что в этой войне гибла французская армия, а государственная казна Франции едва выдерживала сумасшедшие расходы короля, этот король, «le bien aimè [1]», как его называли, Людовик XV, окруженный блестящим двором и еще более блестящими женщинами, проводил дни в свое удовольствие.

Сезон 1758 года начинался в Париже так же весело, как и в предыдущие годы.

В старинном зале, построенном ровно семьдесят лет тому назад известным Обрэ, начались представления французской комедии.

Все было изящно и дышало уважаемой стариной в этом зале, где ложи передавались по наследству, как родовая собственность. И актеры, которые играли там, были уважаемые, солидные актеры, и пьесы ставились солидные, принадлежащие перу авторов с громким именем.

У принцессы Иоганны Елизаветы Ангальт-Цербстской, разумеется, была своя ложа в театре. Она вела широкую, барскую жизнь в Париже, хотя ее средства были далеко невелики, но они покрывались кредитом, которым пользовалась принцесса, как мать русской великой княжны.

На первом представлении давали «Цинну», трагедию Корнеля. Весь Париж съехался сюда не столько ради интереса к самой пьесе, восхищаться которою было уже принято, сколько ради того, что ехали в театр все, чтобы показать себя и доказать свой вкус и понимание литературных произведений.

Принцесса Цербстская сидела в своей, сделанной наподобие маленькой гостиной, ложе и гордо оглядывала из ее амбразуры полный блестящею толпою зал. Мужчины в шитых золотых кафтанах, блестя бриллиантами, в числе прочих искали глазами и ее ложу, чтобы издали приветствовать поклоном принцессу. Она отвечала медленным на-

---

[1] «Возлюбленный» *(фр.)*.

клонением головы и снова застывала в красивой, изученной пред зеркалом, позе.

Принцесса принадлежала к числу тех женщин, на которых годы не имеют влияния и которые, кажется, никогда не могут состариться. Она умела одеться, и главное — с искусством, достойным большого художника, пользоваться модою употребления белил и румян. И до сих пор напудренные маркизы двора Людовика XV встречали с удовольствием ее выразительные, искусно подведенные, глаза, но на всех их эти глаза смотрели одинаково строго и холодно.

Вдруг равнодушное выражение принцессы изменилось слегка: к своему удивлению, она увидела в зале редко показывавшегося в театре графа Сен-Жермена.

Его нельзя было не увидеть и не заметить даже среди блестящей толпы, окружавшей его. Его спокойная, невысокая, но сильная и мужественная фигура резко выделялась. Как ни были богаты наряды остальных, но ни у кого не был кафтан расшит богаче, ни у кого не блестели так бриллианты, как у него, и никто не держал себя с большим достоинством, чем этот известный и вместе с тем неизвестный «всему» Парижу таинственный человек.

И он, подобно другим, стал оглядывать ложи, одна за другою, и почти ни одной не пропустил без поклона.

Принцесса ждала, когда он обернется в ее сторону, и, когда граф поклонился ей, быстро несколько раз махнула к себе раскрытым веером. На условленном языке того времени это значило, что она приглашает графа к себе в ложу. Он почтительно опустил ниже голову в знак покорности.

— Чем мы обязаны видеть в театре сегодня такого редкого гостя, как вы? — встретила принцесса входящего в ее ложу Сен-Жермена.— Надеюсь, вы останетесь у меня в ложе весь вечер?

— Я на это рассчитывал, принцесса,— улыбнулся граф, опускаясь на бархатную табуретку с видом человека, который находится в дружеском, приятном ему обществе.

Они говорили по-французски.

В французском произношении графа, владевшего в совершенстве почти всеми европейскими языками, чуть заметно слышался пьемонтский акцент, вследствие чего думали, что он — тамошний уроженец, и даже называли его отцом некоего Ротондо, сборщика податей в Сан-Джермано, в Савойе. Другие считали графа Сен-Жермена и за

португальского маркиза Бетмара, и за испанского иезуита Аймара, и за эльзасского еврея Симона Вольфа, и даже наконец за побочного сына вдовы испанского короля Карла II. Но в самом деле никто никогда не мог узнать ни происхождения, ни настоящих лет таинственного графа. Сам он никогда не говорил ни о своем рождении, ни об условиях, в которых воспитывался.

Однако несмотря на неизвестность и таинственность, которыми окружал себя Сен-Жермен, а, может быть, именно вследствие этой неизвестности, совершенно непроницаемой, он не только был принят в лучшем обществе Парижа, но и при дворе, был лично известен королю Людовику XV, и не одному ему — сам Фридрих II относился к нему, как к человеку необыкновенному. В гостиной принцессы Цербстской граф был принят, как свой, как лицо, оказавшее ей не одну дружескую услугу.

В Париже он жил, не стесняясь в средствах, и обладал таким множеством драгоценных камней, как будто владел секретом произвольного их воспроизведения. Но зачем он жил тут, иногда вдруг исчезая на некоторое время и появляясь потом вновь, что делал, какие его были цели,— оставалось такою же тайною, каков был каждый его шаг и каково было между прочим появление его в театре, удивившее принцессу.

Она несколько раз взглядывала на графа в продолжение действия, желая узнать, как относится он к пьесе, но, как всегда, ничего не могла прочесть на его неподвижном, словно каменном, лице.

— Вам не нравится Корнель? — спросила она в антракте.

— Нет, напротив, отчего же? очень забавно! — ответил граф, не улыбаясь.

— Забавно? — протянула принцесса,— вам з а б а в е н Корнель?

— Ну, разумеется! Прежде всего эти костюмы очень смешны: римляне, настоящие римляне сидят у себя дома, запросто, в торжественных позах; добро бы еще у них было что-нибудь особенное, ну, я не знаю — полный атриум гостей, что ли... а то так, запросто, за портиком. Право, пройдет лет сто, и нас на сцене будут изображать за утренним завтраком, сидящими вот в этаких кафтанах, с орденами, звездами и драгоценными каменьями, как рисуют нас на портретах.

Принцесса рассмеялась.

— В самом деле,— сказала она,— это, должно быть, будет забавно.

— И потом,— продолжал граф, морщась, как будто неприятное воспоминание коснулось его.— Цинна был одним из самых антипатичных людей.

Принцесса взглянула на него. Про графа Сен-Жермена рассказывали, будто он живет уже несколько веков и был свидетелем событий, происходивших задолго до Рождества Христова, что вызывало во многих суеверный страх к нему.

— Вы говорите, граф, иногда о людях, живших очень давно, словно были знакомы с ними,— сказала принцесса,— мне всегда жутко это слышать.

Граф пожал плечами и серьезно ответил:

— Я никогда не утверждал, принцесса, что видел Цинну или что-нибудь подобное.

— Да, но вы все-таки говорите так, что становится жутко. Будемте лучше говорить о другом,— и, как бы для того, чтобы переменить разговор, принцесса облокотилась на барьер ложи, оглядела зал и проговорила, качнув головою: — Какая толпа!

Однако по тому, как она произнесла эти слова, видно было, что ей доставляло удовольствие смотреть на эту толпу и чувствовать, что на нее самое тоже смотрят.

— Вам нравится? — спросил граф.

— То есть что нравится? Это общество, театр?

— Да,— вдруг заговорил он,— это общество, театр... А между тем, подумайте, в то время как мы сидим с вами здесь, сколько народа испытывает самую вопиющую нужду! Ведь целая Германия объята войной, там люди гибнут.

— О-о! — перебила принцесса.— Вы начинаете говорить банальные вещи, дорогой граф.

— Банальные — пусть, но, согласитесь, они справедливы.

— Может быть; однако против вашей философии существует другая — философия маркизы,— принцесса понизила голос, как все понижали его, когда говорили о маркизе Помпадур, фаворитке Людовика XV.— «После нас — хоть потоп!» — пояснила она.

— Да, и будет потоп, помяните мое слово,— и потоп ужасный, кровавый!

— Кстати о войне,— сказала принцесса.— Оттуда получены очень радостные вести: дела фельдмаршала Дауна идут отлично. Французская армия, после того как Клер-

мон сдал начальство Контаду, оказывает чудеса, и русские, если не разбили, то почти разбили самого короля при Цорндорфе или что-то в этом роде.

— Радостные вести! — повторил Сен-Жермен.— Как будто с войны могут приходить радостные вести! Там, где есть победитель, есть и побежденный, и у обоих их несколько тысяч убитых!

Эти возражения графа, поставленные довольно резко, начинали немного сердить принцессу, и она, с чисто женскою способностью сводить разговор на личности, поспешила заметить ему:

— Однако, граф, несмотря на свою проповедь, вы же сами явились сегодня в театр.

Сен-Жермен скосил слегка губы в сторону, как будто ждал этого замечания и был доволен теперь, что не ошибся, что оно будет сделано.

— Ах, принцесса, сегодня я в театре, завтра — на войне, смотря где мое присутствие необходимо! — ответил он.

— А, значит, вы даже в театр являетесь по делу?

— Не я один, принцесса.

— Ну, и это дело, для которого вы явились сегодня сюда?

— Вам хочется узнать?

— Да, я хочу знать, зачем, несмотря на то, что люди, может быть, гибнут теперь и вся Германия объята войной, граф Сен-Жермен все-таки явился в театр,— проговорила с легкой насмешкой принцесса.

— А хотя бы для того, чтобы показать ее светлости принцессе Иоганне,— ответил граф, не замечая подчеркнутых слов,— вот того старика, который пробирается между кресел.

— Вы не шутите, граф? — уже серьезно переспросила принцесса, вглядываясь в того, на кого ей указывали.

Это был совсем расслабленный, едва двигавщийся, старик, судя по одеянию, более чем богатый, а по манерам — принадлежавший, видимо, к обществу, которое принцесса Иоганна знала наперечет в Париже; тем более была она удивлена, что до сих пор не встречалась с этим стариком.

— Вы его знаете? — обернулась она к Сен-Жермену.— Верно, он недавно здесь? Должно быть, это — иностранец?

— Да, он — иностранец, итальянский маркиз и принадлежит к известной в Италии фамилии Каулучи. Его су-

дьба довольно странна. В молодости он имел огромное состояние, но очень скоро прожил его,— потом бедствовал большую половину жизни и наконец под старость пережил более молодых своих родственников и снова соединил в своих руках значительное богатство.

Граф, оставив прежний полушутливый тон, говорил теперь совершенно серьезно, и принцесса внимательно слушала его.

— Он женат? — спросила она.

— Вдовец, и теперь совсем одинок.

— Куда же он девает свои деньги? Он скуп и копит их или его обворовывают?

— Ни то, ни другое. Он хочет еще жить и пользоваться удовольствиями жизни.

— И он явился в Париж, чтобы здесь прожить остаток дней так, как умеют это делать только в Париже? — улыбнулась принцесса.

— Он явился сюда,— ответил, тоже улыбаясь, Сен-Жермен,— чтобы увидеть меня и купить секрет восстановления молодости и долгой жизни. Ему сказали, что я владею этим секретом.

В это время занавес поднялся и началось следующее действие. Но разговор слишком интересовал принцессу Иоганну, чтобы прекратить его ради пьесы.

— Знаете, граф,— сказала она, отходя в глубину ложи,— я тоже слышала много раз, что вы обладаете этим секретом, но никогда не решалась спросить вас, неужели это — правда?

Граф пожал плечами.

— До некоторой степени, принцесса; если я не вполне могу восстановить молодость человека, то во всяком случае, пожалуй, в состоянии удвоить годы его жизни.

Глаза принцессы Иоганны Елизаветы блеснули.

— Неужели? Так это — правда? — поспешно повторила она, не замечая, что от волнения бесцеремонно берет графа за локоть.— Какой же секрет, какая цена ему?

— Цена тех усилий, которые сам человек будет делать для достижения цели. Если меня спросят: «Как удвоить годы жизни?» — я отвечу: «Бросьте город и его соблазны, ешьте, только чтобы утолить голод, и пейте, только чтобы утолить жажду; ступайте в поле, работайте мускулами, вставайте рано поутру, умывайтесь каждый день ключевою водою, содержите в самой строгой опрятности себя, свое платье и свое жилище и имейте настолько силы воли, что-

бы стать выше мелких житейских неприятностей и не волноваться ими. Не делайте зла!»

— И только? — спросила принцесса.

— О, это очень много! — ответил граф.

Иоганна Елизавета отвернулась и замолчала. Она сама знала все, что говорил Сен-Жермен, и все это было не то, чего она хотела. Она и теперь не верила, что он говорит искренне. Она была убеждена, что у графа есть рецепт эликсира или состава, способного сразу, через несколько приемов, вернуть человеку молодость, но только он не желает сообщить ей об этом.

— Да,— наконец протянула она, качая головою,— но это слишком просто, слишком просто.

— Это просто и вместе с тем верно,— перебил граф,— в мире нет ничего необыкновенного. И зачем искать другого, если не хочется испытать это простое средство?

— И что же, вы и этому старому маркизу Каулучи пропишете то же средство, граф?

— Я ему, вероятно, ничего не пропишу, потому что едва ли мне придется увидеться с ним.

— Вы уезжаете?

— Сегодня в ночь.

— Значит, вы пришли проститься со мною?

— Да, принцесса, и еще для того, повторяю, чтобы показать вам здесь старого маркиза.

— Что же, этот маркиз, может быть, нужен зачем-нибудь мне или Лотти? — доверчиво спросила она, уже окончательно примирившись с мыслью, что граф не хочет сообщить ей свой секрет.

Лотти было имя, которым она привыкла звать дочь, ставшую уже теперь великою княжною Екатериною Алексеевной, но для нее, матери, оставшуюся все-таки прежнею Лотти.

— Нет,— возразил граф,— на этот раз это — услуга или помощь, которую я жду от вас, принцесса. Мне необходимо уехать сегодня. А между тем очевидно, дни этого старика сочтены. Желая продолжить их, он несомненно попадет в руки шарлатанов, и они ускорят его смерть. Он едва ли будет жив, когда мне можно будет вернуться в Париж.

— При чем же тут я и что могу сделать? — не понимая еще ничего, но, видимо, будучи заранее готова исполнить просьбу графа, ответила Иоганна Елизавета.

Она знала, что этот человек не может попросить о чем-нибудь дурном.

Сен-Жермен вынул из бокового кармана своего кафтана сложенную вчетверо бумагу и произнес:

— Больше ничего, принцесса, как только взять эту бумагу и хранить ее у себя пока. Можете прочесть ее, если хотите.

— А потом? — спросила она.

— А потом ждать случая, когда старик Каулучи подпишет ее. Он должен это сделать.

— Ну, а если такого случая не представится?

— Тогда в том не будет вашей вины, принцесса. Но будьте уверены, что такой случай будет,— и граф, встав со своего места, низко и почтительно поклонился принцессе, прощаясь с нею.

Она взяла его бумагу, а затем спросила:

— Куда же вы едете теперь, граф? Или это — тоже тайна?

— Туда, где люди г и б н у т,— ответил он, в свою очередь подчеркивая теперь это слово, и, поклонившись еще раз, вышел из ложи принцессы.

VI

В КЕНИГСБЕРГЕ

Наступление русских войск на Берлин было остановлено сражением при Цорндорфе, и Фермор отступил к Кольбергу, под которым, осаждая его, провел около месяца, но безуспешно. Затем приближение графа Доны заставило русских вернуться в Пруссию и Польшу, где ввиду близких уже холодов они расположились на зимние квартиры.

Сосредоточием нашей армии стал, как и в прошлом году, богатый, старинный Кенигсберг, превратившийся в русский военный город. Здесь распоряжались русские генералы, русские часовые несли службу в замке и у городских ворот: на готических домах постройки гайзенских времен появились русские надписи там, где были наши полковые дворы.

В числе их был один и Тарасовского полка. Но сам полк, после Цорндорфа, существовал только по инерции: убитых и раненых было гораздо больше, чем оставшихся в живых. Многих и храбрых, и честных товарищей потеряли тарасовцы, но (и это было самое главное) они потеряли также свое полковое знамя. И остались после отчаянного цорндорфского боя полковой командир, несколько офицеров, не более полусотни солдат, и это был уже не полк, а

остатки бывшего Тарасовского полка, потерявшего свое знамя и с честью легшего костьми возле него. Те, которые остались случайно, и никто не сомневался, что и они готовы были бы лучше умереть, чем пережить своих товарищей и стать случайными людьми, которых, по всем вероятиям, расформируют по другим полкам.

Ходили слухи, что нового знамени прислано не будет, что на место тарасовцев из России придет другой полк, а их комплектовать больше не станут. Но пока ничего еще не было известно определенного.

Полковой писарь приладил две комнаты под канцелярию, вывесил надпись, что здесь, мол, полковой тарасовский двор, и готовая уже прекратиться жизнь полка билась еще здесь ослабевающим с каждым днем пульсом. Полковой командир продолжал, правда, писать рапорты по начальству и получать на них ответы, но все чувствовали, что это продолжится недолго и что тарасовцев оставляют пока в покое потому, что есть дела более неотложные — по устройству и размещению войск в городе на зиму.

Наконец, когда войска были расквартированы и устроена походная церковь, в первое же воскресенье было приказано явиться туда всем начальствующим и офицерам.

Пятое сентября, день именин государыни, войска провели в походе и потому должны были теперь служить царский молебен. Полковые писаря знали уже, что из Петербурга накануне были получены предписания с курьером и что, вероятно, после обедни станут известны интересные новости. Большинство, кроме тарасовцев, ждало наград, отличий и повышений.

Старый «дядя», капрал седьмой роты, не пошел в церковь.

— Не могу идти на люди, душа болит,— объяснил он Федору, занявшему после Артемия место сержанта.

— Эка, «дядя», в церковь-то!.. Нешто это на люди? — ответил тот.

— А то как же? Все там будут. Лучше один дома помолюсь,— и недовольный упреком Федора «дядя» покачал головою.— Всем ты хорош, Федор, а все-таки далеко тебе до сударика. Жаль беднягу! Вот будь он, он бы понял, почему даже в церковь тяжело идти нашему брату, а ты сомневаешься.

Федор взглянул на капрала исподлобья и, чтобы доказать, что он тоже понимает, ответил:

— Да что ж, я ведь чувствую... и Артемия Андреевича тоже жалею.

— Ты не его, а себя с нами жалей. Ему, может, лучше, чем нам с тобою теперь! Так-то! — и капрал, крепко закусив на сторону свою коротенькую трубочку, отвернулся с таким видом, что и с Федором и говорить-то не стоит.

В церковь он не пошел, но в воскресенье утром, до конца обедни, явился на полковой двор, предчувствуя, что сегодня должна решиться судьба полка.

Тарасовцы занимали дом разоренного войною немецкого купца. В самом дому были отведены квартиры для полкового командира, адъютанта, старшего офицера и канцелярии, а для солдат устроили казарму в бывшем при доме товарном складе.

На дворе, у крыльца командира, стоял денежный ящик и возле него мерно прохаживался часовой. Двор был вычищен и усыпан песком. Дежурный вестовой вертелся возле дверей канцелярии; у импровизированных казарм устроили скамеечки; словом, двор имел вполне военный вид, но только на нем не производили учений, и по вечерам у казарм не слышно было песен.

«Дядя»-капрал, выйдя на двор, присел на скамеечку, беспокойно поглядывая на ворота, откуда должно было прийти из церкви начальство. Октябрьский день не казался холоден, несмотря на то, что по ночам бывали уж заморозки, но к полудню не потерявшее еще своей силы солнце нагревало воздух настолько, что можно было надевать верхнее платье нараспашку.

Первыми пришли адъютант и два молодых офицера, при взгляде на которых у капрала невольно мелькнуло воспоминание о ротном командире, приехавшем под Кюстрином из Петербурга и так скоро окончившем свое боевое поприще. Карла Эйзенбаха так же, как Артемия, считали в числе убитых.

Офицеры остановились посреди двора, громко разговаривая. Они были сильно взволнованы.

— Неизвестность хуже всего,— сказал один, сильно размахивая руками.— Я понимаю, уж если думают расскассировать, так пусть и раскассируют.

Видимо, ему это слово нравилось, и он повторял его.

— Я положительно теряюсь,— возразил адъютант,— неужели из Петербурга так-таки и нет ничего относительно нас?

— Может быть, генерал не хотел, сразу после наград, сообщать неприятные вещи? — заметил другой офицер.

— А ты заметил полкового командира? На нем лица не было все время. Я думал одну минуту, что он свалится.

— Да, он нехорош, и изменился как!

— Но все-таки генерал был с ним любезен.

— Эх!.. Да эта любезность хуже сердца! Словно милостыню подает Христа ради.

К этим первым трем стали подходить остальные, возвращавшиеся из церкви, и тоже высказывали свои впечатления.

Дело было в том, что генерал после молебна поздравлял с монаршею милостью счастливцев, получивших награды, относительно же тарасовцев не обмолвился ни словом, как будто их и не было вовсе. Правда, офицеры видели, как он поздоровался с их полковым командиром, но, по-видимому, и ему не сказал он ничего, так как командир не дал приказания собираться им. Собрались же они на полковой двор сами собою, потому что каждому из них идти одному к себе домой не хотелось. В минуты, переживаемые ими теперь, необходимо было быть вместе, в своей, еще не распавшейся, но готовой уже распасться, полковой семье. И они пришли к себе на двор и, так как идти дальше было некуда, остановились здесь в ожидании полкового командира.

Мало-помалу вокруг этих офицеров образовалась толпа старых солдат, не раз бывавших с ними в неприятельском огне и потому чувствовавших ту общую близость, которая устанавливается между людьми, делившими вместе опасность. Эта близость позволяла теперь, не нарушая дисциплины, подойти и слушать им. Подошел тоже и «дядя»-капрал.

Ждали полкового командира.

— Идет! Идет! — послышалось наконец в толпе.

Действительно, в воротах показался видный полковник с седеющими большими усами. Знакомая тарасовцам, обыкновенно прямая, видная фигура его с гордо и смело закинутою головою казалась теперь сгорбленной; и взгляд недавно еще быстрых и оживленных глаз совсем потух. Полковник шел тихими, короткими шагами. Он был бледнее еще, чем все последние дни.

Увидев собравшихся на середине двора полковых, видимо, ожидавших его прихода, он сморщился, как от новой физической боли, и направился к ним, словно нехотя, подчиняясь необходимости сделать это.

«Ну, что ж, и эту тяжесть вынесу еще,— говорил он и всем своим существом, и видом, и взглядом,— все равно, рано или поздно, мне необходимо сказать вам».

И по одному этому его виду всем стало ясно то, что он должен сказать им.

— Все кончено,— упавшим голосом проговорил полковой командир, подходя,— генерал получил предписание. После обедни он призвал меня к себе, чтобы сказать, что нового знамени не будет нам прислано.

В Петербурге и самим генералом недовольны, и награды были даны так уж.

Полковой командир замолчал; молчали и все остальные, потому что сказать было нечего.

Участь Тарасовского полка решилась.

Наступила та тяжелая, давящая тишина, которая вдруг охватывает людей в первую минуту известия о кончине любимого и близкого человека. Все опустили голову, притаив дыхание, и только теперь, когда уже нельзя было сомневаться в том, что случилось всеми как будто ожидаемое, почувствовали, что до этой минуты они все-таки надеялись на что-то, все-таки их не покидала мысль о возможности иного исхода.

— Эх, не то больно, что придется расстаться нам друг с другом и искать, как бездомным, пристанища по другим полкам,— заговорил вдруг снова полковой командир, и голос его снова дрогнул,— не то больно, что это — беспримерный случай,— но такова воля государыни,— а то больно, что наше знамя, святыня наша попала в чужие руки, вражеские руки. Кончится война, пленных вернут, а не вернут нашего знамени. Повесят его куда-нибудь напоказ, на позор нам, и хранить будут, и десятки лет пройдут — внукам и правнукам нашим показывать будут: на, вот, смотрите, у нас, в немецкой земле, есть русское знамя. А чье оно, кто не уберег его? Тарасовцы... Вот что больно!

Полковник не мог договорить, губы его дрожали, и он закрыл рукою глаза.

В задних рядах толпы в это время произошло какое-то странное движение, и послышался говор, резко нарушивший тишину.

Полковник поднял голову.

Ряды военных расступились пред ним и прямо к нему выходил из-за них кто-то в совершенно непонятном немецком платье, почти в лохмотьях. Бледный, худой, дрожащий от холода, он трясущимися руками разбирал свои лохмотья на груди и доставал что-то, а затем, достав, подал полковнику.

Бред это был или действительность, но то, что подавали полковнику, было оторванное от древка полковое знамя. Он, не веря своим глазам, не понимая, не ожидая этой радости, больше, чем радости, больше всякого счастья,— взял его в руки. Да, это было полковое знамя тарасовцев.

— Вот оно, вот оно! — повторял бледный человек в лохмотьях, не бесплотный, благодетельный дух или гений, но совсем живой, хотя, правда, едва державшийся на ногах от усталости и болезни человек.

— Кто ты, откуда? — выговорил наконец полковник.

— Артемий Проскуровский, сержант седьмой роты,— ответил тот.

Многие свои узнали его раньше, несмотря на страшную перемену, происшедшую в нем, но в первый миг смотрели не на него, а на то, что он спас и принес каким-то чудом.

И все, от полковника до последнего солдата, чувствовали, как вдруг забилось их сердце новой, неожиданной жизнью, словно воскрес в нем мертвец, которого они готовы были уже похоронить. И, чем сильнее было их горе пред тем, тем сильнее казалась их радость.

— Что ж ты раньше, раньше? — спросил полковник, но, сейчас же поняв по виду Артемия, что тот, очевидно, лишь теперь добрался до Кенигсберга и прямо явился на полковой двор, почувствовал, что его невольный упрек неуместен, и без дальних слов обнял, а затем поцеловал Артемия. Но едва он разжал свои руки, как шею Артемия охватили другие крепкие старческие объятия.

— Голубчик, сударик, родной мой! — силился выговорить сквозь слезы старый капрал, обнимая своего сержанта.— А мы думали, что тебя и в живых нет, голубчик!

Капрал, как только появился Артемий, протискался к нему и ждал этой минуты, когда он обнимет своего сударика.

И от одного к другому стал переходить счастливый лаской стольких людей Артемий, и все находили ему новое ласковое слово, и каждый по-своему выражал свою радость.

«Что они, с ума сошли?» — невольно подумал, приостановившись, вошедший случайно на тарасовский двор молодой артиллерийский офицер, не понимая, что случилось, но, когда и ему, постороннему, рассказали, в чем дело, он подошел к Артемию и крепко пожал его руку.

VII
СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

На другой день всеобщею новостью дня было спасение знамени Тарасовского полка сержантом седьмой роты. Весь Кенигсберг только и говорил об этом, рассказывая целые истории, как все это случилось: будто бы во время битвы Артемий, раненный в голову, прикрыл знамя своим телом и тут же потерял сознание, потом, придя в себя, снял знамя с древка и дополз с ним до стога сена, в котором спрятался и провел около двух дней без пищи, боясь выйти, чтобы не встретить неприятельский разъезд. Потом он, сняв с убитого немецкого солдата мундир, переодетый явился в Цорндорф, что удалось ему, благодаря его знанию немецкого языка. Здесь он сменил мундир на лохмотья и под видом нищего, разоренного войной крестьянина, стал пробираться к Кенигсбергу, заболел по дороге, слег, но, едва только был в силах идти дальше, пошел полубольной и явился в свой полк как раз в ту минуту, когда полковой командир объявлял своим подчиненным полученное из Петербурга известие о раскассировании полка. Он спас не только знамя, но и весь полк.

Главное основание, канва этих слухов, было, разумеется, справедливо, но подробности передавались различно, и благодаря этим прибавкам и дополнениям подвиг Артемия рос в устах щедрой на преувеличение как в хорошую, так и в дурную сторону молвы. В данном случае нельзя ничего было найти дурного, и имя Артемия окружили ореолом славы героя. Наиболее близкие к нему люди, товарищи по полку, не знали, чем отблагодарить его, и старались всеми силами своею заботливостью показать ему, как они ценят то, что он сделал для них, для себя, для всего полка. Решили, что в казарме больному Артемию будет неудобно, а в госпитале — еще хуже, выхлопотали ему разрешение поместиться на частной квартире, приискали комнату у благородной немецкой вдовы Зонненширм и устроили там Артемия. Все расходы на его содержание офицеры приняли на свой счет. Сам генерал прислал ему доктора. Кроме того, стали было собирать по подписке деньги в пользу Артемия, но он от этого отказался наотрез. В полковом денежном ящике хранились его сто восемьдесят три рубля, сданные им при прибытии в полк из двухсот, полученных от князя при отъезде из Проскурова; он просил только выдать ему, на всякий случай, половину этих денег.

Как только Артемий очутился в жарко натопленной комнате Зонненширм, лег на чистое белье широкой, мягкой и удобной кровати, получил возможность есть каждый день, не стесняясь, обед и завтрак, приготовленный искусными руками доброй немки,— словом, вошел более или менее в те обычные для него когда-то условия, в которых жил с детства и которых был лишен столько времени,— перенесенные им лишения сейчас же дали себя знать, и его болезнь перешла в форму кризиса. Он слег и находился несколько дней в беспамятстве, в бреду. Но молодость, крепкая натура и старательный уход взяли свое, и Артемий начал поправляться.

Старый капрал был при нем неотлучной сиделкой. Однако выздоровление шло довольно медленно. Заботы и ласки, которыми теперь окружали Артемия, радовали его, потому что он видел теперь, что все-таки не весь свет чужой ему, и есть люди, есть даже целая семья, полковая семья, которой он близок. Но могло ли это вознаградить его за понесенную им потерю Ольги? Она, она одна нужна была ему, он все еще любил, мало того — он любил больше прежнего, и с каждым днем его тоска росла. Артемий проводил бессонные ночи, ворочаясь с боку на бок на своей постели и повертывая на разные лады свою жаркую подушку, и в продолжение этих ночей все думал и думал об Ольге, об одной лишь ней. Иногда ему становилось так тяжело, положение казалось таким безвыходным, что он хотел искусственно обратить свое выздоровление на ухудшение, сделав что-нибудь против предписаний доктора: не принимал лекарств, не ел, что чрезвычайно огорчало Зонненширм, воображавшую, что это она не умеет угодить своему постояльцу.

Раз как-то, когда ему особенно было не по себе, душевно не по себе, Артемий решил открыть окно, чтобы его охватило свежим, холодным воздухом, так как доктор предписывал ему именно не простудиться. Но только что он хотел исполнить свое намерение, как в дверь его комнаты постучали.

— Войдите! — ответил Артемий, быстро отскакивая от окна, будучи уверенный, что это или «дядя»-капрал, или кто-нибудь из полковых пришел навестить его.

Но дверь отворилась, и на ее пороге вместо капрала появилась тоже знакомая Артемию, хотя и сильно изменившаяся фигура Торичиоли.

— Вы узнаете меня? — проговорил он.

Артемий сейчас узнал итальянца, хотя тот сильно опустился, похудел; а главное — теперь его глаза беспрестанно перебегали с одного предмета на другой, как бы боясь встретить взгляд человека, с которым он говорил.

Артемий много-много раз в мечтах перебирал случаи, при которых он имел бы возможность получить хоть какое-нибудь сведение об Ольге, и мечты эти были иногда очень сложны и фантастичны, но никогда ему не приходило в голову, что он может встретиться с Торичиоли. Он как-то в этих мечтах совершенно забыл об итальянце.

Но теперь, когда тот стоял пред ним, сумасшедшие надежды зашевелились в душе Артемия. Ему, испытавшему так недавно удачу, увенчавшуюся блестящим образом, уже казалось, что чудеса счастья непрерывно посыплются на его долю (так всегда бывает) и что ничего немыслимого нет: Ольга вспомнила о нем, упросила отца, князь простил их, согласен на их брак и послал Торичиоли разыскивать его.

— Вы... ко мне... сюда? — задыхаясь от волнения, заговорил Артемий, протягивая обе руки навстречу гостю.

Торичиоли, видимо, будучи тронут его радостью и принимая ее на свой личный счет, с грустною улыбкою покачал головою.

— Ну, идите же сюда, садитесь! — продолжал Артемий, все еще радуясь и блестя глазами.

Торичиоли вошел неуверенно, как человек, привыкший к отказу, к недружелюбию, будто не веря, что его посещение может быть кому-нибудь приятно.

Артемий удивленно посмотрел на него, тут только замечая, до чего изменился старый его знакомый.

— Что с вами?.. Вы больны были?.. Вы теперь больны? — спросил он.

— Ах, что со мною, и не спрашивайте! — ответил Торичиоли.

«И голос изменился как!» — с новым удивлением подумал Артемий.

— Да и вы сильно изменились,— сказал итальянец.

— Да... я болен... но это ничего... Вы из Проскурова, вы от князя... вы давно уехали, долго искали меня?..

Торичиоли вздохнул.

— Я уехал из Проскурова почти вскоре после вашего отъезда, а потом ни разу не возвращался туда. Я был далеко.

Артемий неожиданно точно упал на землю с неба, куда, было, занесли его вдруг возникшие надежды.

— Значит, вы... ничего... не можете сообщить мне?.. что княжна... что там все?..— упавшим голосом произнес он, не сознавая хорошенько того, что говорит.

Торичиоли опустился на стул и ответил:

— Я ничего решительно не знаю о них; когда я уезжал, княжна была еще больна. Я думал, напротив, что вы имеете какие-нибудь сведения, и зашел к вам узнать.

Но по той неестественности, с которою итальянец сказал это, видно было, что пришел он вовсе не для того, чтобы узнать о Проскурове, о котором, видимо, и думать забыл вовсе. Он сам заметил это и замолчал.

Артемию стало и обидно, и стыдно самому пред собою, зачем он вдруг так обрадовался сначала, чтобы еще более внезапно быть разочарованному.

«И с чего это я взял, с чего взял?» — мысленно повторял он себе, глядя уже на итальянца, как на совсем чужого человека.

— Ах, если бы вы знали, как вы сейчас чуть не сделали меня совсем счастливым! — начал тот, и в голосе его послышалась уже искренность.— Я думал, что это вы мне обрадовались так. Послушайте: я вчера случайно заговорил с одним из русских солдат, спросил его — не знает ли он что-нибудь о вас. Это оказался солдат вашего полка, и он показал мне, где вы живете. Я сегодня шел к вам; я думал, ждал, что авось хоть вы, по старому знакомству, здесь, на чужой стороне, примете меня с радостью, и в первую минуту я думал, что не ошибся; но теперь вижу, что вы думали: не привез ли я вам каких-нибудь известий, и готовы были обрадоваться им, а не мне.

Краска покрыла щеки Артемия. Он вовсе не хотел обидеть итальянца, а между тем его разочарование было слишком сильно, чтобы он мог скрыть его, и ему стало жаль Торичиоли.

— Нет, что же...— замялся он, не зная, что ответить.— А вы, видно, после Проскурова много потерпели... испытали тяжелого...

Торичиоли быстро поднял голову и произнес:

— Неужели вы не знаете, как тяжело быть одному?

До этой минуты Артемий все еще смотрел на Торичиоли так, как привыкают люди смотреть на кого-нибудь с самого детства. Артемий почти с тех пор, как начинал себя помнить, помнил «ученого» итальянца, именно как ученого, имевшего свои определенные занятия в доме князя,

чистого, довольно аккуратного и всегда одинакового. И вдруг теперь, словно новость, открылась ему, что ведь и Торичиоли — не машина, а человек, способный чувствовать совершенно так же, как сам он, Артемий, и еще более несчастный, чем он, потому что впереди у него не было ничего — ни надежды, ни желаний. И уже совершенно другим голосом, голосом, в котором звучало участие, Артемий спросил:

— А вы давно в Кенигсберге? Как же вы попали сюда?..

— О, как я попал сюда — это еще ничего, но я не знаю, как я выберусь отсюда! Однако я, кажется, помешал вам обедать? — добавил вдруг Торичиоли, кивнув на поставленные на стол суп и жареную говядину, к которым Артемий не притрагивался.

— Нет, мне не хочется,— ответил Проскуровский.— А может быть, я могу предложить вам?

Торичиоли согласился так быстро, как это может сделать только человек очень голодный. Он придвинул к себе тарелку, налил суп и начал есть не только с удовольствием, но почти с жадностью.

— Ну, как я рад все-таки,— заговорил он, вдруг повеселев и чуть ли не одновременно поднося ко рту одною рукою ложку с супом, а другою — хлеб,— как я рад, что нашел вас! А то никого, ни души... Вы говорите, что нездоровы; но это пройдет, о, это пройдет!

— Но как же вы попали в Кенигсберг? — опять переспросил Артемий.

Тарелка с супом быстро опустела.

— Как я попал сюда?

— Разве у вас вышли неприятности с князем? Как же он отпустил вас после стольких лет службы?..

— Да, и неприятности были... вообще у меня пошло все вверх дном после того, как... как явился в Проскурово этот доктор... Да... это до вашего еще отъезда было... Впрочем, вы, вероятно, не видели его.

Торичиоли замялся, не зная, как сказать о том, что Артемий был под замком в то время.

Но тот сразу понял все. Он узнал уже, что итальянец называет «доктором» того самого человека, имя которого было неизвестно Артемию, но тайную повесть любви которого и участие в ней Торичиоли он знал.

— Ну? — сказал Артемий с нескрываемым интересом.

— Говорить все? — вдруг спросил Торичиоли, положив ложку.

Артемий смотрел на него добрым, соболезнующим взглядом.

«Неужели долгие годы вполне безупречной жизни не могут изгладить сделанный когда-то промах? — думал он, глядя на Торичиоли. И странно: чем дольше он глядел на этого человека, тем жалче казался ему тот, и помимо всего он чувствовал, что испытывает теперь к итальянцу какую-то особенную жалость.— Ничего нет мудреного — я знаю его с детства»,— заключил Артемий.

Торичиоли решительно качнул головою.

— Да, я расскажу вам все... слушайте! Вы думаете, я даром жил у князя Проскурова, в его имении, именно у этого князя, а не у другого?.. Нет, тут длинная, запутанная история... Но я вам расскажу ее... вам расскажу, потому что молчать больше не в силах...

«Я знаю ее!» — чуть не сорвалось у Артемия.

Торичиоли приостановился, как бы ожидая, что юноша хочет сказать ему что-то, но тот продолжал хранить молчание.

— Вот, видите ли, я должен вам сказать, что в Генуе, в Италии, я любил одну русскую... Нет, это слишком тяжело,— перебил сам себя Торичиоли.— Довольно вам знать, что и она, и я должны были расстаться... она не любила меня... Мы разъехались. Но я узнал, что у нее родился ребенок, м о й ребенок... мальчик или девочка,— я не знал и до сих пор не знаю... Но, странное дело, я люблю этого ребенка, люблю больше всего на свете... Да это немудрено: кроме него, у меня никого нет; родители мои отказались от меня, о них я не мог иметь никаких сведений. По всем вероятиям, они умерли. Родственников я никогда не знал. Женщина, которую я любил, не любила меня...

«Да, а меня к о г д а-т о любили»,— с болью в сердце мелькнуло у Артемия.

— Но я,— продолжал Торичиоли,— поехал отыскивать ее, для того, чтобы увидеть, узнать своего ребенка... Когда я явился в Россию, то после долгих хлопот нашел мать моего ребенка оставившею свет: она постриглась в монастыре. И знаете, каков этот монастырь был? — Торичиоли нагнулся почти к самому уху Артемия, боясь, что стены услышат его слова.— Этот монастырь был тот самый, в который ездила молодая княжна Ольга так часто, тот самый, который расположен недалеко от Проскурова. Вот почему я нанялся к князю в библиотекари и вот почему я

жил столько лет в Проскурове.— Торичиоли перевел дух, однако сейчас же, как бы боясь остановиться, продолжал: — Но, несмотря на то, что я был так близко от нее в течение всех этих лет, несмотря на все мои просьбы, мольбы, заклинания, письма и подсылы, она никогда не соглашалась не только сообщить мне, где находился мой, то есть наш ребенок, но даже видеть меня не хотела, ни говорить со мною. Я видел ее раз в монастырской церкви; она прошла мимо в своем черном одеянии. После этого она прислала сказать мне, что, если я еще раз осмелюсь явиться в церковь или вообще сделаю хотя какой-нибудь ложный шаг, она обратится к императрице, и меня вышлют из России. Я знал, что она была в силах добиться этого, и должен был повиноваться. Однако я надеялся, что она сжалится надо мною; но эта надежда оказалась вполне напрасною. Приходилось искать самому. Я давно сделал бы это, но для этого требовались большие деньги, а их у меня вовсе не было. Я копил свое жалованье, но это казалось каплею в море... И вдруг там, в Проскурове, явилось одно обстоятельство...

Торичиоли снова приостановился. В продолжение всего рассказа он ни разу не взглянул в лицо Артемия. Теперь он опустил совсем глаза.

Наступило молчание.

— Артемий Андреевич! — сказал вдруг Торичиоли, впервые в жизни называя так юношу.— Я, может быть, виноват пред вами, или, вернее, мог быть виноват... Тогда мне вдруг предложили сумму, при помощи которой я мог начать свои самостоятельные поиски, я чуть было не решился... но как раз в то время приехал в Проскурово тот странный человек, во власти которого я всецело нахожусь. Я чувствую, что он может сделать все, что захочет. Он явился под другим именем, чем я знал его, и встретился со мною, как с незнакомым; казалось, он ничего не сделал против меня, но после его появления моя жизнь резко изменилась. С князем пошли неприятности одна за другою, я должен был оставить его дом. Но я оставил дом князя, правда, с некоторою надеждою — в день отъезда мне прислали из монастыря записку. Вот она. Я знал, что и этого было много, что большего, как бы я ни добивался, не сообщат мне.

И он достал сложенную записку и подал ее Артемию. Твердою рукою на ней было написано:

«Тот, кого Вы ищете, находится в Германии. Если захотите, то нападете на его следы».

— И вы нашли его? — спросил Артемий.

Торичиоли опять отрицательно покачал головою.

— Я добрался сюда, мог существовать, пока у меня оставались еще сбережения от жалованья, потом попал в Кенигсберг, и теперь сижу здесь без ничего... продал все, что возможно...

— Но во все те годы, что вы провели у князя,— невольно возразил Артемий,— у вас должна была образоваться порядочная сумма... может быть, она ушла на поиски?

— Да, на поиски,— вздохнув как-то загадочно, ответил Торичиоли.— И если бы вы сегодня не накормили меня, то я был бы вторые сутки не евши.

— Неужели? — удивился Артемий.— Что же вы прямо мне не сказали? Если вам так нужны деньги, то я могу вам ссудить немного.

Вся история бедного итальянца и в особенности его признание в своем голоде,— не само признание, но вид искренности, с которою Торичиоли сделал его, сильно подействовали на Артемия, и он теперь от души желал помочь ему, чем мог. Он встал со своего места, подошел к кровати, вынул из-под подушки кису с деньгами, и, раздвинув кольца, высыпал в горсть золотые монеты.

— У вас есть деньги! — заговорил Торичиоли с каким-то особенным оживлением.— У вас столько есть денег! О, дайте их мне, дайте их мне все, я вам через неделю верну в десять раз больше!

Артемий более чем удивленно взглянул на него, как бы недоумевая, шутит над ним Торичиоли, за минуту пред тем говоривший, что ему есть нечего, или просто рехнулся.

— Вы смотрите на меня и, может быть, думаете, что я с ума сошел? — заговорил тот опять.— Нет, то, что я говорю вам, верно. Вот, видите ли, мне для моего дела нужны деньги; вы понимаете, что мне нужно много денег, и достать их мне необходимо... и я ищу... Вам я скажу, если вы дадите мне теперь свое золото... при его помощи я докончу опыты, которые несомненно уже удадутся на этот раз, и тайна философского камня будет в наших руках... Понимаете?

Теперь Артемию стало ясно, на какие изыскания и поиски ушли сбережения Торичиоли.

VIII

КАМЕНЬ ФИЛОСОФОВ

«Бедный, бедный человек!» — думал Артемий, глядя на итальянца, который так и уставился жадными, разгоревшимися глазами на его золото.

— Не только думаю, но уверен в этом,— ответил Торичиоли, улыбаясь в свою очередь, как человек, удивляющийся слепоте и неразумию другого.

Артемий снова сел к столу и положил деньги пред собою. Ему хотелось и помочь, и образумить бедного итальянца.

— Вспомните, Иосиф Александрович, сколько людей сошли на этом с ума, сколько жизней было загублено даром и потрачено труда! — начал он.— Это — слишком старая штука, чтобы в наше время пойматься на нее.

У Торичиоли было готово уже возражение:

— «Слишком старая штука!» «Много потрачено труда!» Вы думаете, я не знаю этого, я ничего не читал, не изучал ничего? Нет, именно потому-то, что я знаю предыдущие ошибки, и я не могу впасть в них вновь. Я нашел истинный путь и — понимаете мое положение? — теперь еще один только опыт, еще одно усилие, и завтра я — богатейший человек в мире. Завтра мне все доступно. У меня все готово, все предвидено, лишь достать денег на этот последний опыт, который, клянусь вам, должен удаться. Он не может не удаться!

Артемий пристально смотрел на итальянца, невольно удивляясь непоколебимому убеждению, с которым тот говорил.

— Вот видите ли,— продолжал Торичиоли, придвигаясь к столу и кладя на него обе руки,— прежние алхимисты настоящее и истинное превращение металлов искали в разных вещах, противных самой природе металлов. Разумеется, это было сумасшествие. Одни думали найти его в человеческой крови, в птичьих яйцах, перьях; другие брали для этого ядовитых животных, третьи хотели добыть философский камень из растений и из вина при помощи дигерировки его. Все это — вздор. Действительное превращение заключается в двух веществах: и в сере (сульфуре) и в меркурии. Они, соединенные вместе, составляют основное существо всех металлов, и из них, если совершить последовательно и аккуратно шесть степеней работы, выйдет чистое золото.

— Меркурий — это ртуть? — спросил Артемий, который вследствие ли своей болезненной слабости и впечатлительности, или целого ряда волнений, испытанных сегодня и до, и после прихода Торичиоли, чувствовал, что не может относиться к его словам с тем хладнокровным равнодушием, как вначале.

— Да,— подхватил итальянец,— меркурий есть дух и тело. Никакой металл нельзя привести в солнце,— так мы называем золото,— без помощи меркурия, но сам меркурий можно привести и в золото, и в серебро без помощи других металлов; однако все дело зависит от чистоты работы... и чтобы в ней не было ошибки...

— И вы думаете, что ваша работа безошибочна?

— Я довел ее до шестой, последней, ступени. Я говорю вам: в том-то и дело, что нужно еще одно усилие — понимаете? — последнее. Если вы придете ко мне, я покажу вам все и объясню подробности. Дайте только мне возможность кончить, и тогда вы тоже будете обладать великою тайной.

Артемий молчал.

— Артемий Андреевич! — в голосе Торичиоли послышались мольба и упрек, и настойчивое требование.— Артемий Андреевич! Подумайте только! Чего вам недостает до полного счастья в жизни? Вы любите девушку. Я знаю это и жалею вас. Таким, как вы теперь, можете ли вы рассчитывать на то, чтобы сбылись ваши тайные надежды и желания? Нет, и тысячу раз нет, потому что за вас не отдадут княжны. Ну, а представьте себе, если вы будете обладать несметными сокровищами, если золото — сыпьте его горстями — никогда не будет переводиться у вас. Тогда вам все станет доступно. Вы можете по болезни,— с деньгами все возможно,— освободиться от военной службы, уехать в Италию; там у нас можно купить хоть графский титул, и вы явитесь в Россию блестящим эчеленца — человеком, равноправным князю Проскурову.

Артемий глубоко вздохнул. Перспектива, которую рисовал Торичиоли, была слишком заманчива. Она могла поколебать кого угодно.

«А что если и впрямь попробовать? — подумал он.— Что ж, куда мне эти деньги?.. А вдруг и в самом деле!»

— Вы подумайте! — подхватил Торичиоли, заметив колебание Артемия.— Подумайте только, я хочу вас сделать счастливым человеком в мире, а вы сомневаетесь. Я помимо вас, может быть, найду возможность кончить свои опыты, и тогда... Что вы будете чувствовать тогда? Пожа-

лев эти несчастные деньги теперь, вы теряете в будущем свое счастье.

— Я денег не жалею. Что ж деньги...— проговорил Артемий.

— Ну, так тогда дайте мне их! Я вам говорю, что ваше счастье зависит теперь от вас самих, и если вы упустите случай...

Артемий встал со своего места и заходил по комнате. Мысли его беспорядочно бежали в голове одна за другою.

«Неужели действительно было возможно то, что сулил Торичиоли? Ведь это — сумасшествие. Но вместе с тем разве даром столько людей, и в числе их были люди умные, ученые, занимались этим открытием? И вдруг в самом деле секрет в руках итальянца?»

— Да, возьмите! — решил вслух Артемий.— Возьмите эти деньги, мне не жаль их!

Торичиоли затрясся от радости.

— О! — воскликнул он.— Я не благодарю вас, потому что завтра, самое большое — послезавтра вам придется благодарить меня; вы это увидите, вы это увидите...

И, говоря это, итальянец поспешно, словно боясь, что Артемий раздумает и изменит свое решение, забрал деньги, схватил шляпу и выбежал из комнаты.

После его ухода молодой человек долго стоял неподвижно, напрасно силясь привести в порядок свои спутанные мысли. Прежде всего его поражала одна странность: во второй раз в жизни, в самый тот момент, когда он решался на отчаянный шаг — как тогда в лесу и как теперь, когда он подошел к окну, чтобы открыть его и высунуться на холодный воздух,— пред ним явилась неожиданная помеха, и эта помеха была связана с историею Торичиоли. Это было странно. Впрочем, он не останавливался долго на этой странности. Артемий не мог понять, что ни у кого не работает воображение так, как у влюбленных. А сам он был влюблен и, будучи только что натолкнут на новый путь мечтаний, неудержимо понесся своим воображением, которому, чтобы разыграться, нужно было лишь прицепиться к чему-нибудь. А тут было на чем фантазировать. А вдруг и правда он будет обладать такими сокровищами, что целый мир можно купить на них? Ведь это — могущество, огромное могущество... да, тогда все возможно... И как этот итальянец вдруг так хорошо придумал купить графский титул, явиться в Россию!.. Нет, быть этого не может... А отчего не может быть... ведь спас же он знамя... и все его полюбили и все любят его. И Артемий лю-

бил себя в эту минуту и свою Ольгу, и в его мечтах она любила его, и они были счастливы.

Навестивший вслед за тем Артемия доктор нашел, что его здоровье значительно улучшилось, и велел ему принять еще последнего лекарства, которому он, разумеется, приписал перемену здоровья своего пациента, не подозревая, что больному стало лучше от того, что изменилось его нравственное состояние. Артемий действительно повеселел потому, что ему была дана теперь надежда, хотя, правда, безумная, почти сумасшедшая, но все-таки надежда.

На другой день он ждал Торичиоли с нетерпением. Но тот не явился. Прошел еще день, а итальянец не приходил. Артемий начал беспокоиться. Он поздно вспомнил о том, что не спросил у Торичиоли, где того можно найти. Теперь приходилось ждать — и только. Это ожидание становилось несносно. Наконец на третий день, утром, принесли записку, в которой итальянец сообщал свой адрес и говорил, что все идет превосходно и чтобы Артемий не беспокоился.

Молодой человек упросил доктора выпустить его и в первый же свой выход, обманув «дядю»-капрала, который хотел прийти, чтобы проводить его на прогулке, отправился один к Торичиоли.

Когда он попал к итальянцу, когда тот показал свою комнату, превращенную в лабораторию, показал ему результаты первых опытов, развернул книги и, все время рассказывая, читал из них выдержки, когда наконец пред глазами Артемия воочию затеплился огонек под ретортой, в которой должно было совершиться таинственное превращение, мысли его при виде всего этого окончательно спутались, и он оказался побежденным, совсем перешедшим на сторону алхимии.

С этих пор, сжигаемый лихорадкой нетерпения, Артемий каждый день спешил в лабораторию, помогал, чем мог, Торичиоли, толок, растирал и слушал уже слова итальянца, как слова оракула.

Удивительно, откуда брались у него силы, но он чувствовал себя уже бодрым и почти здоровым.

Особенное действие произвели на него книги. Там казалось все так правдоподобно, ясно изложено, хотя и очень туманным языком, но все-таки ясно, если только найти ключ к пониманию. Артемий с нескольких слов Торичиоли уже считал себя обладателем этого понимания.

Первых денег, данных им для опытов, разумеется, не хватило. Шестая степень работы оказалась самою сложною. Для нее понадобился особенный сосуд и еще, и еще расходы. Артемий (не прошло и десяти дней занятий его алхимией) снова обратился с просьбою о выдаче ему из его денег пятидесяти рублей. Но теперь это уже не смущало его. Торичиоли поддерживал в нем, как огонь под своей ретортой, уверенность и надежду на золотые горы в будущем.

Наступил конец октября. Снег еще не выпадал, но становилось уже холодно. Артемий шел вечером домой от Торичиоли, кутаясь в свой теплый плащ и будучи тревожим тем же чувством ожидания, которое жило в нем все последнее время, ожиданием, что, может быть, завтра появится в реторте обещанный книгами синий дымок, так нетерпеливо ожидаемый и долженствующий служить признаком окончания работы.

Артемий сам не заметил, как быстро заразился своим увлечением и какие глубокие корни оно пускало в нем с каждым днем, с каждым часом.

Вернувшись домой, он застал Зонненширм, против обыкновения, не спящею. В ее комнате горел огонь. Она, очевидно, слышала, как он пришел, и сейчас же постучала к нему в дверь.

— Я вас ждала,— ответила она на вопрос Артемия, отчего она не легла и здорова ли она.— О, да, я совсем здорова, я вас только ждала!

— Что же, есть какие-нибудь новости?

— О, нет! Господин капрал заходили и очень жалели, что вас опять дома нет... Но главное: вам письмо принесли.

— Какое письмо? Кто принес? Господин капрал принес?

— О, нет господин капрал были раньше, а письмо принес совсем другой человек! Он был совсем закрыт своим плащом, и лица его я не видела.

— Где же это письмо?

— Вот оно, вот оно,— и Зонненширм достала из кармана передника сложенную в письмо бумагу.

Артемий прочел адрес, написанный совершенно незнакомой рукою. Тем не менее это был его адрес, и полное его имя и даже воинское звание были обозначены совершенно ясно на немецком языке. Письмо было запечатано странною печатью, на которой виднелось кольцо, образо-

ванное из змеи, кусающей свой хвост, а в средине кольца была пентаграмма с обращенною кверху вершиной.

Зонненширм, отдав письмо, заявила, что пойдет теперь спать, потому что ей это очень хочется, и ушла.

«От кого бы это могло быть?» — подумал Артемий, распечатывая письмо.

Оно заключало в себе всего несколько строк на немецком языке.

«Если хотите увидеться с человеком, с которым Вы беседовали несколько времени тому назад в Проскуровском лесу, то будьте 3 (14) будущего ноября, к восьми часам вечера, по следующему адресу».

Вместо адреса на письме был изображен план улицы, где жил Артемий, и от его дома стрелкою показан путь, куда ему следовало идти.

Вместо подписи стояли три латинские буквы: «C. S.-G.».

IX
ТРЕТЬЕГО НОЯБРЯ

«Если хотите видеть человека, с которым Вы беседовали...» — повторял себе Артемий, не сомневаясь в том, что он безусловно непременно хочет увидеть этого человека, и радуясь, что может увидеть его.

Помимо того, что это свидание само по себе было заманчиво, но была еще возможность узнать, может быть, что-нибудь об Ольге. Этот человек был тогда в Проскурове, значит, он мог быть там и впоследствии, и недавно, пожалуй, очень недавно.

«Не нужно увлекаться... не нужно увлекаться»,— тут же останавливал себя Артемий, помня появление Торичиоли.

Во всяком случае письмо не возбудило в Артемии никаких подозрений, ни сомнений, что это, может быть, ловушка ему; он сразу решил, что все на самом деле так, как оно есть... Его таинственный покровитель (в душе почему-то незнакомец представлялся Артемию таинственным покровителем) просто приехал в Кенигсберг, узнал так же, как Торичиоли, где он живет, и прислал ему приглашение. Проще этого быть ничего не могло.

Конечно, вернее всего, что он только что приехал в Кенигсберг, потому что, если бы он жил здесь давно, то не назначил бы прийти Артемию только через несколько еще дней — 3-го ноября. Да, он приехал, но откуда? Оче-

видно, из России, потому что сообщение с Германией было прервано неприятельскими войсками, непосредственно оттуда почти было невозможно попасть. Значит, он явился из России и мог быть в Проскурове... и был там, без сомнения был, потому что монастырь, где пострижена эта русская, которая была когда-то дорога и ему, и Торичиоли, расположен возле.

Все эти соображения сильно занимали Артемия. К тому же доктор посадил его опять дня на три дома безвыходно, найдя, что ему еще нельзя бывать так часто на воздухе, пока он совсем не оправится. И Артемий послушался его. Он покорно высидел три дня дома, взяв только с Торичиоли обещание, что тот пришлет ему сказать, если будут какие-нибудь новости в реторте.

Однако новостей никаких не оказалось, и Торичиоли ничего не присылал.

Когда доктор выпустил снова Артемия, тот первым делом отправился не к итальянцу, как этого следовало ожидать, но туда, куда показывала стрелка на плане в письме. Ему хотелось хоть посмотреть сначала дом, куда его звали, и он пошел, питая, однако, тайную надежду, что вдруг по дороге или у двери как-нибудь случайно может встретиться со своим незнакомцем.

Дом, который отыскивал теперь Артемий, находился на острове, посреди Прегеля, в самой старинной части Кенигсберга — Кнейпгофе, и был одним из узеньких семиэтажных домов, которые вполне сохраняли на себе средневековый характер. Найти его было нетрудно по ясному обозначению стрелки на плане. Нужно было миновать собор, пройти здания университета и свернуть на улицу, стесненную, как тисками, строгими каменными домами-старцами под остроконечными кровлями, похожими на поднятый капюшон капуцина. Все в этом квартале дышало преданием и стариной.

Артемий нашел дом и довольно долго оставался пред ним, ожидая, не выйдет ли кто-нибудь или не войдет ли в него. Но маленькая дубовая дверь оставалась безмолвно запертою и никакого признака обитаемости не было заметно в доме. Любопытство Артемия было задето. Он решил постараться навести какие-нибудь справки.

На противоположной стороне улицы, под качающеюся ржавою железною вывеской, была лавочка. Артемий обратился туда. Толстый лавочник в бумажном колпаке оказался очень словоохотливым добрым немцем и готов был рассказать не утаивая все, что знал, но, к сожалению, его

сведения были довольно ограничены. Он мог сообщить лишь, что этот дом принадлежит доктору Шенингу, что сам доктор не живет в Кенигсберге и бывает тут очень редко и что в настоящее время — он это знает наверное — доктор еще не приезжал.

— Но есть все-таки кто-нибудь, кто живет в этом доме? Ведь не пустой же он стоит все время? — спросил Артемий.

Лавочник опять очень обстоятельно объяснил, что, насколько ему известно, в доме живет старый слуга, который почти никогда не выходит — разве в церковь по праздникам — и который, по всему судя, должен быть очень почтенным человеком, хотя и не покупает ничего в его лавке; впрочем, в других лавках он тоже никогда не покупает, знакомства ни с кем не заводит, у себя никого не принимает и сам никуда не ходит, даже в пивной погребок, где собирается лучшее общество околотка и ведется всегда очень интересная беседа о политике. Больше лавочник ничего не знал, а потому и сообщить ничего не мог.

Все это очень мало подвинуло Артемия вперед.

«Да и Торичиоли называл его тоже доктором»,— соображал он, возвращаясь домой, и это все-таки немного успокоило его.

О получении письма он никому не сказал — ни капралу, ни Торичиоли. Однако итальянец заметил, что его молодой ученик как будто охладел к их опытам алхимии, но думал, что это временно и что причиной этому нездоровье Артемия. Тот между тем с нетерпением ждал, когда наступит 3 ноября.

Накануне он опять заходил в лавочку узнать, не приехал ли доктор, но ничего положительного лавочник не мог сказать.

Наконец ожидаемый день наступил, и Артемий уже задолго до восьми часов следил за стрелками на большом циферблате часов, висевших в его комнате. Ему казалось, что они двигались очень медленно. Было еще четверть восьмого, когда Артемий решил, что пора идти, потому что в письме было сказано не «в восемь часов», а к восьми (он знал уже наизусть это письмо). Он закутался в свой плащ и необыкновенно скорыми шагами, чуть ли не бегом, добрался по знакомой уже дороге до дома доктора Шенинга. Долго впоследствии помнил Артемий то охватившее его вдруг чувство, с которым он, с сильно бьющимся сердцем, брался за молоток у маленькой дубовой двери. Она отворилась совсем без шума, чего вовсе нельзя было ожидать,

судя по ее ржавым, на первый взгляд, петлям. На пороге явилась длинная, худая фигура старика слуги, о котором рассказывал лавочник. Слуга держал в руке, приподняв ее, масляную лампу, освещавшую его худое, продолговатое лицо. Карие, живые глаза старика так и впились, казалось, в Артемия.

— Дома... можно видеть? — спросил Артемий, избегая однако называть имя того, кого ему нужно, потому что не был уверен в нем.

— Вы пришли к доктору Шенингу? — спросили его, именно спросили, потому что голос старика казался так тих, словно другой кто-то и где-то далеко спрашивал за него.

— Да... то есть я не знаю,— замялся опять Артемий.— У меня вот письмо...— и он вынул письмо из кармана.

Старик бегло глянул на печать.

— Пойдемте! — сказал он и повел Артемия вверх по каменной лестнице.

Дверь как бы сама собою захлопнулась за ними.

И вдруг, когда захлопнулась эта тяжелая дверь, Артемию стало жутко, и сердце его сжалось. Несмотря на то, что они шли не вниз, а вверх по лестнице, ему казалось, что они точно спускаются в подземелье. Воздух был сух и пропитан каким-то особенным запахом, не похожим на курение, но, несмотря на это, скорее приятным, чем нет.

«Спросить его или не спросить?» — думал Артемий, медленно перебирая ступени за стариком и чувствуя неудержимое желание заговорить.

— А что доктор приехал? — решился спросить он.

— Графа еще нет в Кенигсберге,— вдруг ответил старик.

Артемий остановился.

— Какого графа? — невольно вырвалось у него.

Он не знал теперь, идти ли ему дальше.

Старик не спеша обернулся к нему, все по-прежнему высоко держа свою лампу, и Артемий опять услышал его сдавленный, тихий голос:

— Вы в доме графа Сен-Жермена. Для тех, кто там,— старик показал на улицу,— граф — доктор Шенинг; для тех, кто может войти сюда, он — граф Сен-Жермен.

Артемий понял теперь значение латинских букв «C. S.-G.», стоявших на подписи письма: «Comt Saint-Germain».

«Но как же я пойду дальше, если его еще нет в Кенигсберге?» — сообразил он.

— Граф приедет в девять часов,— ответил старик, как бы поняв его мысли, и, миновав еще несколько ступеней, открыл дверь в освещенную комнату, где послышался сдержанный говор.

«Там есть кто-то!» — удивился Артемий и мимо остановившегося старика смело вошел в комнату.

В этой убегавшей кверху своими готическими сводами комнате, освещенной семью восковыми свечами в стоявшем на столе канделябре, вокруг этого стола на старинных тонких деревянных стульях сидело несколько молодых русских военных.

Этого Артемий никак уже не ожидал. Он готовился встретить здесь все, что угодно, но только не те русские лица и русские мундиры, которые увидел теперь здесь. И ошеломленный, ничего не понимающий Артемий остановился в нерешимости, подойти ему к столу или нет. Он был сержант, остальные — офицеры.

Последние замолкли при его появлении. Они, казалось, были удивлены не менее его. Наконец один из них встал, подошел к Артемию и, взяв его за локоть, подвел к столу.

— Это — тот самый сержант седьмой роты Тарасовского полка, который спас полковое знамя,— проговорил он улыбаясь, причем так и сверкнули жемчугом его ровные, белые зубы, и, потянув слегка за локоть Артемия, заставил его тоже сесть.

«Где я видел его?» — вспоминал Артемий, вглядываясь в красивое, с высоким, умным лбом и ясными глазами, лицо офицера.

Осанистая фигура последнего дышала здоровьем и силою. Ее, казалось, увидав раз, трудно было забыть.

И Артемий сейчас же вспомнил, что это был тот артиллерийский офицер, который подошел к нему с приветствием на полковом дворе, когда ему посчастливилось вернуть знамя.

Кроме артиллериста, к которому Артемий почувствовал уже безграничную и безотчетную симпатию, он знал из всех присутствующих, и то только по фамилии, одного Пассека, бывшего начальника «дяди»-капрала, который относился всегда к нему с крайним уважением. Остальные все были незнакомые.

Артемий скромно присел к столу. Офицеры заговорили снова.

Из их разговора сейчас же стало ясно, что они находились в совершенно таком же почти положении, как Арте-

мий, то есть известно им было тут немногим больше, чем ему.

— Да, и никак я не ожидал,— заговорил Пассек (его голос был удивительно внятен и звучал раздельно-приятно),— чтобы доктор Шенинг, с которым мне приходилось так часто беседовать в прошлый его приезд сюда, оказался знаменитым графом Сен-Жерменом.

«А-а! — подумал Артемий.— Он — знаменитый, вот как!»

И ему страстно хотелось узнать поскорее, чем был знаменит этот странный человек, у которого они все сидели пока в гостях без хозяина, но он не решился спросить.

— А ты бывал у него здесь? — обратился к Пассеку артиллерийский офицер.

— Нет, собственно, у него в доме я в первый раз, потому-то я и говорю, что никак не ожидал: только на лестнице сейчас этот старик с тихим голосом сказал мне, что я в доме графа Сен-Жермена.

«Вот как и мне тоже!» — опять подумал Артемий.

— И мне тоже,— ответил артиллерист,— только сегодня, когда я пришел сюда, этот старик сказал, что я в доме графа Сен-Жермена, а не доктора Шенинга, как я думал прежде.

— А ты как же познакомился с ним?

— Ах, это — целая история! Я только знаю, что я многим обязан этому человеку, почти жизнью обязан.

— Ты, однако, никогда не говорил об этом,— заметил Пассек.

— И никогда не скажу: довольно того, что говорю только, что, чего бы он ни потребовал от меня, я, кажется, все сделаю для него.

— И я, и я все сделаю,— заговорил, вдруг воодушевляясь, еще один из присутствующих.— Что ж? Я могу рассказать, раз мы все здесь соединены одним и тем же человеком, одинаково для нас симпатичным. В прошлом году,— мы стояли тоже здесь, в Кенигсберге,— скучища была страшная — делать нечего, а по-немецки я только теперь кое-как говорить научился, а тогда просто деваться было некуда — все свои да свои полковые. Повадился я тогда в один дом ходить в кости играть; один из товарищей по полку свел. В игорный дом, должно быть, мы с ним попали. Начал я, разумеется, по маленькой, потом больше и больше. Сначала выигрывал, а как только сделал ставку покрупнее, сорвали ее у меня; я еще — и еще сорвали. А потом и пошло. Все деньги, какие были у ме-

ня, проиграл — вещи продавать начал. Нет счастья, да и все тут. Как на грех, пришлось мне заменить казначея в полку... Ну, тут рискнул я из денежного ящика попробовать, рискнул и ахнул, что я наделал. «Ну,— думаю,— все равно пропадать — авось отыграюсь». Отыгрался, как же! Мне на другой день кассу сдавать, а в ней всего одна сотня осталась. Никогда в жизни не забуду, что я тогда пережил, одно оставалось — зарядить пистолет; другого выхода не было. «Только дай,— думаю,— последнюю уж сотню снесу»,— и понес. Я уже знал, что проиграю это, так и шел с тем, и надежды даже на выигрыш не имел. Ну, разумеется, и последняя сотня к остальным пошла. Вышел я на улицу, чувствую — лица на мне нет; в висках стучит, голова кружится... Домой возвращаться и думать нечего... заряженный пистолет со мною...

Ну, тут я в первый раз и встретился с доктором, то есть с графом... Он следил за мной, подошел, это на улице-то, заговорил,— Бог его знает, откуда все уже известно ему было,— и взял с меня слово, что я никогда в жизни больше, если останусь в живых, играть не буду. А как я мог в живых остаться? «Денег,— говорю,— ни от кого не возьму, ни от вас, ни от кого, чтоб за меня другой внес в кассу, а самому мне платить нечем». Однако он ничего не ответил, а повел меня назад в этот игорный дом. Там игра в полном разгаре шла, словно никто и не заметил моей-то погибели. Золото грудами на столах лежит, дым от трубок — не продохнешь; свечи догорели и воска на них натекло. А лица кругом красные, изуродованные тем особенным выражением, когда человек в азарт войдет, и глаза у него кровью нальются,— словом, все, как будто я и не проигрывал, и не уходил вовсе... Сели мы. Я смотрю, что делать будет мой Шенинг. Сидит он молча, а глаза такие страшные-страшные, и все на стол смотрит. Как увидел я опять, как это золото звеня из рук в руки переходит, так сердце у меня и захолонуло. «Господи,— думаю,— и зачем я вернулся, поверил какому-то встречному? ничем он мне не поможет. А вот поставить бы... Оглянулся, а встречный-то мой уже не на стол, а на меня глядит, и глаза все такие же,— кажется, в самую душу смотрят... Вспомнил я слово свое, и стало мне легче... Так выдержал Шенинг меня до конца вечера. Трудно мне было побороть себя, однако я совладал, начал трезветь. Банкомет ко мне раза два обратился — не желаю ли я поставить? — я промолчал. Только вижу, один от стола ушел — проиграл, другой... Было тут наших немного, остальные — нем-

цы, молодые все, студенты больше... Все проиграли... Я-то уж знал по себе, каково им теперь. Наконец почти все ушли — остались мы двое, банкомет да еще двое игроков. Мне со стороны заметно уже было, что они ни в чью сыграли. Банкомет опять спрашивает: «Что ж, счастья не хотите попытать? Может быть, отыграетесь?» Я смотрю на Шенинга. А он уже раньше у меня спросил, сколько я проиграл. Подошел он к столу: «Идет,— говорит,— восемьсот шестьдесят талеров». Банкомет рот разинул, попросил деньги на стол. Шенинг не поморщившись вынул деньги, однако заставил и банкомета положить. Я сижу чуть живой, уж мне и свет не мил — только свой пистолет крепче сжимаю. Кинул Шенинг кости — вышло четыре и три. Семь очков — шансы есть. Банкомет побледнел слегка, когда взял кости в руки, бросил их в стаканчик — одна мимо упала, он ее поднял, опять положил — перевернул стакан... смотрю: шесть и пять — одиннадцать... И все у меня спуталось, в глазах потемнело... Вдруг слышу удар — Шенинг по костям кулаком ударил и расколол одну. Такой силы я в жизни не видывал... раскололась кость — а внутри ее свинцовый уголок... Это меня на фальшивых костях обыграли... В первую минуту остолбенели все, потом и банкомет, и эти два игрока, оставшиеся, кинулись к Шенингу... Я только тогда понял, что эти игроки— все одна компания. Ну, Шенинг так отшвырнул их от себя, что больше не полезли. Велел он мне банкометовы деньги взять, сказав: «Они — ваши, потому что были у вас украдены»,— а своей ставки со стола не тронул... Так и ушли мы...

Артемий слушал и невольно вспоминал свою историю, вспоминал, как сам тоже был спасен, но только спасен, правда, для того, чтобы продолжились его мучения.

Когда рассказчик кончил, заговорили другие, и у всех у них была своя история, и всякий из них был так или иначе обязан графу Сен-Жермену, который являлся к ним под именем доктора Шенинга. Оказалось также, что все за несколько дней пред тем, подобно Артемию, получили такие же, как и он, письма — прийти к восьми часам, и каждому старик-слуга говорил, что в девять приедет граф, которого еще нет в Кенигсберге.

В комнате, в простенке между двумя окнами, висели устроенные в виде фигурной готической башни часы. Их узорные стрелки подходили уже к назначенному сроку.

— Однако скоро девять,— сказал Пассек,— не знаю, приедет ли граф.

— Да и вообще, если его нет в Кенигсберге, то довольно странно назначать так время,— заметил кто-то.— Тут и в дне можно ошибиться, когда именно приедешь, а уж в часе и подавно. Шутка ли сказать, из Парижа сюда приехать!

— А разве он в Париже?

— Кто? Граф Сен-Жермен? Конечно! Он там играет видную роль в обществе.

— Ну, тогда немыслимо, чтобы он явился сегодня — ведь ему нужно через неприятельскую армию проехать, потом к нам... Нет, это почти невозможно... нам придется разойтись сегодня... вы увидите...

— Да, но этот человек полон загадочности; это именно в его духе,— сказал опять Пассек,— и мне кажется, если он сказал...

— Да, но ведь против обстоятельств не пойдешь, нужно им подчиниться.

— Ну, в этом отношении, кажется, не он подчиняется обстоятельствам, а они — ему...

В это время вошел старый слуга поправить огонь, приветливо теплившийся в большом камине.

— Спросить разве его? — продолжал Пассек, кивнув на присевшего у камина слугу.

— Разве он скажет? Он имеет вид какой-то машины и, кажется, далеко не разговорчив. Да все равно, ведь немыслимо приехать... смотрите, пять минут осталось только...

Они говорили по-русски, уверенные, что копошившийся у огня человек не понимает их.

— Граф будет ровно в девять часов,— ответил вдруг он не поднимаясь, хотя и с трудом, но на правильном русском языке.

Все переглянулись и притихли. Один только старый слуга продолжал по-прежнему возиться у камина, как будто дело вовсе не касалось его и вовсе не он произнес свою русскую фразу.

Мерно и гулко раздался первый удар часов — и с этим первым ударом послышались на улице грохот подъехавшей на полных рысях кареты, а потом стук молотка в наружную дверь.

«Быть не может!» — мелькнуло у всех разом.

Но старик-слуга спокойно поднялся и, не ускоряя шага, пошел открывать дверь.

Только что смолкли мерные удары часов,— на пороге комнаты стоял граф Сен-Жермен.

X
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Никогда в последнее время не чувствовал себя Артемий так хорошо, как после вечера, проведенного у графа Сен-Жермена. Он вернулся домой почти совершенно другим человеком. И главное, ничего не произошло особенного в этот знаменательный для Артемия вечер. Они сидели и разговаривали просто, как приятели, давно знавшие друг друга, хотя многие здесь встретились в первый раз. Граф очень умно распорядился, пригласив их раньше своего приезда: пока они сидели одни и говорили о нем, они успели уже настолько сблизиться, что, когда он приехал, не могло явиться того неестественно напряженного состояния, которое бывает обыкновенно у людей пред незнакомыми им до тех пор гостями. Несмотря на свою вероятную усталость после дороги, граф был также спокоен и весел, как будто ездил лишь кататься по городу. Впрочем, он ничего не рассказывал о себе — ни откуда, ни как он пробрался в Кенигсберг. Кто-то мельком спросил его об этом, он сделал вид, что не слышал. Граф был очень приветливым, милым хозяином, принявшим своих гостей с особенною вежливостью, которою отличались люди, если не выросшие, то по крайней мере вполне обжившиеся в условиях парижского двора. Он угостил их простым, но вкусным ужином, накрытым в конце вечера на том же столе, вокруг которого они сидели. И они разошлись сытые, довольные, ощущая в себе сознание прекрасно проведенного времени.

О чем именно говорили они там, Артемий не мог помнить последовательно. Разговор был общий, говорили все. При этом все было не только очень интересно, но, главное, искренне, правдиво и душевно. Большинство были такие же молодые, как Артемий, люди. Они ему все очень понравились, но особенно симпатичен показался молодой артиллерист, назвавший Артемия остальным, когда тот пришел и не знал, как ему быть. Когда уходили от графа, Артемий постарался не выпустить из вида этого офицера и на улице, догнав его, робко и нерешительно спросил его имя, чтобы познакомиться ближе. Офицер добродушно взглянул на него и, нисколько не стесняясь его сержантским мундиром, ответил со своею приятною улыбкой:

— Зовут меня Орлов, Григорий Григорьевич... будемте знакомы...

И он протянул Артемию руку.

Только вернувшись к себе, Артемий мало-помалу стал припоминать отрывки разговора и приводить их в ясность. Целый вечер он ждал удобной минуты, чтобы спросить потихоньку у графа, не имеет ли тот каких-нибудь сведений из Проскурова, но в продолжение всего вечера Сен-Жермен ни разу ни с кем не заговорил отдельно, все время чрезвычайно искусно ведя общий разговор и всегда обращаясь ко всем вместе сразу. О своем, о частном деле Артемию заговорить было неудобно.

Теперь, когда речи графа, казавшиеся сначала отрывочными, вспоминались Артемию и комбинировались, у него создавалась стройная система совершенно новых для него положений.

«Бог создал человечество,— так говорил Сен-Жермен или, вернее, так вспоминал его речи Артемий,— но каждое отдельное существо в этом человечестве должно создать самое себя... Создать самое себя — вот сущее призвание человека. Но для этого созидания необходима победа над своею телесною природою. Умей победить ее, и ты будешь владеть всем, чем захочешь. Страсти человека ведут его к погибели, но на то дан ему разум, чтобы он победил их, и тогда они послужат ему путем к благу. Эти страсти даны нам не на погибель, а на благо, поэтому не говори: «Я — человек, а человек слаб, и ему свойственно увлечение». Нет, удовлетворение своих страстей приятно, но оно греховно, и не для того тебе в жизни дан соблазн, чтобы ты, удовлетворив его, получил приятность и впал в грех, а для того, чтобы ты устоял против соблазна, выдержал испытание и стал лучше. Не будь у людей этого испытания, не было бы у них пути к самоусовершенствованию, к тому, чтобы они могли стать лучше, чтобы они делали хорошее. А если бы человек был лишен возможности делать хорошее, то не был бы в состоянии достичь блага».

«Все это хорошо»,— думал Артемий, но все-таки ему чрезвычайно хотелось узнать хоть что-нибудь об Ольге.

Граф Сен-Жермен должен был иметь сведения о ней. Артемий уверился в этом, еще когда собирался идти к нему, и теперь эта уверенность не оставляла его. Но что же было делать, если, как нарочно, словно угадывая его желания, но не желая исполнить его, граф избегал заговорить с кем-нибудь отдельно? Артемий успокаивал себя тем, что время еще не ушло и что можно будет пойти

к графу, постараться застать его одного и спросить прямо и откровенно обо всем. Это было и просто, и вполне возможно. И Артемий долго не мог заснуть в эту ночь, обдумывая, как и когда пойти лучше к графу.

«А вдруг он уедет? — словно молотком ударило его, и он тотчас же сказал себе: — Нет, нечего откладывать — завтра же, рано поутру, как встану, пойду к нему».

И он, в сущности, остался очень доволен, что нашел причину, чтобы, не откладывая, удовлетворить свое нетерпение.

На другой день утром, только что встав, Артемий быстро оделся и так же, как вчера, отправился в узкую улицу за Прегель. Когда он шел и когда, придя к знакомому дому, стучался в его дверь, он боялся одного: а вдруг Сен-Жермен уже уехал сегодня в ночь? Но вчерашний старик открыл ему дверь и, нисколько не удивившись его приходу, потому что, казалось, ничему не удивлялся в жизни, сообщил Артемию, что граф у себя, и провел его не в верхний этаж, как вчера, а ниже, в небольшую комнату, обшитую дубовыми, почерневшими от времени, досками, и сказал, чтобы Артемий подождал здесь.

Старик ушел беззвучными, такими же, как его говор, шагами, и Артемия охватила та особенная внушительная тишина, которая обыкновенно царит в старинных домах, не пропускающих сквозь свои толстые стены никаких звуков извне. И вдруг в этой тишине послышался голос, который Артемий сейчас же узнал. Это говорил граф Сен-Жермен.

— Какие же еще новости у вас? — спросил тот.

Артемий оглядевшись понял, что направо от него, вместо стены, деревянная переборка и что говорили по ту ее сторону.

— Еще есть сведения об итальянце, который интересует вас,— ответил за переборкой чей-то совсем незнакомый Артемию голос.

— Торичиоли? — спросил Сен-Жермен.

— Да.

Артемий вздрогнул. Ему было чрезвычайно интересно знать, что будут говорить про Торичиоли, но вместе с тем чувство стыда, что он, хотя невольно, но все-таки подслушает то, чего, может быть, при нем и не говорили бы, заглушало в нем его любопытство.

Он двинулся и кашлянул нарочно громче, чтобы дать знать о себе.

— Так какие же сведения? — продолжал граф, видимо, не обратив внимания на кашель Артемия, не слышать которого он, очевидно, не мог.

— Он уже третий месяц в Кенигсберге.

— Чем он занимается?

— Все тем же.

— Составлением эликсиров?

— Нет, теперь пошел дальше — вдался в алхимию.

— Понимает что-нибудь?

— Не более тех сумасшедших, которые в средние века теряли здоровье, состояние и самое жизнь в поисках философского камня. Он доведен теперь до полной нищеты, но, по всей вероятности, не образумится: такое сумасшествие развивается обыкновенно прогрессивно и перейдет в форму совершенной некромантии, а тогда его дни сами собою будут сочтены.

Артемий почувствовал капли холодного пота у себя на лбу: Торичиоли — сумасшедший... значит, и он сам, тоже чуть было не увлекшийся,— на дороге к полоумию!..

За переборкой водворилось молчание.

— Он должен жить,— как бы после некоторого раздумья протянул голос Сен-Жермена,— он в душе — человек недурной, только неспособный владеть своими страстями... При этом у нас есть с ним личные счеты. Я должен спасти его...

Теперь Артемий уже чуть дышал, весь обратившись в слух и внимание.

— Что же делать с ним? — спросил тот, другой, незнакомый голос, и в нем слышалась полная готовность повиноваться.

— Мне нужно, чтобы обстоятельства Торичиоли поправились и чтобы он через некоторое время уехал в Петербург; там уже будут даны инструкции, как задержать его.

— И скоро он должен быть там?

— Все равно; хотя бы к концу этой зимы.

— Вы мне дадите приказание, как действовать, или я должен буду сам найти путь?

— Нет, Торичиоли прежде всего должен излечиться от своего безумия. Вы найдете возможность внушить ему это. Потом он может сделать открытие взрывчатого вещества для применения его к военным целям. Я вам дам неизвестный еще никому рецепт, который составит это открытие Торичиоли. Со своим секретом он обратится здесь в канцелярию главнокомандующего, чтобы получить при-

вилегию и деньги. Его отошлют в Петербург, где затянется рассмотрение его проекта настолько, насколько мне нужно...— и вслед за этим за переборкой послышалось, как звякнул полный монетами кошелек.— Это на расходы по этому делу,— добавил Сен-Жермен.

— А относительно молодого сержанта? — спросил другой голос.

— О нем я позабочусь сам... Впрочем, он рядом и, вероятно, слышал все, что ему следовало.

Эта последняя фраза, относившаяся уже непосредственно к Артемию, оказала на него действие разорвавшейся вдруг пред ним бомбы. Голова его закружилась и в мыслях потемнело. Должно быть, собеседник графа спросил его еще что-то, потому что он ответил:

— Нет, во-первых, он не расскажет, я знаю его, а, во-вторых, если бы он и стал рассказывать, сам Торичиоли будет слишком доволен своим открытием и не поверит ему; а там, где нужно, сочтется это сплетней.

Вслед затем голоса замолкли.

Артемий стоял не двигаясь: как поднес руку ко лбу, закрыв ею глаза, когда услышал такой уверенный приговор себе и Торичиоли о сумасшествии, так и остался недвижимый. Наконец, сделав над собою усилие, уверив себя, что ведь он еще ничего дурного и постыдного не сделал, он отнял и открыл глаза.

Пред ним стоял граф Сен-Жермен.

— Я понимаю ваше теперешнее состояние,— проговорил последний,— но вот вам еще хотя и маленькое, но все-таки испытание — наука уметь владеть собою. Постарайтесь прийти в себя, постарайтесь не поддаваться никакому резкому впечатлению, будь это удивленье или что-нибудь другое. Удивительного на свете ничего нет — сверхъестественного не бывает. Нельзя идти против природы и ее законов, но нужно лишь изучить эти законы, чтобы управлять природой.

Ласковость, с которою говорили с Артемием, действовала на него ободряюще. Первая его мысль была сначала: «Господи, зачем это, и зачем я пришел!» — но теперь он уже не думал так..

— Ну, вот сядемте и поговорим,— продолжал граф.— Неужели вы думали, что так вдруг, только потому, что вам захотелось, вы возьмете, да и откроете все тайны?

Он сел, положил ногу на ногу с видом, что торопиться ему некуда и что у него есть еще время.

Артемий остался стоять и спросил:

— Да, но все-таки я же читал ведь, занимался... наконец ведь я никому не хотел зла...

— Не хотеть никому зла — этого еще очень мало. Нужно, кроме того, желать добра. Вы какие книги читали?

— Из новых: Исаака Голланда, Рената, потом Раймонда Люлля и «Пламенеющую звезду» барона Чуди.

— А! Эта книга написана по копии, которую Сендивогиус снял с рукописи Парацельса, хранящейся в Ватикане. О, если бы вы могли понимать дивные слова бессмертного Парацельса!

— Однако я читал очень внимательно и, кажется, делал буквально все так, как там сказано.

Граф улыбнулся, как улыбается человек, которому приходится встречаться с чем-нибудь давно знакомым и известным.

— В том-то и дело, что вы, и почти все такие, как вы, всегда принимают буквально то, что написано,— возразил он.— Книги, которые вы читали,— опасные книги: они ведут или к сумасшествию, или действительно к величайшему познанию... Нетвердый, неопытный ум принимает за чистую монету все, что там сказано, увлекается, и тогда нет ему спасения. Он сам ведет себя к погибели, как это уже случилось с тысячами людей и, вероятно, еще случится... Но, милый мой, неужели вы думаете, что те величайшие познания, о которых идет речь, будут достигнуты так легко, сразу, по прочтении нескольких книг? Нет, дело в том, что нужно научиться прежде п о н и м а т ь эти книги, нужно искать и найти их аллегорию, и тогда станет понятен вам настоящий их смысл... Вы искали философский камень и мешали соль с серой и с ртутью... Бедные, слепые люди! Да ведь «соль», о которой читали вы, не та, что сыплют в суп за обедом; «соль» — означает мудрость, а ее нельзя достать в лавочке за несколько медных денег. Вы приготовляли соль, мешая ее с водою и спиртом; а на самом деле «приготовить соль» — это стать мудрым, а тут нужна и вода другая совсем и спирт другой... Вы искали камень философов и даже не вдумались в само это название, легковерно отдавшись басням, достойным понимания и разума черни... «Камень философов»! Значит, нужно прежде всего стать философом, чтобы обладать им. Камень есть основание. Найдите его. Я помогу вам. Есть два пути, чтобы удовлетворить свои желания. Один — тот, ко-

торый избирают неразумные, почти сумасшедшие. Они ищут какого-то внешнего средства, чтобы иметь при его помощи все, что им хочется, и никогда не найдут. Другой путь, настоящий, заключается в работе над самим собою; нужно уничтожить желание не потворством ему, не удовлетворением, а силою воли, другими словами — достигните того, чтобы вовсе не иметь желаний, и у вас не будет неудовлетворенных желаний, и вы станете счастливым, то есть будете обладателем настоящего философского камня.

Артемий слушал, и словно повязка упала с его глаз. Как это все было просто, ясно и как нравился ему этот новый мир, в который вводил его теперь таинственный граф!

— Но есть желания, которые почти невозможно побороть,— сказал он,— есть чувства...

— Есть желания, которые нельзя удовлетворить,— перебил граф,— но нет таких желаний, которые нельзя было бы побороть.

— Чувство любви...—продолжал Артемий.— Неужели я должен и его уничтожить в себе?

Граф, опять улыбнувшись, ответил:

— Любовь — великое слово! Но не та чувственная любовь, которую подразумеваете вы... Любовь к женщине законна, но только к одной, раз навсегда избранной женщине, как подруге этой жизни...

Артемий не мог удержаться, чтобы не сказать, что любит одну только «ее» и никого на свете никогда не полюбит.

— Да, но следует быть не рабом, а господином этой любви. Не следует терять рассудок в опьянении своею страстью, и тогда вы увидите, как все само собою пойдет лучше, чем вы могли бы даже сами придумать. Человек сам — строитель своего счастья, и оно зависит от него самого.

— Да, но что же сделать для этого?

— Научиться ждать, терпеть, владеть собою и не идти по той дороге, на которую вы чуть было не попали, да так, что, может быть, и вернуть вас было бы поздно. Помните вы один роман Апулея?

Артемий и не заметил, как уже во время разговора сел, облокотился на стол и, не спуская взора со своего собеседника, жадно слушал, словно впитывая в себя каждое его слово. Это внимание нравилось графу.

— Какой роман? — спросил Артемий.

— Римлянин Люций путешествовал в Фессалии, где встречается с могущественной волшебницей. Он хочет достичь сам ее тайных знаний, но вместо труда и работы, посредством которых она готова преподать их ему, подкупает ее рабыню, с тем чтобы та выдала тайну своей госпожи. Рабыня хочет раскрыть Люцию состав, посредством которого волшебница может обращаться в птицу, но ошибается ящиком, берет не тот порошок, и Люций превращается в осла. Однако неловкая сообщница утешает его тем, что стоит ему съесть розу, и он снова станет человеком. Но на дворе ночь, темно, и трудно найти розу. Нужно ждать рассвета, и до него рабыня отводит осла в конюшню. Являются воры, уводят его, и с тех пор нет ему возможности даже приблизиться к заветному цветку. Розаны не для того, чтобы их ел осел, и садовники безжалостно гонят его прочь.

— Ну! — сделал Артемий, как дети, когда они слушают интересную сказку.

— Ну, вот вам полная аллегория того, что чуть было не случилось с вами. И вы хотели не достичь знания, а похитить его и, вместо птицы, то есть вместо того, чтобы возвысить свой ум, были обращены в грубое животное, и вас чуть было не похитили воры, и вам было необходимо коснуться розы. Роза — цвет истинного знания, а я — тот садовник, который вместо того, чтобы отогнать вас прочь, готов дать вам знание.

— Да, я хочу его, хочу этого знания! — блестя глазами, заговорил Артемий.— Вы мне дадите его.

— Для этого работайте, главное, сами и работайте сами над собою; вынесите с достоинством главное испытание жизни, испытание любви.

Артемий глубоко вздохнул, как будто вдруг у него не хватило воздуха.

— Боже,— проговорил он,— а я пришел к вам с надеждою узнать хоть что-нибудь про нее!.. Вы знаете, о ком я говорю, вы все знаете... вы, верно, имеете сведения оттуда; скажите мне хоть что-нибудь о ней, и тогда я уже начну.

Граф с новой улыбкою покачал головой.

— Ничего вы не начнете тогда, потому что будет уже сделано плохое начало. Любите ее, но владейте этой любовью.

— А, может быть, она умерла?.. Я оставил ее больную... Может быть, она и здорова, может быть, вспоминает обо мне или забыла совсем?

Граф встал со своего места и положил руку на плечо Артемия.

— Повторяю вам: учитесь подчинять себе свою страсть, и вы будете счастливы,— сказал он, как бы ставя точку их разговору на сегодня.

XI

ФАКТ ЕСТЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

Около двух месяцев провел Сен-Жермен в Кенигсберге, и в продолжение этого времени не только изменилась сама жизнь Артемия, но и внутреннее его состояние стало иным. Он словно рос с каждым днем, с каждою новою беседой с этим удивительным человеком, взявшим его под свое покровительство.

Они видались часто, и с истинным удовольствием ходил Артемий каждый раз в маленький дом за Прегелем. Здоровье его окончательно поправилось, опять-таки благодаря графу, который сам давал ему лекарство.

О расформировании Тарасовского полка не было и речи после того, как знамя его было найдено. Напротив, теперь тарасовцы комплектовали свой полк подходившими из России новобранцами. Артемий вместе с «дядей»-капралом усердно занимался подготовлением и обучением их, чередуя занятия по службе чтением книг, которые давал ему Сен-Жермен, и беседами с графом.

Мало-помалу из тех незнакомых прежде Артемию молодых людей, которых он увидел в первый раз в день приезда графа в Кенигсберг, составился тесный кружок, связанный взаимною дружбой, и центром этого кружка стал, разумеется, Сен-Жермен. Благодаря своему образованию Артемий, несмотря на свой сержантский мундир, был тут вполне равноправным. Впрочем, со дня на день ждали его производства в следующий — капральский — чин.

Более других Артемий сошелся с Орловым и поэтому более других сожалел, когда стало известно, что Орлов вместе с Зиновьевым будет сопровождать в Петербург взятого в плен в сражении при Цорндорфе адъютанта прусского короля Шверина.

Торичиоли тоже совсем изменился. Артемию невольно стало смешно, когда итальянец, разумеется, не знавший, чьих рук это дело, и не подозревавший даже о присутствии в Кенигсберге графа Сен-Жермена, пришел с известием, что он разочаровался в своих опытах.

— Но вы не беспокойтесь относительно ваших денег,— сказал он Артемию,— я вам верну их — будьте совсем, совсем спокойны. Подождите немного, и я стану все-таки очень богатым человеком.

«Ну, вот он сейчас станет говорить про свое открытие!» — подумал Артемий и не ошибся.

— Вы знаете,— продолжал Торичиоли,— я перешел от алхимии на чистую химию и сделал одно весьма важное открытие. Теперь вся штука в том, чтобы добиться привилегии на него от русского правительства, и тогда мое состояние обеспечено... Тогда я примусь за исполнение своего плана!..

— Вы думаете добиться этого здесь? — спросил Артемий, наперед уже зная, что ему ответят.

— Не думаю. Вероятно, придется ехать в Петербург. На это дело я достану хоть сейчас средства...

«Так, так и есть! — опять подумал Артемий, и странно было ему слышать такой близкий и до смешного верный отклик расчетов графа.— Боже мой, как люди просты,— удивлялся он,— и как легко управлять ими!»

С нескрываемым восхищением рассказал он графу свой разговор с Торичиоли.

— Вас это удивляет? — равнодушно спросил тот.

— Теперь — нет, но, если бы это было раньше, конечно, оно показалось бы поразительным.

— Нужно уметь сделать расчет так, чтобы он совпадал с необходимыми следствиями фактов, и тогда нельзя ошибиться,— ответил граф.— Нужно изучить логику событий, которые следуют одно за другим в вечной и неизменной последовательности. Я не про Торичиоли, разумеется, говорю — расчет относительно его был слишком ясен и прост. Но во всем один высший разум направляет все. Каждый случившийся факт неизбежен, как предопределение, но это предопределение — следствие законов высшего разума.

Артемий уже давно научился понимать, или, вернее, отгадывать сжатый язык своего учителя, но слова Сен-Жермена о предопределении смутили его, и он невольно подумал о фатализме.

— Нет, это — не фатализм,— сказал граф, имевший способность, которую Артемий знал и любил в нем, отвечать во время разговора не только на слова, но и на мысли своего собеседника.— Нет, это — не фатализм. Фатализм был бы в том случае, если б человеку при его рождении заранее определялась судьба, отступить от которой он не имеет возможности, как верят магометане... На самом деле человек вполне способен сделать из своей жизни все, что вздумает, но высший, всеведущий разум предвидит заранее его деяния. Вот и все. Если бы кто-нибудь сказал про вас, когда вы вдались в свою алхимию, что вы сойдете с ума, потому что вы на пути к тому, и вы действительно лишились бы рассудка — значило бы это, что вы лишились рассудка потому именно, что про вас сказали так?.. Нет. Но про вас сказали так потому, что вы стояли на пути к сумасшествию. Справедливость не есть то, чего желает Господь, но Господь желает только того, что есть справедливость.

Пробыв в Кенигсберге два месяца, граф Сен-Жермен простился со своими новыми друзьями. Он сделал все, что ему нужно было сделать тут, и ехал обратно в Париж.

Граф всегда путешествовал один, и никто не знал, каким образом совершаются эти его значительные путешествия, с одного места в другое, но никогда он не пропустил назначенного им срока и никогда не бывал в дороге дольше, чем нужно было для самого скорого переезда.

И на этот раз Сен-Жермен явился в Париж ровно через столько времени, которое оказалось необходимым, чтобы его карета, нигде не останавливаясь, проехала от Кенигсберга до столицы Франции, словно ни неприятельской армии, ни дорожных случайностей, ни дорожных преград для него вовсе не существовало.

В Париж он приехал в двенадцать часов, а в половине первого сидел уже в гостиной принцессы Цербстской, без тени усталости в лице, веселый, разодетый, блестя бриллиантами и кружевами, как будто часа три по крайней мере был уже занят сегодня своим туалетом.

— И неужели, граф,— сказала принцесса, обрадованная его приездом,— только что кончив свое длинное путешествие, вы чувствуете себя так же хорошо и бодро, как мы, другие, не можем себя чувствовать даже после вечера или бала, проведенного накануне?

— Как видите, принцесса.

— Ну, я очень рада видеть вас. Хотите знать парижские новости? Я сейчас расскажу их вам.

— Главная из них, принцесса,— та, что маркиз Шуазель занял пост министра иностранных дел?

— Вы знаете это?

— Я думаю, и другие, менее важные, тоже... известны мне. Вы, конечно, знаете последний разговор маркизы?

Принцесса открыла большие глаза.

— Какой разговор? — спросила она.

И граф с обычною своею спокойною улыбкою стал рассказывать ей весь разговор, которого она, бывшая все время в Париже, не знала еще.

— Ну, я вижу, что вам не только известно то, что и мне, но даже больше,— протянула она.— Положительно вы — необыкновенный человек!..

— Разве так необыкновенно знать, что случается в столице мира, как называют Париж? — ответил граф.

— Нет, но оно, конечно, досадно... Я думала сама удивить вас... Впрочем, у меня есть для вас вещь, которая, может быть, поразит вас... Помните, бумага, которую вы мне дали пред вашим отъездом в ложе в театре?..

— Я никогда ничего не забываю, принцесса.

— Да, ее должен был подписать этот богач, старая развалина, маркиз Каулуччи. Так вы просили?..

— И он подписал ее?

— Вы и это знаете?

— Нет, принцесса, но предполагаю только. Это зависело от вас, а я уверен, что если вы пожелаете, то все будет так, как вы захотите.

— На этот раз ваша любезность справедлива, граф, бумага подписана. Маркиз Каулуччи давал нам бал; он действительно ведет в Париже широкую жизнь... Он должен быть страшно богат! — и, говоря это, принцесса встала со своего места, подошла к письменному столику со шкафиками розового, дорогого, с инкрустациями, дерева, достала оттуда сложенную бумагу и протянула ее графу.— Вот она, и надпись маркиза красуется на ней,— добавила она.— Довольны ли вы мной, граф?

— Я не знаю, как благодарить вашу светлость, тем более, что случилось то, что я предполагал,— сам бы я не мог добиться этого.

— А что?

— Маркиз Каулуччи сегодня умер в ночь.

Принцесса остановилась пораженная. Это была уже вторая новость, которую ей сообщал этот только что приехавший в Париж человек.

— Ах, это ужасно! — проговорила она.— Я его вчера только видела.

И она грустно задумалась, ощущая то особенно неприятное чувство, которое испытывает человек при известии о внезапной смерти кого-нибудь, с кем говорил и кого видел накануне.

Граф заметил это ощущение и, чтобы отвлечь его, спросил принцессу, каким образом была подписана бумага.

— Вы мне столько оказали услуг, граф, что мне было приятно постараться исполнить вашу просьбу, и я ее исполнила,— ответила она.— Как? Не все ли вам равно... Случай помог мне... вот и все. Но какой случай — пусть останется моей тайной...

Граф не расспрашивал дальше. Он умел уважать чужие тайны.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I
ДАВНИШНИЕ ПРИЯТЕЛИ

Конец весны 1762 года стоял над Петербургом не только теплый, но жаркий, какой часто бывает здесь, когда солнце, словно предчувствуя, что спрячется летом за серые облака дождливых дней, спешит нагреть настуженный за зиму воздух и порадовать людей своими ласковыми, теплыми лучами.

— Ишь, денек какой для приезда выдался светлый! — говорил князь Андрей Николаевич Проскуров, расхаживая по не совсем еще оконченным устройством комнатам нового своего дома на реке Фонтанной.

И этот светлый день, как счастливое предзнаменование, радовал его, не нарушая внутреннего довольства, которое он испытывал теперь, а, напротив, соответствуя ему. Доволен был князь и новым своим домом, и Петербургом, сильно изменившимся к лучшему, отстроившимся в те долгие годы, в продолжение которых он не был здесь; приятно было ему сознание оконченной длинной дороги; но самое важное, почему было весело и хорошо теперь на душе князя Андрея Николаевича, заключалось в том, что наконец он, проведший так много времени в деревне, в глуши, был призван в столицу. И, главное, он никого не просил об этом, ни к кому не обращался, а продолжал себе смирно сидеть в своем Проскурове, и вот дождался наконец...

«Да, да, наступили светлые дни! — думал он, поглядывая и тоже радуясь тому, как дворня, под предводительством старого Ивана Пахомовича, ловко и споро работает над устройством его будущего жилища и оно быстро при-

нимает вид роскоши, достойной для приема не только кого угодно, но даже самого государя.— Даже самого государя!» — самодовольно улыбнулся Проскуров, нарочно дольше останавливаясь на этой мысли, как бы смакуя ее.

Теперь, в своих занесшихся мечтах, он помышлял уже о приеме у себя государя.

И все это оттого только, что его неожиданно вернули в Петербург, со вступлением на престол молодого императора Петра III, того самого, которого несколько лет тому назад князю Андрею Николаевичу удалось принять в своем Проскурове.

Князь, разумеется, не знал, что его возвращение случилось гораздо проще, чем он думал.

Императрица Елизавета Петровна скончалась 24 декабря 1761 года, и на другой же день резко определился характер нового царствования: иностранцы — Бирон, Миних и Лесток — тотчас же были возвращены из ссылки. Единственно заметный из истинно русских людей, сосланных, Бестужев-Рюмин, сначала враг Екатерины, потом друг, пострадавший главным образом из-за нее, остался невозвращенным. Но советники нового императора, под влиянием которых он действовал и не в интересах которых было помилование Бестужева, человека совсем противного им направления, понимали, что имена Бирона, Миниха и Лестока слишком неприятно звучат для русского слуха, чтобы ограничить милости нового царствования одними ими. Нужны были еще какие-нибудь пострадавшие, однако такие, возвращения которых бояться было бы нечего. Князь Проскуров, вечный бригадир, вполне подходил под условия, и между прочими подобными ему вспомнили о нем и послали указ в деревню князя.

Но там, в этой деревне, указ произвел совершенно иное впечатление. Князь Андрей Николаевич решил, разумеется, что государь, вероятно, вспомнил о своем посещении Проскурова, вспомнил о нем, старике, и, нуждаясь в опытных советниках (так думал старый князь), призвал его для деятельности, как человека, много лет проведшего в провинции и потому изучившего ее нужды. И, как каждый меряет все на свой аршин, так и князь Проскуров ждал уже от нового царствования неведомых благ для России, потому что самому ему, князю Проскурову, было хорошо теперь.

Первым, кого пожелал видеть князь по приезде в Петербург, был старик Эйзенбах. Он тогда еще, когда узнал о смерти Карла на войне, написал письмо старому барону,

которое восстановило между ними прежние отношения. Теперь князь Андрей Николаевич, призванный в Петербург, думал, что у него сейчас же явятся здесь более серьезные, чем барон Эйзенбах, связи, что он будет представлен государю, познакомится с лицами, близкими ему, но на первых порах барон являлся очень удобным человеком, чтобы узнать от него поподробнее, как от столичного старожила, в каком положении собственно находятся дела, кто имеет нынче силу, кого следует сторониться и с кем дружить. И Проскуров, не теряя времени, в день же своего приезда послал сказать Эйзенбаху, что ждет к себе.

Положение барона было далеко не цветущее. Расстройство денежных дел и смерть сына сильно повлияли на него. Он опустился, постарел и перестал относиться к жизни с прежнею энергией, чувствуя, что теперь не для кого ему стараться: тех крох, которые остались у него, довольно было, чтобы кончить век со старухою-женою, до сих пор не забывшей еще потери своего Карла, а больше этого, то есть вот чтобы дотянуть остаток дней, барон ничего не желал. Но известию о приезде Проскурова он все-таки очень обрадовался. Все-таки приятно ему было повидать давнишнего приятеля и посмотреть, каким он теперь стал, и Эйзенбах поспешно отправился к князю.

— Ну, здравствуй, старый! — встретил его тот с распростертыми объятиями.— Ты меня извини, не прибрано еще, ну, да для друзей ничего!

Они обнялись и крепко поцеловались.

Князь Андрей Николаевич, в особенности в сравнении со стариком бароном, казался таким молодцом, что тот невольно удивился, глядя на его полные, румяные щеки и цветущий, довольный вид.

— Каким ты молодцом, однако, князь! — сказал он, покачивая головою.— Ну, княжна что, здорова?

Неловко было не спросить про княжну, хотя при воспоминании о ней у Эйзенбаха снова, в один миг, поднялось все горе, которое он пережил после неудачного сватовства сына. Ведь за этим сватовством последовал отъезд Карла в армию, потом смерть и все несчастия.

Князь заметил это.

— Спасибо, голубчик, ничего, здорова, тоже приехала, она на своей половине разбирается,— ответил он вскользь, боясь хотя бы чужим горем расстроить светлое свое настроение. Затем он взял барона под руку и провел через несколько комнат.— Ну, вот, сядем здесь,— сказал он,— тут нам не помешают. Ну, рассказывай, что нового?

— Да что, князь? — ответил садясь Эйзенбах.— Вот прежде всего тебя поздравить надо.

Князь Андрей Николаевич улыбнулся.

— Да, батюшка, наконец-то мы дождались царствования благого, справедливого и мудрого! Наконец-то мужская рука взяла российский скипетр!

Барон угрюмо молчал, видимо, относясь вовсе не так уж восторженно к этому новому царствованию, как Проскуров. Ему было нечему радоваться теперь. Все его радости заключались в сыне, которого отняла у него служба, и с тех пор он ничем не мог быть доволен.

— Что же,— продолжал Проскуров,— молодой государь блестяще начал: уничтожил тайную канцелярию, свободу веры объявил, теперь указ о вольности дворянской...

Эйзенбах вздохнул.

— Ты чего вздыхаешь? — спросил готовый уже вспыхнуть Проскуров.

Барон знал и помнил эти его вспышки, но теперь, когда ему все уже было решительно безразлично и он не нуждался ни в чем, он не боялся более этих вспышек.

— Конечно, н а м теперь лучше будет житься: возле государя стоят умные немецкие люди,— протянул он.— Король Фридрих — друг ему. Но в том-то и беда, что трудно ручаться за то, что удержится все хорошее, что они сделают.

— Как трудно ручаться?

— А у нас так идет: что сделают сегодня, то разделают завтра... Совсем, как говорится, «славны бубны за горами».

Несмотря на долгое пребывание Эйзенбаха в России и несмотря на его довольно правильную русскую речь, в этой речи все-таки проскакивали значительные промахи. Так, он прилагательное «тучный» применял только к «небу», когда оно бывало покрыто тучами; называл иногда комнату «беспечною», если в ней не было печки, и вместе с тем очень любил, хотя и далеко не всегда кстати, употреблять чисто русские пословицы.

— Вот указ о вольности дворянской,— продолжал Эйзенбах.— Ты знаешь, как он был написан? Говорят, сам государь в сенате сказал: «Я хочу объявить вольность дворянам». Сенат сказал: «Хорошо». Генерал-прокурор Глебов предложил поставить золотую статую новому императору. Сенат сказал: «Хорошо»,— и пошел с докладом о золотой статуе. Он получил в ответ громкую фразу, что

памятника не нужно—сами дела будут памятником... А о деле и забыли. Прошел месяц. Император пожелал скрыть от Елизаветы Воронцовой, что по ночам он кутит...

— Отчего именно от Елизаветы Воронцовой?

— Как отчего? а ты не знаешь? она же — первое лицо теперь.

— Вот как! Что ж, хороша собою?

— Графа Романа Илларионова дочь; нисколько не хороша и не умна вовсе.

— Так как же это так?

Эйзенбах только пожал плечами.

— Ну, вот он пожелал от нее скрыть и сказал, что пойдет заниматься важными делами, а сам ушел кутить и запер Волкова, тайного секретаря, в комнате, вместе с датскою собакой, сказав ему, чтобы к утру он сочинил какой-нибудь важный указ. Ну, вот Волков сидит, собака на него рычит, а он думает, о чем же он будет писать? Думал, думал и написал о вольности дворянской.

— Ну, может, это все и врут,— возразил Проскуров, которому не хотелось верить этому рассказу.

— Нет, это — правда. Яков Штелин рассказывал мне, что он, увидев бывшего своего воспитанника, то есть нынешнего императора, за пивом и с трубкой, очень удивился, а тот ему ответил: «Чему ты удивляешься, глупая голова? Разве ты видел хоть одного настоящего офицера, который бы не пил и не курил?» И это постоянно: английское пиво и вино, вино и английское пиво.

Князь Андрей Николаевич покачал в свою очередь головою.

— Но ведь все-таки дела-то идут,— сказал он.— Пока, вероятно, другие делают... ну, а потом он образумится, в лета войдет...

— Однако ему тридцать третий пошел! И нельзя сказать, чтоб он не вмешивался — из-за этого-то и идет такая бестолковщина, что никто в завтрашнем дне не уверен!.. Было решено перевести мануфактур-коллегию из Москвы в Петербург, а потом опять указ: оставить коллегию в Москве. Возьми еще: 9 января уничтожены полицеймейстеры в городах, а 22 марта они восстановлены, и так много очень... И недовольных много. Духовенство и черное, и белое. Черное недовольно тем, что вотчины у монастырей отняты, а белое — что сыновей священников забирают в военную службу...

— Да, конечно, это — мера опасная,— согласился старый князь,— но что ж, найдутся советники, которые смогут воздержать... выйдут новые люди...

Под этими советниками, которые «смогут воздержать», и новыми людьми он, видимо, разумел себя.

Эйзенбаху это было ясно.

— Ну, нынче и это трудно! Нынче на стариков иначе смотрят. Прежде всего всякий, желающий служить, должен идти в военную службу... Это, говорю, чтобы на виду быть. А в военной службе все на голштинский манер заведено... Не угодно ли в строю служить и маршировкой заниматься...

— То есть учить, ученья производить,— поправил князь Андрей Николаевич.

— Нет, самому маршировать, батюшка! Вот князь Никита Юрьевич Трубецкой, сенатор, и тот преисправно во всех орденах, с лентою, в мундире с золотыми нашивками, со своим эспантоном марширует наравне с молодыми, месит грязь пред солдатами.

— Может ли это быть? — опять удивился князь.

— Да на что уж гетман — младший Разумовский, Кирилл — должен теперь держать на дому у себя молодого офицера, который учит его новой прусской экзерциции.

Призадумался князь Андрей Николаевич, а что как вдруг и его, старого, то же заставят проделывать? — и его хорошее расположение духа быстро стало изменяться. Он уже не с прежним удовольствием, как начал, продолжал расспрашивать о новых порядках, и, чем больше рассказывал ему барон, тем грустнее становилось на сердце князя — по всему было видно, что время переживается переходное, что так, как прожили со дня смерти покойной императрицы, жить нельзя долго и что держава русская находится не в руках мужа, как думал сначала Проскуров, но в руках тридцатитрехлетнего ребенка, никогда не способного стать не только истинно русским правителем, но и вообще сдержать на своих слабых плечах тяжелое бремя власти.

— Куда же ты? Посиди еще!..— стал удерживать князь Эйзенбаха, когда тот наконец встал, чтобы проститься.

Барон просил извинить его и отказался от обеда.

— Нет,— пояснил он,— мне домой пора. Видишь ли, мне сказали, что на днях должен приехать из армии офицер того самого полка...— и барон не договорил, чаще заморгав глазами.

Андрей Николаевич понял, что дело шло о полку, в котором служил Карл.

— Ну, так вот,— подхватил Эйзенбах, стараясь овладеть собою,— мне обещали прислать его ко мне, и я тороплюсь, может быть, он приехал... До сих пор я не имею никаких еще подробностей.

Эйзенбах заторопился и, несмотря на уговоры князя, быстро ушел. Он и то уже засиделся слишком долго.

II

МАТЬ И ОТЕЦ

Офицер, о котором старик барон говорил князю Проскурову и которого он ждал со дня на день, чтобы узнать наконец хоть что-нибудь о смерти сына, потому что до сих пор, несмотря на все старания, это оказывалось невозможным,— был присланный курьером из армии Артемий Проскуровский, но Эйзенбах не знал, что это — он, тот самый воспитанник князя Проскурова, из-за которого разошлась свадьба Карла с княжною.

В военной канцелярии было известно только, что теперь очередь приехать одному из чинов Тарасовского полка, о чем и сообщили барону; знакомый Эйзенбаху начальник обещал прислать курьера к нему — вот все, что барон знал, и до самого офицера ему никакого собственно дела не было.

Главным лицом, через кого старик барон имел постоянные справки из военной канцелярии и даже из самого только что образованного военного совета, был некогда рекомендованный им князю Проскурову итальянец Торичиоли.

Теперь Торичиоли, в продолжение трех лет возившийся в правительственных местах, чтобы произвести проект своего усовершенствования взрывчатого вещества, имел в военных кругах некоторые связи. Дело откладывалось с месяца на месяц, но Торичиоли не особенно беспокоился этим. Видимо, он устроился отлично и под шумок, так сказать, своего дела обделывал разные дела, получая с них известный доход. Его положение в Петербурге было настолько хорошо, что Эйзенбах удивлялся изменчивости судьбы. Давно ли, кажется, этот итальянец искал его протекции, когда хотел попасть к князю Андрею Николаевичу, и вдруг теперь барону приходится самому обращаться к нему с просьбами. Но не только это, и материальное обеспечение

Торичиоли было, по-видимому, благодаря его ловкости, гораздо лучше теперь, чем Эйзенбаха. Одет он был всегда прекрасно, имел возможность бывать в том же обществе, где бывал и барон, и главное — умел стать необходимым сильным людям.

— Теперь я живу со дня на день,— говаривал он,— но, когда мой проект будет утвержден, я стану богатым человеком.

С переменою, происшедшею со вступлением на престол Петра III, хитрый итальянец устроился еще лучше, и хотя его проект все-таки еще не был утвержден, но деньги уже завелись у него, и довольно большие. Никто не знал, откуда они.

Когда Эйзенбах вернулся от князя домой, оказалось, что он недаром торопился, потому что почти вслед за ним приехал Торичиоли.

— Ну, что, есть известия? — встретил его барон.— Вы не знаете, явился в Петербург курьер из армии?

Торичиоли сказал, что явился.

— Тарасовского полка?

— Да.

— Что же, приедет он ко мне?

— Вот видите ли,— начал Торичиоли,— когда я сегодня утром пришел в канцелярию,—это слово он произнес с видимым пренебрежением, как человек привычный,— то мне сказали, что курьер приехал, но имя его Артемий Проскуровский.

— Ну, что ж из этого?

— А то, что это — тот самый Артемий Проскуровский, который был воспитанником князя и из-за которого произошла вся история тогда.

Старый Эйзенбах опустил голову.

— Вот оно что! — протянул он.— Ну, и что ж, он не хотел приехать ко мне?

— Нет, я отправился к нему. Мы ведь потом еще встречались с ним в Кенигсберге. Но я отправился собственно для вас, потому что думал, что вам едва ли будет приятно видеть его.

— Ну,— сделал барон.

— Ну, и он мне был очень благодарен. Ему уже приказали поехать к вам, и он не знал, как это сделать... Он мне все рассказал.

У двери в это время послышалось шуршание женского платья, и старуха баронесса, не выдержав, просунула в комнату голову. Она не знала, можно ли войти ей.

— Войди, Луиза, войди! — тихо сказал ей муж.— Вот Иосиф Александрович привез известие...

Он, видимо, хотел подбодрить и себя, и жену, и как-то косо улыбнулся. От этой улыбки его лицо стало еще грустнее.

Баронесса вошла и, даже не поздоровавшись с итальянцем, чтобы не задерживать его рассказа, чуть слышно опустилась на стул у самой двери. Она так и впилась своими красными от слез глазами в Торичиоли.

Последний стал передавать то, что рассказал ему Артемий.

Странно, при их сближении в Кенигсберге — правда, коротком — они никогда не говорили о Карле. Артемий словно избегал этого. Но теперь он подробно рассказал все, что знал, нарочно выставляя в самом лучшем свете храбрость Карла и поведение его под пулями.

Торичиоли, передавая рассказ, разумеется, в свою очередь, не жалел красок.

— Скажите! — не утерпел барон.— Он был сержантом в его роте?.. Как это странно, как это странно! И он уже офицер теперь?

— О, да, он — тоже очень храбрый молодой человек и вполне заслужил свой чин! — сказал Торичиоли, как бы заступаясь за Артемия.

«А все не храбрей нашего Карла!» — подумали старики Эйзенбахи.

— Герой, герой!..— шепотом повторял барон про сына, слушая Торичиоли.

Но когда тот дошел до того момента, когда Артемий увидел, как упал Карл, и бросился к нему, крепившийся до сих пор Эйзенбах не выдержал и, закрыв лицо руками, заплакал, как ребенок.

Баронесса не плакала. У нее слез не было. Она только осталась все в той же случайной и неловкой позе на стуле, как села, и, казалось, забыла теперь все... забыла, что люди могут плакать, могут выразить, облегчить свое горе; только мускулы ее лица судорожно тряслись, и изредка вздрагивали ее худые, тонкие руки.

Торичиоли казался тоже расчувствованным и тронутым.

Но у него волнения хватило именно на столько времени, пока он сидел у Эйзенбахов. Долго оставаться у них ему было некогда. Он окончил свой рассказ, сказав несколько слов утешения, и затем, вдруг приняв из грустного деловой вид, поднял брови и начал прощаться. Каждый час

у него был теперь рассчитан, и он, сделав, как он думал, для Эйзенбахов «все, что мог», поспешил дальше. Было без четверти два, а ровно в два он уже должен был увидеться с одним из своих земляков, пьемонтцем Одаром, бывшим прежде личным секретарем новой императрицы и теперь управлявшим небольшою принадлежавшею ей мызой вблизи Петербурга. Торичиоли всюду умел пробраться.

III
РУССКИЕ ЛЮДИ

— Да, так вот какие дела! — сказал Орлов своему кенигсбергскому приятелю Артемию, сидя с ним в своей довольно скромной холостой квартире.

Был уже пятый час ночи, но ни тому, ни другому не хотелось спать.

Артемий, как приехал в Петербург, первым долгом отыскал Орлова, что, впрочем, нетрудно было сделать ему. Орлов пользовался большою популярностью среди военных, и почти всякий из них знал дом у Полицейского моста, где жил Григорий Григорьевич.

В год своей военной жизни Артемий изменился не много. Он только окреп, возмужал и развился. В его глазах появилось теперь что-то особенное: они глядели сосредоточенней, задумчивей, точно он в душе знал уже нечто такое, что ставило его выше остальных людей.

Григорий Орлов был для него человеком своим, близким, знавшим то же, что знал он сам, и духовно-развитым, может быть, даже больше его самого, благодаря своей щедро одаренной судьбою природе.

Утром Артемий не застал Орлова. Ему сказали, что Григорий Григорьевич вернется домой лишь к вечеру. Артемий приехал к нему вечером и засиделся до позднего часа.

— Так ты говоришь, что там у вас недовольны переменой? — продолжал спрашивать Орлов.

Артемий взмахнул руками.

— Да как же быть довольным! Ты представь себе пять лет лишений, труда, войны и страшных усилий — и вдруг, после всего этого, вчерашний наш враг, который был уже почти в наших руках, разбит, уничтожен, становится с нами запанибрата, нашим союзником; мы, победители, словно побежденные, отдаем ему все завоеванные области, от-

даем Пруссию и сами являемся чуть ли не на посылках у него...

Орлов кивал головою почти на каждое слово Артемия. Эти слова были отголоском неудовольствия, действительно поднявшегося в нашей заграничной действующей армии против заключенного нами вдруг неожиданно мира с Пруссией на равных условиях. Этот мир был результатом единственно безграничной преданности Петра III Фридриху и его восхищения пред ним. На другой же день после смерти Елизаветы Петровны было послано приказание о прекращении военных действий.

— Да, ужасно, ужасно! — подтвердил Орлов, в свою очередь.— О войне кто говорит! Ее можно было прекратить. Но нам нужен был почетный мир; Фридрих согласился бы на всякие условия и даже был бы рад им, а тут на вот, поди!.. Мы же и извиняемся, что победили, мы просим прощения. Скажи, пожалуйста, за что же мы рисковали жизнью, за что ты был ранен, за что было убито столько наших?

Орлов, разгорячась, встал с места и, блестя своими красивыми большими глазами, сжимая свои сильные руки, говорил быстро и гневно.

— Да я, признаюсь, уже ничего не пойму,— возразил Артемий.— Слышал я про государя многое, но верить боялся он, говорят, совсем точно не в своем уме.

Орлов заходил по комнате.

— Не один этот мир! — продолжал он, занятый своими мыслями и не слушая того, что говорит Артемий.— Ты посмотри, что у нас тут делается!.. Недавний мой арестант Шверин, которого я привез сюда после Цорндорфа, является с полномочиями, как важное лицо. И ты знаешь, кто теперь главный распорядитель судеб нашей родины, нашей России! Немецкий офицер — двадцатишестилетний Гольц, присланный сюда Фридрихом. Он умеет пить английское пиво да кнастер курит и среди чада этого пьянства и табачного дыма полновластно хозяйничает у нас!..

— Быть не может! — не удержался Артемий.

— Да... Учредили верховный совет, и в нем заседают его высочество герцог Георг Людвиг Голштинский, его светлость принц Голштейн-Бекский и Миних... Хорошо?.. Затем военная комиссия: опять герцог Георг, принц Бекский и тут уже Унгерн, генерал-адъютант... А над всеми ими все-таки Гольц. Я и против немцев не был бы. Отчего же? Между ними есть умные парни... И у нас были Остер-

ман, тот же Миних, Бирон даже; все они блюли русские интересы — по-своему, может быть — это статья особая, но все-таки блюли по своему разумению честно выгоды страны, которою управляли. А теперь что же это? Интересы чужих государств, Пруссии и Голштинии, ставятся выше наших! Мы идем в лакеи к пруссакам и молим их ига, как заслуженного счастья... мы согласны на позорный для России мир, чтобы вместе с Фридрихом идти отвоевывать у датчан клочок Голштинской земли.

— Как идти отвоевывать? Разве новая война предположена?

— Да, с Данией, из-за Голштинии. Разве у вас не было известно этого?

— Может быть, в штабе, а от строя держат это пока в секрете. Так что же, для этой новой войны и несчастный мир этот заключен?

— А ты думал, как же иначе?

— Ну, уж меня там не будет! — воскликнул Артемий.— Нет, довольно!..

— Пошлют, так пойдешь.

— Нет, не пойду!.. Не бывать этому!

Орлов вздохнул улыбаясь.

— Вероятно, не только «этому бывать»,— проговорил он,— но и хуже будет...

— Что же еще?

— А то, что веру нашу переменят. Уже велено иконы из церквей вынести, священникам бороды обрить и платье носить такое, как у иностранных пасторов. Начало хорошее. Дальше пойдут скоро...

Артемий тоже привстал. Он обеими руками оперся на стол и, вытянув шею, глядел на Орлова, словно вместо него видел пред собою смертельного врага. Его лицо было красно, жилы посинели и вздулись.

— Велено? Ты говоришь: «Велено»?.. Кому?.. Вздор все это... быть не может,— проговорил он, едва переводя дух.

По мере все возраставшего волнения Артемия Орлов, напротив, становился все спокойнее.

— Кому велено? — ответил он.— Дмитрию Сеченову, новгородскому архиерею.

— Ну, и что ж он?

— Да пока еще ничего. Сеченов, вероятно, не согласится — его сменят, и если не найдут православного, который пошел бы на это, то призовут иностранного.

Артемий делал напрасные усилия совладать с собою.

— Так нет же, не бывать этому, не бывать! — крикнул он и ударил по столу кулаком.

Орлов вдруг тихо засмеялся, как бы еще больше раззадоривая его этим смехом.

— Эх, милый мой! Напрасно горячишься: здесь-то ты очень сердито по столу стучишь,— ну, а подумай, на самом-то деле что ты, маленький офицер, можешь поделать?

Артемий провел рукою по лицу.

— Я не знаю, что могу поделать, но уверен, что не я один чувствую то, что происходит теперь у меня в душе; наверно, каждый русский человек чувствует так.

Орлов скрестил руки на груди и долго пристально смотрел прямо в лицо Артемию.

— Но кто же из истинно русских людей пойдет против своего государя? — проговорил он наконец, отчеканивая каждое слово.

Артемий оставался некоторое время неподвижен, точно слова Орлова не сразу достигли его слуха, и потом бессильно снова опустился на стул.

— Да, но ведь другого выхода нет!

Орлов по-прежнему смотрел на него.

— И ты мог бы идти,— проговорил он опять,— ты, истинно русский человек, офицер, с честью носящий свой честный, омытый и твоею кровью, и кровью товарищей, мундир? Ты бы мог стать наряду с бунтовщиками, достойными виселицы!

Артемий взялся за голову.

— Да, но что же делать, что же делать! — повторял он.

— Только не бунт, только не насилие и не зло...

Артемий вдруг поднял голову и в свою очередь взглянул на Орлова. Нечто вроде надежды блеснуло в нем.

— Послушай, Григорий Григорьевич, у тебя, верно, готов уже выход из этого положения — иначе ты слишком спокоен...

Орлов стал серьезен. Брови его сдвинулись, он подошел почти вплотную к Артемию и ответил, невольно понижая голос:

— Да, ты угадал... да, выход есть, есть надежда на спасение,— и не все еще пропало, пока жива государыня... и пока не заточена она в монастырь... Дело поставлено так, что над нею чуть ли не издеваются теперь, ее хотят

заточить, чтобы променять ее на другую, жалкую, недостойную, и тогда — тогда для нас погибнет всякая надежда, потому что против государя мы не пойдем, а пойдем за государыню. Не на насилие рассчитываем мы, но на призыв лица, которое имеет право носить императорскую корону, на призыв государыни, которая одна может спасти Россию!..

— Да, но ведь она тоже иностранка,— не сразу ответил Артемий.

Орлов вспыхнул. Была минута, что он, казалось, не в силах был сдержать себя.

— Иностранка? Ты не ври того, чего не знаешь! — почти крикнул он, но затем сделал несколько шагов по комнате и вернулся к Артемию более спокойным.— Ты знаешь, какая она иностранка? Когда ее привезли для свадьбы в Москву — она заболела там. Ей пускали кровь. В обморок, разумеется, не упала она и спокойно смотрела, как производили ей операцию. К ней подошла императрица Елизавета и спросила, не больно ли ей. Она улыбнулась и ответила, что пусть течет эта ее кровь, чуждая новой ее родине, чтобы ей можно было здесь обновить ее и стать русскою.., И это были не слова, а истинная правда: государыня Екатерина захотела и стала... Нужно совершенно не знать ее, как ты не знаешь, чтобы не удивляться ей. Православную веру она приняла по убеждению твердому и ясному, поняв величие и цельность нашего православия... ты пойди как-нибудь,— я проведу тебя,— в дворцовую церковь, посмотри, как она молится...

И долго говорил Орлов, рассказывая Артемию про государыню, и его слова дышали восторгом, невольно передававшимся его слушателю.

IV

ЕКАТЕРИНА

В то время как тридцатитрехлетний Петр Федорович, словно ребенок, дорвавшийся до свободы действовать по своему детскому капризу, предавался с утра до ночи и с ночи до утра всякого рода излишествам, его супруга Екатерина скромно жила на своей половине во дворце, редко являлась на людях и показывалась лишь в церкви да на официальных приемах. Она носила глубокий траур по покойной государыне и, казалось, ни во что не вмешивалась, ничего не делала,— жила совсем в стороне.

Петр Федорович не только не любил ее, но, видя в ней живой и молчаливый укор своим поступкам, старался или избежать, или при встрече доказать, что он выше ее, сильнее. Но эту силу он умел проявить только грубостью, не понимая, что она унижает его самого и в глазах прочих возвышает его преследуемую жену-государыню.

Разница между ним и ею была скоро понята. Довольно было видеть их в церкви во время богослужения, чтобы сразу определить, каков был он, громко разговаривавший, смеющийся со своими немцами во время совершения таинств, и она, тихая, прекрасная, величественная, не спускавшая взора с иконы.

Капризное своеволие Петра с каждым днем разгоралось сильнее, и жизнь Екатерины становилась тяжелее. Он уже дошел до того, что публично, на обеде в честь заключения мира с Пруссией, назвал супругу «дурой». Слово «монастырь» не раз срывалось с его губ, когда он говорил о жене.

Между тем народное недовольство беспорядочными распоряжениями нового царствования росло. Все понимали, что долго продолжаться так не может.

Наследник престола был еще ребенком. Взоры всех невольно обращались к государыне.

Но она по-прежнему жила тихо и уединенно на своей половине, переносила оскорбления и, по-видимому, ничего не предпринимала.

Близкие к Петру III люди, в прямой выгоде которых было заботиться о нем, то есть главным образом о сохранении за ним власти, которая была их властью,— следили за Екатериной. Но, судя по всему, беспокойство было напрасно. Кроме лиц, самых близких, государыня никого не видала, ни с кем не разговаривала. Уединение ее было у всех на виду. Она жила или в Петербурге, или в Петергофе, да изредка ездила на свою пригородную мызу, где был управляющим пьемонтец Одар.

Хоть он казался человеком незначительным вполне, но все-таки, на всякий случай, наблюдение за ним было поручено земляку его, итальянцу Торичиоли, вертевшемуся в военной канцелярии со своим делом.

Торичиоли не скупились давать деньги и думали, что все, значит, сделано и обстоит благополучно, раз открыт кредит на такой-то предмет и есть человек, который его получает. Впрочем, Торичиоли доносил, что ничего пока незаметно тревожного. Да и что мог сделать какой-то пьемонтец, не знавший ни слова по-русски?

Боялись Шувалова, Мельгунова, которые были близки самому Петру, но не были иностранцами.

А между тем гроза близилась, и работа шла тайно, но деятельно, и именно там, где ее вовсе не ожидали.

Одар являлся с докладом к государыне каждую неделю, приезжая для этого в Петербург; каждый раз с ним виделся Торичиоли, разговаривал и все более и более убеждался, что это — решительно малоспособный человек. Он даже находил пьемонтца глупым, но деньги тем не менее получал из канцелярии исправно.

На другой день, после того как Торичиоли виделся по долгу службы со своим пьемонтцем, поехав к нему от Эйзенбаха, Одар рано утром явился с докладом к государыне. Он был уже своим человеком на ее половине и, войдя в небольшую, скромно обставленную приемную, велел доложить о себе. Старый камердинер поклонился ему, как знакомому посетителю, и прямо открыл дверь в следующую комнату — кабинет молодой государыни.

Екатерина ждала Одара. Она сидела у стола, положив на него локти и опираясь подбородком на сложенные руки. Здесь, у себя дома, она вовсе не имела того смиренного, покорного вида, который должна была принимать на той половине дворца до поры, до времени. Ее умные глаза под нахмуренными бровями казались гневными, и в этом гневе сквозила энергия, обыкновенно несвойственная женщине. Ее губы были сжаты и гордая решимость светилась во всем ее молодом, прекрасном лице.

— Садитесь,— сказала она Одару, поздоровавшись с ним.— Нет, знаете, дольше продолжаться так не может... Я не в силах более терпеть.

По тому, как встретила Екатерина своего управляющего, как заговорила с ним и как он сел на ее приглашение, сразу было видно, что их связывают не незначительные дела по хозяйству маленькой пригородной мызы, но что между ними есть что-то более серьезное и значительное.

Одар наклонился слегка и ответил, как бы продолжая не раз уже повторявшийся разговор между ними:

— Нужно решиться вашему величеству.

Екатерина улыбнулась и этою улыбкой яснее слов сказала, что не недостаток решимости удерживает ее.

— Решиться? Решиться нетрудно; но трудно привести в исполнение это решение... В душе я знаю, что дело мое правое, что оно должно совершиться именно потому, что

правда на моей стороне. Я не иду против власти и тех, кто последует за мною, не поведу на бунт и на беззаконие. Нет, о н,— подчеркнула она, подразумевая тут супруга,— своим поведением, своими поступками, своим пренебрежением не только к обычаям и верованиям страны своей, но даже к прямым и справедливым интересам ее идет сам против своей царской власти, потому что потеряет ее и для себя, и для своего потомства. Я должна сделать все, чтобы сохранить ее. Нет, я иду за власть, за сохранение моей второй родины, которую уже научилась любить и уважать, потому что иначе эта власть погибнет, а с нею вместе и великая страна. Да, я пойду с сознанием полной своей правоты и поведу за собою других. Я готова, во мне нет колебания. Но теперь еще рано, а завтра, может быть, будет поздно — поздно потому, что каждую минуту меня могут отвезти в монастырь, а рано — потому, что нет еще вокруг меня достаточно людей, во главе которых должна стать я.

Одар с восхищением смотрел на эту женщину; каждое ее слово дышало умом, и видно было, что все, что она говорила, было не только мучительно продумано, но перечувствовано ею.

— Я знаю,— продолжала Екатерина,— в гвардии у меня есть надежные слуги — там Орловы, Пассек, Потемкин работают умно, дельно и толково, большинство молодежи на моей стороне, но, к несчастью, все это именно молодежь. Довериться ей, одной ей — безрассудно. Правда, много недовольных и в народе, и среди духовенства, и среди нижних чинов, но все это — недовольства отдельные, не сплоченные; нужно связать их. А как это сделать? Самой — невозможно. Каждый шаг мой наблюдается. Вы, иностранец, должны в большинстве случаев быть посредником между мною и моими друзьями... Какие известия о старике Разумовском?

Гетман Разумовский, любимый гвардией, был лицом, привлечение которого на свою сторону казалось Екатерине весьма важным. Алексей Орлов, брат Григория, несколько времени тому назад сделал попытку обратиться к нему с намеками, осторожными и отдаленными, но гетман сразу понял их и посоветовал Орлову ехать «к другому», сказав: «Он умнее нас»,— после чего потушил свечи и пожелал своему гостю покойной ночи.

— Тогда молодой Орлов слишком поспешил,— ответил Одар.— Нужно было взять гетмана с другой стороны. Теперь он наш.

— Правда? Вам это поручили передать мне?.. Каким же образом это выяснилось? — с радостным, нескрываемым удивлением переспросила Екатерина.

— Нужно было действовать через любимца гетмана Теплова. Это был единственный путь, и мы достигли.

Екатерина вздохнула свободней, после чего проговорила:

— Это — очень важное известие, очень важное!

— Михаил Никитич Волконский тоже на нашей стороне.

— Племянник Бестужева, начальник конной гвардии?

— Да.

— О нем я думала и раньше. Через Дашкову я имею тоже сведения о Панине.

— Ваше величество доверяетесь ей безусловно?

— Кому?.. Дашковой?.. Вы думаете, что она с сестрой имеет что-нибудь общее?

Екатерина Романовна Дашкова, рожденная графиня Воронцова, была родною сестрой графине Елизавете Романовне, фаворитке Петра III.

— О, нет! Я уверен, что она предана вашему величеству, но ведь ей всего девятнадцать лет!

— Это — другое дело, и, поверьте, я знаю, что сказать ей и что скрыть. Все ей знать не годится. Все, что идет через вас, остается для нее неизвестным.

Одар лишь почтительно поклонился.

Но известие об участии Разумовского в переговорах интересовало Екатерину более разговора о Дашковой, и она продолжала:

— Да, гетман Разумовский, Волконский, Панин — это уже известная сила. Но все-таки никто из них не согласится взять в свои руки все нити, связать все, а без такого ума дело немыслимо. Орловы... Они много делают, но боюсь я их молодости. Сама я?.. Но я тоже подчас боюсь своей самоуверенности; к тому же я связана по рукам и по ногам... Это-то меня и мучит... Нужно ждать отъезда в армию, когда начнется война с Данией. Но до этого времени меня могут отослать в монастырь. Если выдать приказ сегодня,— нужно сегодня же действовать, нужно знать минуту, нужно, чтобы был человек, способный дать вовремя сигнал, по которому двинулось бы все...

— И только это затрудняет ваше величество? — спросил Одар.

— Только это! Разве это «только»? Да ведь в этом все... в этом все дело...

— Такой человек есть к услугам вашего величества.

— Вы говорите, есть? Кто же он, кто? — с видимым нетерпением произнесла Екатерина, быстро подняв голову.

Одар улыбнулся.

— Вспомните, ваше величество, через кого вы имели до сих пор главнейшие сведения; вспомните, у кого собираются нужные вам люди, кто вам всегда докладывал, что сделано то или это, не говоря о том, кем оно сделано; вспомните наконец, кто постоянно верит в вашу будущность и говорит вам о ней.

Обрадовавшаяся было Екатерина грустно опустила голову! Ясно было, что пьемонтец намекал на себя самого. Правда, все, что он говорил, было справедливо — он делал многое, но Екатерине казалось, что этот скромный, рекомендованный ей Дашковой, иностранец способен действовать только под чьим-нибудь руководством. Она даже не могла ожидать от него такой самоуверенности и не могла думать, что он заговорит теперь о себе. Ей нужен был не никому неизвестный, маленький, но преданный управляющий, подчиненный ее, а человек с авторитетом, в который могли бы не только поверить остальные, но и она сама. И самоуверенность Одара не понравилась ей.

— Вы говорите о себе, — ответила она. — Я вам очень благодарна, ценю ваши услуги и способности. Но неужели вы думаете, что пьемонтец Одар — простите меня, дело слишком важно, чтобы не говорить о нем откровенно, — может исполнить ту роль, о которой я говорю?

Пьемонтец не обиделся на эти, может быть, немного жестокие слова, хотя и соответствовавшие смелости, которую он взял на себя.

— Неужели, ваше величество, не узнаете меня? — сказал он только, но уже не на том ломаном французском наречии, на котором объяснялся до сих пор, а на чистом французском языке, лишь с едва заметным пьемонтским акцентом.

И, сказав это, он снял свои темные очки, скинул парик, из-под которого рассыпались черные, как смоль, волосы, и дал своему до сих пор растянутому рту нормальное положение.

Теперь пред Екатериной, смутившейся в первую минуту этой переменой, стоял не пьемонтец Одар, ее управляющий, а известный, испытанный, давно преданный друг ее покойной матери — граф Сен-Жермен, имя которого повсе-

местно пользовалось громкою известностью. Екатерина сделала невольное движение вперед и воскликнула:

— Граф, это — вы? Неужели это — вы?

— Ваше величество усомнились в способностях Одара, может быть, поверите более графу Сен-Жермену,— сказал он, низко опуская голову пред нею.

Не верить ему Екатерина не могла. Она помнила их свидание во время дороги, принесшее ей много пользы, потому что тогда ей был указан Бестужев, которого она считала врагом, а впоследствии оказалось противное. Она не могла не верить общей молве, создавшей таинственному графу такую громкую славу, и, главное, не могла не верить письмам матери, в которых та всегда отзывалась о Сен-Жермене, как о человеке, которого она уважает.

— Но зачем же тогда не сразу, давно вы не сказали мне, кто вы? Зачем это имя Одара? — снова заговорила Екатерина.— Сколько времени вы при мне, и я не знаю, что так часто вижусь с человеком, близко видевшим кончину моей матушки. О ее смерти я знаю лишь по письмам и донесениям.

Всегда спокойная и необыкновенно ровная, несмотря на все тревоги, которые она переживала, Екатерина взволновалась теперь и говорила быстро, нервно.

— Не все ли равно вашему величеству, кто я и что я: доктор Шенинг, Жермен или Одар, а, может быть, ни то, ни другое и ни третье? — ответил Сен-Жермен.— Знайте, что я — человек, который обещал вашей матушке, пред ее смертью, прийти вам на помощь, по мере моих сил, когда вы будете нуждаться в людях, и я пришел, чтобы сделать, что можно. Ни под именем графа Сен-Жермена, ни под другим каким-нибудь я не мог явиться ко двору; ведь это было бы слишком явно и заметно,— теперь уже ищут именно среди придворных того, чего там нет; боятся Шувалова, ни в чем неповинного; но это скрывает настоящие следы. Мне нужно было получить скромное место управляющего.

— Но вам могли не дать его.

Сен-Жермен, пожав плечами, возразил:

— Что должно сделаться, то всегда делается. Пред вашим величеством я скрывал себя до сих пор потому, что было преждевременно сказать, кто я, а потому я взял имя Одара; пусть скажут вам Орлов или Пассек.

— Они знают вас? — удивилась Екатерина.

— Давно, ваше величество.

— Знают вас как графа Сен-Жермена?

— И не одни они, а большинство ваших друзей. Простите, что я должен был скрывать от вас, но и сегодня не открылся бы, если бы не заметил в вашем величестве колебания.

— Колебания! — повторила Екатерина.— О, нет, теперь я не колеблюсь! Теперь я верю вам и в доказательство моего доверия ни с кем не скажу никогда ни слова о нашем разговоре. Вы для меня останетесь прежним Одаром до тех пор, пока сами не захотите объявить свое имя.

Сен-Жермен поклонился.

— Я не хотел бы никогда объявлять его, ваше величество. Пусть в этом деле не будет известно, какое участие принимал в нем граф Сен-Жермен. Я служу вам, потому что служу правде, и большего мне не нужно. Пройдут года, имя Одара, может быть, попадет в чьи-нибудь записки, но на нем будущий историк не остановится долго и пропустит его, а имя Сен-Жермена слишком громко, как...

— Как что? — спросила Екатерина.

— Как шарлатана, ваше величество,— понижая голос, досказал граф.— Тут пусть рассказывают про меня разные нелепости, а настоящее дело останется неизвестным.

Екатерина вполне уже овладела собою и ответила с тою своею особенною улыбкою, которая притягивала к себе каждого:

— Но во всяком случае для меня вы останетесь другом принцессы, моей матушки. Расскажите же мне о ней!

И Сен-Жермен стал рассказывать о последних днях принцессы Иоганны, скончавшейся два года тому назад, в мае 1760 года, в Париже.

V

ПОЕЗДКА НА МЫЗУ

После своего разговора с Орловым Артемий оказался всей душой преданным императрице, чего, впрочем, вполне ожидал Орлов. Он был уверен в молодом человеке, которого знал давно и знал также, что он принадлежит к кружку, образованному Сен-Жерменом в Кенигсберге, а следовательно, и теперь в Петербурге, должен примкнуть к ним.

Поэтому он прямо сказал Артемию, что отвезет его на другой же день на мызу, недалеко от Петербурга, где собираются люди, мыслящие одинаково с ними.

В назначенное время Орлов заехал за Артемием, и они, сев на лошадей, верхом поехали за город, как будто на прогулку. Они ехали совсем рядом, по мягкому, обросшему кое-где травкой, берегу реки Фонтанной, минуя красовавшиеся по сторонам барские дома с их садиками и широкими дворами за нарядными решетками.

— Посмотри, недурна! — толкнул локтем Орлов Артемия и кивком головы показал на садившуюся в карету у одного из домов девушку.

Артемий посмотрел и... невольно осадил лошадь. В карету садилась Ольга.

Он, казалось, княжну Проскурову узнал бы не только так вот, как увидел ее, — прямо в лицо; нет, даже если бы пришлось ему хоть за версту взглянуть на нее, он и тогда сказал бы, что это — она.

Но Ольга не могла видеть его. Она слишком скоро, не смотря в его сторону, села в карету, гусары вскочили на запятки, и карета быстро укатилась, подхваченная четверкою рослых коней.

Это была минута страшного испытания для Артемия.

Сколько долгих, мучительных лет он не только не видел Ольги, но даже не слышал о ней ничего — здорова ли она, жива ли, что с ней, где она... И вот наконец судьба сталкивает их опять, и она жива и здорова, и все так же прекрасна, как и прежде, нет... она лучше прежнего, еще прекраснее.

Первое чувство, охватившее Артемия, была радость, причем она заключалась, во-первых, в том, что он видел княжну здоровою, во-вторых — что он просто видел ее, и наконец, и это было главное, в том, что он любил ее попрежнему.

Да, он любил Ольгу по-прежнему, но научился теперь владеть своим чувством. Будь это три года тому назад, Бог знает, что могло бы произойти с ним; но теперь, только придержав лошадь, он сжался весь, и ни один мускул его лица не тронулся, ни одно движение не выдало его; только сердцу не мог приказать он не забиться сильнее, и оно застучало, забилось, как пойманая птица в клетке.

Карета укатилась. Орлов спокойно повернул и подъехал к воротам, у которых осталась прислуга, провожавшая княжну. Все это были люди, новые для Артемия. Он

не помнил их по Проскурову, но узнал на них ливрею князя.

— Послушай-ка, красавец писаный,— обратился Орлов к высокому рыжему парню в веснушках и с попорченным оспою лицом,— чей это дом, а?

Артемий издали слушал.

— А вам что, собственно? — переспросил парень, обидевшийся на слово «писаный красавец», потому что это название вызвало улыбку на лицах остальных.

— Это — дом князя Проскурова,— с важностью ответили из толпы, оробев, должно быть, пред важною, барскою осанкой молодого Орлова, поистине писаного красавца.

— А это что же — княжна или княгиня будет сама?

Сердце Артемия забилось еще сильнее. В самом деле Ольга могла выйти замуж в его отсутствие, и он, притаив дыхание, как невинно судимый ждет оправдания или приговора, ждал ответа на сделанный Орловым вопрос.

— А это — княжна, дочь князя Андрея Николаевича,— отвечали опять, и свет, и жизнь вернулись к Артемию.

Орлов засунул руку в карман, вытащил горсть медных денег и, кинув ее в толпу, толкнул ногою лошадь.

— Что с тобою? — спросил он, подъехав к Артемию.

«Ага, все-таки заметно!» — мелькнуло у того, и он постарался как можно спокойнее ответить:

— Ничего... После расскажу как-нибудь.

Орлов еще раз обернулся в ту сторону, куда исчезла карета, и они поехали дальше.

«А отчего после, зачем после? — думал Артемий.— Рассказать ему сейчас... да, конечно...»

— Да я сейчас расскажу тебе,— проговорил он вслух.— Знаешь ли, эта девушка, которую мы видели сейчас... ну, словом, княжна Проскурова...

И он, не торопясь, передал Орлову все свои связанные с княжною Проскуровой воспоминания, сам радуясь им и с любовью останавливаясь на каждой мелкой подробности.

Орлов слушал его не перебивая.

— Это бывает иногда у женщин,— сказал он наконец, отвечая на главное, то есть на то, что должно было составлять самое причину страдания Артемия — внезапную перемену в Ольге при последнем их свидании.— Женщины, в

особенности девушки, так «капризны», как называют это французы,— вот у нас подходящего слова нет,— что никогда не знаешь, как с ними обходиться... И ничего не значит, что княжна приняла тебя так последний раз... А хороша она, хороша... можно тебя поздравить — очень хороша...

— Ну, поздравлять еще не с чем! — перебил Артемий.

— Все устроится! — протянул Орлов,— дай только кончить наше дело, и тогда княжна будет твоею... я ручаюсь за это...

«А ведь в самом деле! — чувствуя, как, словно от удара молнии, встряхнулось все в нем, мысленно согласился Артемий,— в самом деле...»

И соображение Орлова показалось ему вдруг настолько вероятным, что он боялся продолжать говорить о нем.

— Ну, и хорошо, ну, и не будем говорить об этом! — произнес он вслух.— Как фамилия того управляющего, к которому мы едем?

— Одар,— коротко ответил Орлов.

— А как он пишет свою фамилию, этот Одар? — спросил опять Артемий.

Орлов глянул ему прямо в глаза и назвал латинские буквы: o, d, a, r, t.

Артемий снова задумался.

«Odart» — наоборот выходило — «trado», то есть отдаю, передаю, вручаю... У Плавта где-то сказано — «trado tibi regnum», передаю тебе царство... Мало того, Артемий знал, какая сила носит таинственное название «od» (первая часть имени) и что значит остальное — art. Он уже умел читать это слово в таинственном его смысле... И вдруг его поразило еще новое: если от пяти букв имени «odart» взять одну «d», то есть четвертую, священную букву алфавита, то останется «oart» или при перестановке выйдет «taro, tora, rato, orat», и еще более таинственное значение этих четырех слов было также известно ему.

Но кто же мог носить такое имя, невольно долженствовавшее поразить всякого посвященного? Тут едва ли могла быть простая случайность. Нет, это имя мог избрать себе человек, знавший то, что он делал, а таким человеком мог быть только один.

— Григорий Григорьевич,— вдруг воскликнул Артемий,— «odart» — ведь это о н!..

Орлов опять посмотрел ему прямо в глаза и с улыбкой утвердительно кивнул головою.

— Да? — переспросил Артемий.— Ну, так скорее к нему!..

Они дали лошадям шпоры, и те, наскучив идти шагом, крупною рысью пустились по дороге.

VI

АГЕНТ

Граф Сен-Жермен, выйдя из кабинета императрицы и снова преобразившись в управляющего-пьемонтца, под париком которого никто не был бы в состоянии узнать его, отправился прямо на мызу, где к вечеру ждал к себе гостей. Он уехал в одноколке, как и должен был это делать скромный управляющий, и по дороге даже заехал в лавки за кое-какими покупками для хозяйства.

Добравшись до своей мызы, он остановился у кузницы, поговорил с кузнецом, насколько тот мог понимать знаки и мимику иностранца-управляющего, не говорившего ни слова по-русски, потом внимательно оглядел возвращавшееся с поля стадо и только тогда уже подъехал к маленькому, низенькому домику в две комнаты под соломенною крышей, где он жил. Остановив свою лошадь у чистенького, дубового крылечка домика, граф вышел из одноколки, поджидая, что ему навстречу выбежит служивший у него человек, который должен был слышать стук подъехавшего экипажа. Но он не появлялся.

— Петручио! — крикнул граф.

Петручио был несколько дней тому назад поступившим к нему слугой-итальянцем, завезенным каким-то русским барином из Италии и скитавшимся без места по Петербургу. Своего слугу Сен-Жермену пришлось отправить спешно с поручением за границу, и он взял на время бесприютного Петручио.

Граф позвал его еще раз, но опять напрасно.

Это казалось подозрительным.

Сен-Жермен, оставив лошадь, быстрыми шагами вошел на крылечко, миновал крошечную прихожую и отворил дверь в первую комнату, служившую ему и приемной, и кабинетом.

Первое, на что он взглянул, войдя в комнату, был стоявший в углу дубовый крепкий шкаф, окованный железными полосами. Первая — наружная — дверца этого шкафа запиралась простым замком,

«Так и есть»,— улыбнулся Сен-Жермен.

Эта дверца была открыта настежь. Но за нею была еще доска на секретном механизме с двумя медными скобами, к которым были проведены изнутри приводы от сильно заряженной лейденской банки, так что человек, не знавший, в чем дело, но пожелавший проникнуть в шкаф, должен был взяться руками за скобы,— потому что иначе нельзя было открыть,— и, взявшись, получить сильный электрический удар, соединив собою цепь и разряжая вследствие этого банку.

Сен-Жермен достал так называемый «разрядчик», приложил его к скобам,— искры не оказалось. Банка была уже разряжена.

Сомнения больше не было: Петручио, пользуясь отсутствием графа, пытался забраться в его шкаф и получил весь заряд электричества.

Сен-Жермен не мог удержать новую улыбку, представив себе, что сделалось с любопытным итальянцем в первую минуту, когда его тряхнуло, и какую он, вероятно, скорчил при этом гримасу, сочтя полученный удар за сверхъестественную силу.

— Петручио! — крикнул он опять.

Но ответа опять не было.

— Петручио! — повторил Сен-Жермен, и на этот раз голосом, в котором слышалась такая сила приказания несокрушимой воли, что, казалось, прикажи он двинуться этим голосом стене, и она двинулась бы.

В каморке за прихожей послышалось неуверенное движение.

«А, наконец!» — подумал Сен-Жермен.

На пороге показался бледный, словно в воду окунутый, Петручио. Он теперь боялся не только войти в комнату, но даже взглянуть в тот угол, где стоял напугавший его шкаф.

Он втянул голову в плечи и не поднимал опущенных глаз.

— Петручио,— спокойно приказал граф, как будто не произошло ничего особенного,— закройте, пожалуйста, эту дверцу у шкафа...

Петручио ничего не ответил, но и не двинулся.

— Закройте, я вам говорю!

Петручио покосился на угол. Судорожная дрожь пробежала по всему его телу, как будто он еще раз коснулся этих заколдованных скобок.

— Я не могу сделать это, синьор! — чуть слышно прошептал он.

— А, значит, вы уже пробовали, что так уверенно говорите, что не можете?

— Нет, я ничего не пробовал... нет, я ничего не делал... я per bacco не виноват, синьор, клянусь вам своим патроном!..

— Кто же отворил дверцу, если не вы?

Петручио вдруг всплеснул руками и заговорил неожиданно быстро:

— Синьор, эта дверца была уже отворена, она не была заперта; я подошел и хотел только почистить эти блестящие медные скобки, и вдруг со мной случилось что-то такое особенное, словно все внутренности перевернулись во мне, и страшный удар в грудь оттолкнул меня... О, не подходите к этому шкафу — в нем, вероятно, поселился дух, не подпускающий к себе. Мы живем в заколдованном доме...

Но Сен-Жермен на глазах Петручио подошел к шкафу, взялся обеими руками за скобы, попробовал, крепко ли держится доска на своем механизме, а затем обернулся к Петручио:

— Вы видите, кто подходит без дурных целей, того дух этого шкафа не трогает.

Он оглядел наружную дверцу. В ее замке оказался поддельный ключ, с перепуга забытый тут Петручио.

— Ну, а этот ключ тоже дал вам дух или, может быть, он заранее открыл дверцу? — спросил Сен-Жермен.

Теперь Петручио уже совершенно не знал, что отвечать ему. Он был окончательно пойман.

Граф близко подошел к нему и спросил:

— Откуда у вас ключ, Петручио?

Тот все еще мялся, но затем вдруг тряхнул головою и, словно решившись, заговорил так, что слова потекли у него, точно вода из прорванной плотины:

— Синьор, в этом уж я — сама Мадонна — свидетельница — не виноват... Ключ я получил от одного синьора, который, как бес — будь ему нехорошо на том свете — соблазнил меня... Синьор... простите, синьор, но я — бедный человек, синьор... и вдруг мне дали большую сумму...

— Чтобы вы следили за мною?

— Вы это знаете, синьор? — удивился Петручио.

Сен-Жермен пожал плечами.

— Мало ли что я знаю! Я знаю, может быть, и имя того, кто нанял вас... Хотите, я вам назову его?

— О, синьор!..

— Вас нанял тоже ваш соотечественник, Джузеппе Торичиоли,— проговорил граф.

Петручио вновь вздрогнул, как будто новая электрическая искра пронизала его тело. Он не только с испугом, но с каким-то подобострастным ужасом взглянул теперь на своего господина и едва выговорил:

— Вы все знаете, синьор, вы все знаете и все можете. Сначала я удивлялся тому синьору, синьору Торичиоли, откуда у него от вашего шкафа ключ, который он дал мне, а теперь я удивляюсь вам... Простите меня!..

Простодушие Петручио понравилось графу.

— Ключ он достал очень просто. Когда он был у меня в последний раз, он, воображая, что я не вижу этого, сделал воском слепок с замка и заказал ключ по этому слепку... вот и все... Ну, а какую сумму обещал платить вам синьор Торичиоли?

— Двадцать рублей в месяц.

Презрительная улыбка скользнула по губам Сен-Жермена.

— Я вам дам,— раздельно произнес он каждое слово,— сто рублей в месяц, если вы сейчас же отправитесь к Торичиоли, скажете ему, что я прогнал вас за то, что вы разбили что-нибудь у меня, скажете, что вам некуда деваться, и попроситесь служить у него хоть даром, лишь бы иметь кров, а сами аккуратно будете доносить мне все, что делает синьор Торичиоли.

Глаза Петручио широко открылись.

— Сто рублей! — проговорил он.— Четыреста лир!.. Ведь это — целое состояние...

— Оно будет ваше, но помните, что вы видели, что мне известно многое, и, если хотя бы с вашей стороны будет малейшее отклонение, берегитесь духа...

— О, синьор, я буду служить вам, я буду служить вам...

— Еще одно условие: всякому, кто покажет вам на своей руке этот перстень, вы будете повиноваться, как мне самому,— и граф показал Петручио большой агатовый перстень, на камне которого были вырезаны змея, пентаграмма и буквы «C. S.-G.».

— Да, я буду повиноваться,— подтвердил Петручио.

Через полчаса он, получив от Одара десять червонцев в задаток за свою службу, уже ехал в город в той же самой одноколке, в которой вернулся Одар на мызу.

VII

СОВЕЩАНИЕ

Едва успел граф отправить Петручио, как на мызу к нему с разных сторон стали съезжаться поодиночке и по несколько зараз гости, которых он ждал к себе.

Артемий с Орловым явился довольно поздно, когда почти все были в сборе. К своему удивлению, он увидел себя здесь окруженным людьми, большинство которых было известно ему по Кенигсбергу: это оказался тот же, хотя и развившийся с тех пор, кружок, с которым Артемий познакомился уже три года тому назад. В продолжение этих трех лет связь кружка не только не сделалась слабее, но, напротив, окрепла и развилась.

Граф Сен-Жермен не забывал дома в узенькой старинной улице Кенигсберга. Он наезжал туда, каждый раз заранее назначая время своего прибытия и никогда не опаздывая ни на минуту против назначенного срока.

Артемий виделся с ним и изредка писал ему (всегда, однако, по одному и тому же адресу — в Париж) и получал ответы. При последнем их свидании в Кенигсберге граф сказал ему:

— До свиданья, до Петербурга теперь.

— Как до Петербурга? — удивился Артемий, думая, что он ослышался.

— Да, до Петербурга,— повторил Сен-Жермен,— мы встретимся с вами уже в Петербурге...

Может быть, прежде Артемий поразился бы той уверенности, с которой это было сказано. То, что граф, видимо, вполне свободный человек, мог поехать в русскую столицу, когда ему вздумается, не могло показаться невероятным, но как мог туда попасть сам Артемий — это он не умел придумать. Однако он уже давно разучился удивляться всему, что касалось его руководителя и наставника, таинственного графа. Он привык верить ему. Раз графом было сказано, что так будет,— значит, оно и должно быть так.

И действительно все случилось теперь как по-писанному: Артемия совершенно неожиданно для него самого послали курьером в Петербург, и почти немедленно по приезде сюда он должен был отправиться с Орловым к пьемонтцу Одару, под именем которого ему легко было по значению составлявших это имя букв узнать графа Сен-Жермена.

Своих гостей, заключенных в нравственной цепи, главным звеном которой являлся он сам, Сен-Жермен не боялся принимать, выходя к ним не под париком Одара, а так, как они привыкли видеть его ранее.

Когда Артемий очутился на мызе среди знакомых, своих лиц, ему показалось, что он все еще в Кенигсберге и сидит у их ласкового хозяина, когда они, бывало, собирались к нему по вечерам. Только обстановка комнаты была несколько иная, и лица теперь, не исключая самого графа, были серьезнее и сосредоточеннее.

В окна глядели прозрачные северные сумерки, позволявшие не зажигать в комнате свечей и наполнявшие ее таинственной полутьмой, в которой все лица и предметы казались силуэтами. Впрочем, отсутствие свечей было одной из предосторожностей на случай внезапного приезда какого-нибудь нежеланного гостя, хотя, правда, такие гости на отдаленную ферму почти не заглядывали. Ради предосторожности же сидели не в первой комнате, выходящей окнами к крыльцу, а в следующей, расположенной со стороны сада. Сад был обнесен забором, и его калитка была заперта на ключ.

У круглого стола между окон сидел граф. Возле него было несколько человек, остальные разговаривали стоя. Орлов с братом сидел на низеньком подоконнике.

Артемий, как приезжий, не мог ничего рассказать нового — разве только о недовольстве, господствовавшем в армии, откуда он приехал; но разговор шел об императрице, и Артемию было интереснее слушать, чем рассказывать самому. Он отошел в сторону и остановился в углу, прислонившись к печке. Отсюда ему были видны вся комната и все находившиеся в ней. Однако все они казались взволнованными настолько, насколько можно было быть взволнованным в присутствии графа, этого железного, как казалось, человека, никогда ничем не волновавшегося и сообщавшего свое удивительное спокойствие всем, находившимся в его обществе.

Сен-Жермен передал подробности своего сегодняшнего доклада у императрицы, положение которой во дворце с каждым днем становилось все хуже и хуже.

— Представьте себе,— произнес преображенец, останавливаясь среди комнаты и привлекая общее внимание,— Петр открыто, не стесняясь, выражает теперь свое благоволение к Воронцовой, которая позволяет себе относиться с неизъяснимым высокомерием к государыне.

— Да,— подтвердили у стола,— вы знаете, на днях он прямо сказал Дашковой, что лучше ей держать сторону своей сестры.

— Хуже этого: вот дословно его обращение к Дашковой,— это при мне было,— и говоривший это встал и постарался передать слышанные им слова с тою же интонацией, с какой они были сказаны Петром Третьим: «Будьте к нам,— сказал он,— немножко повнимательнее. Ваши интересы требуют, чтобы вы изучили мысли своей сестры и старались снискать ее покровительство».

— Ее покровительство! — послышалось кругом.— Это ужасно, просто ужасно!..

— А вы знаете подробности об обеде в честь мира с Пруссией? — заговорил еще кто-то.

Орлов повернулся на подоконнике и стал угрюмо смотреть в окно. В руках он нервно вертел палку, которою подпирали раму, когда она бывала поднята.

— Когда пили за здоровье императорской фамилии,— продолжал начавший рассказ,— то после тоста Петр велел стоявшему за креслами Гудовичу спросить императрицу, отчего она не встала при тосте. Должен же он был знать, однако, что государыне вставать и не приличествовало, раз она принадлежит сама к императорской фамилии... или он не считает, что она принадлежит к последней? Но когда Гудович передал ответ императрицы, которая объяснила, что не встала согласно этикету, то он крикнул ей через весь стол: «Дура».

Палка крякнула в руках Орлова и сломалась пополам. Он не мог слышать равнодушно рассказ об эпизоде, который был известен ему уже ранее во всех подробностях. Но в числе присутствующих были и такие, между прочим Артемий, которые еще ничего не слышали.

— Да что ж это? — заговорили опять все сразу.— Когда же это кончится?.. Дольше не может же это продолжаться!.. Ведь она наконец не вынесет всего этого... это в гроб уложит ее... или в монастырь сошлют... Нужно решиться наконец... нужно действовать... что же мы сидим, разговариваем?

— Нужно действовать, граф,— решительно поднимая голову и отбрасывая в сторону куски сломанной палки, обратился Орлов к Сен-Жермену, до сих пор хранившему свое молчаливое спокойствие.

За Орловым и остальные обратились к нему:

— Да, граф, нужно действовать, нужно начать, пора.

Всеобщее возбуждение росло.

Сен-Жермен, один оставшийся по-прежнему спокойным, провел рукою по лицу и твердо произнес:

— Нет, не пора еще: вы все еще слишком готовы разгорячиться.

— Да что мы! — снова послышались голоса,— о нас нечего говорить, теперь не о нас речь...

— Да, но от вас зависит успех дела. Малейшая неосторожность, малейшая горячность погубит его.

— Зачем губить,— громче остальных проговорил Орлов,— но нужно вспомнить только, каково ей!.. ей-то каково!.. И горы, кажется, двинутся ей на помощь, должны двинуться по крайней мере...

— О, не слишком, не слишком! — движением руки остановил совсем разгорячившегося было Орлова Сен-Жермен.— Вот видите — вы забыли главное.

— Что главное? — переспросил Орлов.

— То, что, чем хуже ей теперь, тем лучше... Ничего в жизни не бывает случайно: случай — это неожиданность; но то, чего не ожидает не знающий, предвидит мудрый.

Сен-Жермен заговорил своим тем особенно музыкальным голосом, слушать который так любил Артемий и в звуках которого он с радостью узнал снова знакомую ему интонацию, так и льющуюся в душу, умиротворяющую и успокаивающую.

И вдруг под влиянием этого голоса стихло все кругом.

— Все, что происходит, как все, что имеет форму, вытекает из течения или равновесия известных сил,— продолжал граф,— и эти силы можно выразить просто цифрами, а посредством последних рассчитать, что должно случиться... Всякая резкость уравновешивается равной с нею реакцией; смех влечет за собою слезы и, наоборот, слезы сменяются радостью, а унижение — возвышением. Бойтесь, когда вам весело, и предчувствуйте радость, когда вы плачете!.. Так, сегодня Навуходоносор объявляет себя равным Богу, а завтра преобразуется в бессмысленное животное... Сегодня торжествующий Александр Великий входит победителем в Вавилон и на алтарях ему зажигается ладан, но наступит завтра — и он умрет, упоенный вином и униженный своим невоздержанием... Будущность заключена в прошедшем и прошедшее — в будущем. Когда человек предвидит — он только вспоминает!.. Но вы знаете, что человек своею волею может изменить цепь причин, вызывающих события, и поступай-

те сообразно этому. Наше дело должно иметь исход благоприятный, как вывод из всего, что происходит теперь, но вы должны действовать не как слепцы, пробирающиеся ощупью, но как люди, обладающие светлым и ясным зрением. Когда слепец захочет сделать хорошо — у него в большинстве случаев выйдет дурно. Дыхание невежды может быть смертельно, дыхание мудрого — желательно!.. Когда страдает незнающий,— он заставляет страдать других, но мы... мы знаем, что это страдание принесет великие плоды.— Сен-Жермен поднялся со своего места. Глаза его блеснули особенным блеском, он поднял голову.— Помните,— заговорил он опять,— что не долго то время, когда вы будете сильными мира сего: вас ждут возвышение, почести, награды, на вас посыплются милости вашей новой, любимой, прекрасной и мудрой императрицы Екатерины. Но не забывайте прожитого вами до сих пор времени — времени, когда вы были неизвестными, маленькими людьми; тогда к вам придут за вашей помощью другие маленькие люди, голодные будут просить накормить их и холодные — согреть их; не оттолкните от себя этих людей! Христос отдал Свое тело и напоил землю Своею кровью. Стремитесь к нему, старайтесь делать доброе во имя Его, и тогда счастье не оставит вас. Ну, а теперь к делу — будьте готовы по первому же призыву действовать. Время окончания нашего дела близится и наступит, может быть, скорее, чем вы думаете. А пока я каждому из вас отдельно скажу, что нужно предпринять теперь.

После этих слов графа разговор принял уже вполне характер делового совещания.

VIII

БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ

Не прошло недели с тех пор, как Торичиоли был у стариков Эйзенбахов, чтобы передать им рассказ Артемия, как он снова явился к ним, будто для того, чтобы проведать.

На дворе стоял жаркий солнечный день, вполне летний. Войдя в гостиную Эйзенбахов, Торичиоли не мог не заметить теперь отсутствия в ней того изящества чистоты, которым всегда отличалось жилище барона. До сих пор все блестело в этой гостиной, далеко не роскошной, но сохранившей еще несколько дорогих вещей, как остаток прежнего величия барона: пред диваном стоял стол

карельской березы, с потолка спускалась медная люстра с стеклянными подставками, в простенке висело большое зеркало, составленное из трех квадратов; все это были вещи хорошие и дорогие. Но теперь зеркало потускнело от легкого слоя пыли, севшего на него, стол был сдвинут, на одном из окон была забыта опущенной штора с разрисованным на ней рыцарем, похожим на пастуха, или пастухом, похожим на рыцаря. Вообще по этой изменившейся обстановке сразу было видно, что хозяйские руки баронессы Луизы опустились.

Торичиоли пришлось подождать немало: Он должен был несколько раз по крайней мере пройтись по комнате, пока наконец вышел к нему барон.

— Вы нас извините,— растерянно заговорил он,— у нас не прибрано... знаете, после того дня... как... вы были у нас, жена и я... чувствуем себя очень дурно... Впрочем, садитесь.

Несчастный вид барона, его небритая борода, растерянный говор и даже внезапные слова «впрочем, садитесь» вполне соответствовали всему окружающему. Ясно было, что до подробного рассказа о том, как именно был ранен и упал их сын, старики Эйзенбахи еще надеялись, теперь же всякая надежда оставила их.

Торичиоли сел. Барон опустился на стул против него.

— Да,— начал было он опять, но тут уже не выдержал, глаза его заморгали чаще, и слезы закапали из них.

— Вы все о сыне, о своем Карле! — проговорил Торичиоли очень-очень нежно и склонил голову на сторону.

Эйзенбах, силясь удержать непослушные слезы, глянул сквозь них на итальянца, как будто говоря этим взглядом: «А разве я могу, разве мы с моей Луизой можем думать теперь о ком-нибудь другом?»

Торичиоли вздохнул и вдруг сказал:

— Но знаете, барон, иногда известия, в особенности с войны, бывают ложны.

Барон махнул рукою:

— Думали мы так... пробовали думать, но нет, это верно. Не утешайте напрасно!.. Вы ведь говорили, что тот молодой человек сам видел.

— Но вашего сына могли неприятели поднять в числе раненых и держать затем, как пленного.

Глаза старика барона, широко открытые, остановились на Торичиоли; он смотрел на него уже тем неподвижным взглядом, каким смотрят люди, готовые помешаться.

— Да,— неумолимо продолжал итальянец,— теперь пленные возвращаются, может быть, и ваш сын...

— Послушайте,— вдруг сорвавшимся голосом перебил барон,— то, что вы говорите, очень жестоко... Послушайте, замолчите!.. Это только хуже мучит.

— Я только говорю, что теперь идет постоянный размен пленных. Государь на другой же день после восшествия на престол написал королю Фридриху: «Не умедлил я нимало потребные указы отправить, дабы пленные, в моей державе находящиеся, немедленно освобождены и возвращены были».

Торичиоли цитировал по памяти письма Петра III, словно чувствуя потребность говорить, но, не зная, как это сделать, говорил словами письма.

Барон закрыл лицо руками.

— Нет, нет,— перебил он снова,— тогда бы Карл давно вернулся... Отчего ему было не вернуться давно? О, я знаю Карла! Он все сделал бы, чтобы не замедлить ни минуты.

— Да, но, может быть, его задержало выздоровление.

Такая настойчивость Торичиоли начинала казаться странною.

— Да вы знаете что-нибудь? Вам известно? — с сердцем, точно относясь к своему смертельному врагу, спросил барон у итальянца.

— То есть видите ли,— начал тот,— я собственно... то есть я хочу только сказать, что все может случиться.

В это время от двери прямо к Торичиоли кинулась незаметно вошедшая старушка баронесса. Ее материнское сердце скорее и вернее отца угадало истину.

— Он жив, жив мой Карл! — крикнула она.— Да, вы приехали сказать нам об этом, вы приехали...

Дальше дыхания у нее не хватило, она не могла говорить, покачнулась.

Но барон вовремя успел поддержать ее.

— Да скажите же ей,— обернулся он к Торичиоли,— что нет, что это — неправда, что этого быть не может, если это — в самом деле неправда, а если... правда... то говорите... говорите!..

Торичиоли молчал.

— Нет, не говорите! — замахала руками старушка.— Нет, не надо... сердце разорвется. Да что же вы молчите, Herr Джузеппе... Herr Джузеппе... милый вы мой, милый!.. Он жив ведь?.. да?.. я угадала?.. Я знаю, что он жив... Где он?.. Иосиф... Иосиф Александрович?

Она в своем волнении никак не могла наладить имя Торичиоли и, попав наконец на настоящее, приостановилась. Впрочем, теперь ей было не до имен...

А «Herr Джузеппе» стоял на этот раз действительно умиленный, и губы у него дрожали, и подбородок трясся.

— Да, вы угадали,— силился произнести он.

— Угадала! — болезненно-радостным стоном вырвалось из груди старушки, и частые рыдания заглушили ее голос.

Барон почему-то крепко держал ее за локти вместо того, чтобы посадить, и усиленно шамкал губами, двигая ими во все стороны. Но он понимал, что слезы жены — ее спасение в настоящую минуту и что испуг неожиданной радости, чуть не убивший ее на месте, пройдет вместе с этими слезами.

— Она пляшит, она пляшит, плакает,— проговорил он, потеряв в этот миг способность русской речи и забывая слова, как баронесса забыла имя итальянца.

Но все-таки он опомнился первый.

Он усадил наконец жену, велел принести для нее уксуса; но все это было делом одной минуты.

— Так у вас есть письмо, есть известия? Вы знаете что-нибудь из военной канцелярии? — стал спрашивать он, стараясь теперь скрыть свою радость, как за минуту пред тем старался скрыть свое горе, и боясь произнести имя сына, чтобы опять не впасть в новое безумие своего слишком большого счастья.

— Да, я имею сведения,— ответил Торичиоли.— Но ради Бога успокойтесь!.. Я и боялся, что известие произведет на вас такое впечатление... но что же будет, если он вернется...

— Он вернется!.. вы говорите, он вернется?.. так это мыслимо?.. О, да благословит вас Бог за одни эти слова! Ну, теперь ничего... теперь ничего, говорите, что знаете! — стал молить барон, уже привыкнув к своей радости и действительно овладевая ею.

— А что было бы, я спрашиваю только,— продолжал Торичиоли,— что было бы, если бы он уже вернулся? Мои сведения настолько достоверны, что вы можете считать, как будто он уже вернулся.

Баронесса сложила на груди руки и шептала молитву. Она уже чувствовала, как пред тем угадала, что ее сын жив, что Торичиоли должен сказать о его приезде.

Как ни был опытен итальянец в сношениях с людьми, но невозможно было, чтобы его сбивчивые речи все-таки не были угаданы матерью...

— Где он, где он? — спросила она.

— Он близко от вас... от Петербурга... то есть он подъезжает... может быть, подъехал... приехал... то есть приехал со мною,— голос Торичиоли дрогнул.— Вот он! — мог только добавить он.

В этот момент дверь из прихожей отворилась, и Карл, живой и невредимый, быстрыми шагами ворвался в комнату. Баронесса ахнула и упала в раскрытые его широко объятия; она припала к сыну и прижалась головой, охватив его шею, и дрожащими руками начала перебирать по его спине, словно ей мало было видеть его, нужно было еще чувствовать, трогать. Ее худое, измученное тело колыхалось от все не унимавшихся рыданий.

Сегодня утром Карл, приехав в Петербург, явился в военную канцелярию по начальству и, боясь испугать своим внезапным возвращением мать и отца, решился найти какого-нибудь общего знакомого, с тем чтобы тот предупредил его стариков и подготовил их. В канцелярии он встретился с итальянцем Торичиоли, лучше которого, казалось, нельзя было найти для нужного Карлу дела, и они прямо из канцелярии поехали домой.

Карл остался в живых тем самым простым и естественным путем, о котором уже говорил Торичиоли. Пруссаки подняли его после цорндорфской битвы раненного и, как офицера, отправили в лазарет. После своего выздоровления Карл должен был остаться в числе пленных. Дать знать о себе он никак не мог, потому что все сообщения с Россией были прерваны.

В то самое время, когда в доме старого Эйзенбаха происходила радостная встреча Карла, у князя Андрея Николаевича, в его богатом дворце, удача сменилась неприятностью.

Давно ли, кажется, князь, полный надежд и самых радужных планов, принимал у себя Эйзенбаха и боялся,

чтобы тот не расстроил его хорошего расположения духа, и вот теперь это расположение, не продержавшееся и неделю, сменилось самым мрачным. Проскуров ходил из угла в угол по своим отделанным и устроенным комнатам, но теперь уже ничто не радовало его и все казалось отвратительным и гадким.

— И нужно было сотни верст киселя есть... нужно было приезжать... Вот невидаль!.. Как? меня, князя Проскурова, принять так?!—ворчал он и опять ходил, и опять ворчал.

На нем был его бригадирский мундир, который он расстегнул только, но забыл снять, только что вернувшись из дворца.

Дело было в том, что государь принял его не только вовсе не так, как ожидал этого Проскуров, но даже так, как и предположить он себе не мог.

Прежде всего Петр совершенно не узнал Проскурова; он решительно не помнил своего посещения именья князя, когда завтракал у него. Из этого князь увидел, что напрасно надеялся на то, что именно сам государь приказал вернуть его из деревни.

Разговор затем у них произошел самый странный.

Петр, подойдя к Проскурову (это была не отдельная аудиенция, а общее представление), остановился пред ним и, видимо, затруднился, что бы ему такое сказать? Сердце князя сильно билось. Он уже видел по манере, с которою к нему подошли, что нельзя ждать ничего доброго. Петр мало изменился с тех пор, как Андрей Николаевич видел его у себя; у него были те же выпученные глаза, то же продолговатое лицо и то же выражение на нем застывшего испуга.

«Верно в детстве испугали его!» — подумал князь, ничуть не удивляясь той смелости, с которою он думает про государя, стоя пред ним.

Но Петр производил впечатление далеко не внушительное; напротив, в нем было заметно что-то слабое, болезненное, расстроенное, неестественно-жалкое.

— Ты умеешь курить кнастер? — вдруг спросил он Проскурова, совершенно неожиданно для того.

Князь смутился этим вопросом и не вдруг ответил:

— Нет, ваше величество, то есть я... я не знаю...

— Ах, глупая голова! Разве ты не знаешь, что всякий человек должен курить кнастер, чтобы не быть бабой?

Князь, овладев собою, закусил губу, боясь ответить, потому что ответ, который можно было дать и который чуть не сорвался с его языка, мог повлечь за собою еще большие неприятности.

Петр все еще стоял пред ним, слегка покачивая ногою.

— Ну, а службу на новый образец знаешь? а? знаешь?

Проскуров вспомнил рассказ барона про маршировку Трубецкого. Кровь прилила ему в голову — несчастный гневный припадок готов был овладеть им. Но он крепился из всех сил, чтобы сдержать себя. Он смотрел прямо в глаза Петра, стараясь не словами, но этим взглядом ответить ему.

Тот не понял ни этого взгляда, ни выражения лица князя.

— Да что же он молчит? — обернулся он к стоявшему за ним тонкому и длинному придворному, совсем еще юноше.— Он — совсем глупая голова!

С этими словами он повернулся и пошел дальше.

Все это произошло на глазах многих, на глазах стариков и молодежи.

— Видал я бироновские времена, но эти еще хуже,— злобно процедил сквозь зубы князь и, не дождавшись конца приема, вышел из зала.

Не были ли слышны его слова или не поняли их, но, к удивлению князя Проскурова, никто не остановил его, никто не удержал, как будто все так и быть должно и как будто прием происходил не во дворце русского императора, а в казарме.

Такое впечатление именно казармы и вынес князь Андрей Николаевич из своего посещения дворца.

В одном он только был уверен, а именно в том, что больше никогда не поедет туда.

IX

ЗАБОТА ОЛЬГИ

Весь дом уже знал, что князь Андрей Николаевич вернулся из дворца таким сердитым, каким давно его не видали в последнее время.

Мелкая дворня попряталась, как это обыкновенно водилось, по углам. Иван Пахомович ходил в буфетной совершенно так же, как это делал князь, ходя по залу и гостиным, и лишь изредка пробирался в столовую, чтобы по-

слушать, не утих ли князь и нет ли надежды, что гроза уляжется. Но этой надежды, по-видимому, не было, князь все ходил и ходил, и Иван Пахомович качал головою, вздыхал и на цыпочках возвращался в буфетную.

— Что, батюшка вернулся уже? — услышал он голос княжны, когда по крайней мере в двадцатый раз подходил к дверям, ведшим из столовой в зал.

Иван Пахомович закачал головою и заговорил чуть слышным шепотом:

— Вернулся, но таким, что лучше, княжна, ваше сиятельство, и не ходите к ним.

Княжна нахмурила брови.

— И не ходите! — повторил Иван Пахомович.— Уж сколько годов не видел я их такими... Оборони Бог теперь, какие сердитые!.. Не подступиться!..

Но дело, с которым княжна шла к отцу, было, видимо, слишком серьезным для нее делом, чтобы вернуться назад. Она не испугалась предупреждения дворецкого и прошла мимо него в зал.

Иван Пахомович боязливо пропустил ее в дверь и поспешил сейчас же закрыть эту дверь.

Войдя в зал, Ольга услышала сердитые шаги отца, приближавшегося ей навстречу. Она остановилась в ожидании. Старый князь показался в дверях.

Странные отношения установились между ними после разыгравшегося в Проскурове происшествия. Ольга скоро оправилась от своей болезни, не подозревая, разумеется, причины этого выздоровления,— причины, которая оставалась неизвестна никому, но которая, кроме благотворного влияния на здоровье Ольги, имела еще и другое, вполне действительное последствие: она забыла о своем чувстве к Артемию, забыла так, как будто это чувство исчезло в ней вместе с болезнью. Она нигде, ни с кем не заговаривала о любившем ее молодом человеке: ни с Дуняшей, ни с отцом, словом, решительно ни с кем. Князь Андрей Николаевич заметил эту ее особенность, не мог понять, отчего это происходит, не мог объяснить себе ни быстрое исчезновение болезни дочери, ни внезапную ее перемену в отношении к «найденышу» и, наведя обстоятельное следствие, мог убедиться лишь, что начало всего этого как раз совпадает со вторичным посещением Ольги доктора Шенинга. И он впервые в жизни согласился, что доктора что-нибудь да понимают. Но с Ольгой он тоже никогда не говорил об Артемии и даже старался избегать всякого намека, так или иначе касающегося этого, как он думал,

больного места в сердце дочери. И вот именно вследствие того, что был предмет, который они обходили в разговоре, и происходили те странные отношения, которые установились между ними. Искренности, полной и чистосердечной, никогда и прежде не бывало между князем и его дочерью, но теперь выражение этой искренности еще более уменьшилось.

Однако вместе с выздоровлением Ольги прибавилось и спокойствия князю. Оно заключалось главным образом в том, что все искания Ольгиной руки, словно по волшебству, прекратились, их как рукой сняло.

Так прожил князь последние годы с дочерью в деревне. Ольга почти никого не видала, и единственным утешением для нее оставались поездки в монастырь, которые она и прежде любила.

Однако, несмотря на свое уединение, Ольга не жаловалась на скуку и довольно равнодушно подчинялась ей. Когда отец сказал, что они едут в Петербург, она приняла это известие без радости, но и без сожаления к деревне, которую должна была оставить.

Напротив, князь Андрей Николаевич увозил ее в Петербург с собою не без тайного намерения подыскать ей в столице блестящую партию. Однако теперь, после представления государю, рушились все надежды князя.

Остановившись в дверях, Андрей Николаевич взглянул из-под своих нависших бровей прямо в упор на Ольгу, и все теперь не понравилось ему в ней: и новый петербургский наряд, сделанный у лучшей портнихи, которым он любовался еще вчера, и ее красивое, напоминавшее покойную княгиню, лицо, и вообще весь ее вид, смиренно-простой, но полный достоинства.

— Что тебе нужно? — спросил он.

— Мать Серафима приехала из нашего монастыря,— ответила Ольга.

— Какая мать Серафима? — дернул плечом князь.

— Из нашего монастыря. Она по поручению обители явилась сюда хлопотать о монастырских землях; их, говорят, отнимают у нас...

— Ну, так что ж? Мне-то какая печаль?

Князю теперь было решительно безразлично — хоть что угодно отнимай и у кого угодно.

— Она теперь у меня сидит. Она приехала прямо к нам и просит позволения остановиться у нас... Я уже распорядилась, но все-таки пришла спросить твоего разрешения.

Князь быстро вскинул на нее взор, и Ольга видела, как кровь хлынула ему в голову и как почти пурпурная краснота стала разливаться у него от затылка.

— «Я уже распорядилась»! — крикливым голосом передразнил князь дочь, хватаясь обеими руками за грудь. Он с самого своего приезда из дворца искал какого-нибудь повода, чисто внешнего предлога, чтобы вылить свое сердце, и точно обрадовался первому попавшемуся и спешил рассердиться. — «Распорядилась»! — повторил он.— Ну если вы, государыня моя, знаете лучше меня, что делать, и распоряжаетесь, а ко мне приходите для одной только формы, ну, так и делайте, как знаете. Но только вот вам на этот раз доказательство, что всегда вы своим умом напутаете: вы распорядились, а мать Серафима ваша в пустом доме сидеть тут будет.

— Как в пустом доме? — удивилась Ольга, ничего не понимая.

— А так, что завтра мы уезжаем опять в деревню — нам здесь больше делать нечего... Понимаете? — снова возвысил голос князь,— нам здесь делать нечего...

Вспышка гнева, подобная той, которая охватила теперь князя, не повторялась с ним с тех самых пор, как он, взбешенный, приходил в Проскурове на половину дочери, когда узнал о ее любви к Артемию.

Но у Ольги вместе с самим чувством исчезло и воспоминание обо всем, что могло так или иначе относиться к нему. Теперь она глядела на отца, и в ней происходило что-то непонятное. Она нередко замечала в себе это. Ей не то что казалось, что все это было когда-то, но вместе с тем она сознавала, что отец кричал на нее и совершенно вот так же, как теперь, даже совсем так же. Это чувство было мучительно, но отделаться от него было нельзя. Словно в настоящем помимо ее воли оказывалось какое-то прошедшее, но, что именно, она не могла уловить.

Теперь она видела, что недаром предупреждал ее Иван Пахомович, и стояла, втянув голову в плечи, словно ей грозил чисто физический удар.

Старый князь в своем бешенстве, видимо, ничего не сознавал. Он тяжело перевел дыхание, и новые потоки обидных слов готовы были вырваться у него, но в этот момент дверь отворилась и появившийся на пороге Иван Пахомович с лицом, которое бывает у людей, когда они решаются броситься в холодную воду, громко, гораздо громче обыкновенного, доложил:

— Доктор Шенинг.

При других условиях он ни за что не решился бы войти с докладом к князю во время его гневного припадка, зная, что за это может грозить такое наказание, которое можно было лишь придумать своенравному господину для своего крепостного, но теперь, помня болезнь княжны после подобной же истории, он, не колеблясь, пожертвовал собою, чтобы спасти ее и перевести грозу на себя.

— Какой там доктор? — начал было князь, обернувшись к дворецкому, как тот и ожидал этого, но не договорил и, взявшись снова за грудь, закрыл глаза.

Иван Пахомович сделал рукою знак Ольге, чтобы она воспользовалась удобной минутой и ушла.

Не подвернись тут лакей с лестницы, прибежавший сказать, что там доктор Шенинг просит доложить о нем, Иван Пахомович вошел бы с чем-нибудь другим, но то обстоятельство, что доложил он именно о докторе, спасло его.

Князь остановился. И вдруг при имени доктора Шенинга пред ним ясно пронеслось все прошедшее в Проскурове, когда являлся туда этот человек. Вспомнил он тот свой припадок гнева, вспомнил, как заболела дочь, и — главное — вспомнил, что она опять теперь пред ним и что снова он рискует ее здоровьем! И словно варом обдало старого князя.

Да что в самом деле враг он своей Ольге, палач ее, что ли? Ну, тогда она была виновата, но за что же теперь кричит он на нее? И вдруг он отнял руки, открыл глаза и совсем иным — новым и свежим — голосом приказал: «Просить!» — а затем обратился к Ольге:

— Ты прими его... Это — тот доктор...

Но, не докончив фразы, он повернулся и пошел к себе.

Иван Пахомович с удивлением поглядел ему вслед, потом взглянул на образ и перекрестился.

— Так прикажете просить, ваше сиятельство? — спросил он у Ольги.

— Да, батюшке угодно, чтобы я приняла,— ответила она и прошла в гостиную.

— Вы узнаете меня, княжна? — спросил Сен-Жермен, входя и здороваясь с Ольгой.

Княжна не могла не узнать его. Лицо его нисколько не изменилось; на нем был совершенно такой же коричневый кафтан, такие же черные чулки и башмаки грубой работы, какие видала Ольга, когда он являлся к ним в Проскурово. Она ясно помнила доктора, но как, при каких условиях и

почему он был у них в деревне, решительно не могла восстановить в своей памяти.

Вероятно, усилие, с которым она старалась это сделать, было заметно, потому что доктор поспешил заговорить с нею. Он подробно стал расспрашивать ее о здоровье, не чувствует ли она по временам слабости, головных болей или головокружения. Ольга отвечала, что особенно — нет, но по временам с ней бывает нечто странное — беспокойство какое-то, иногда беспричинное, а иногда из-за какого-нибудь пустяка... Доктор слушал очень внимательно и серьезно.

Этот подробный расспрос его тянулся очень долго — очевидно, он интересовался состоянием здоровья Ольги. Несколько раз в его глазах мелькнула даже тень беспокойства. Но для Ольги их затянувшаяся беседа вовсе не казалась длинною. Напротив, она с большим удовольствием отвечала этому человеку, который, несмотря на то, что был совсем чужой, говорил с нею с такою лаской, теплотой и участием, как будто она была ему близкою. Он говорил с ней и любовался, потому что ею нельзя было не любоваться, и это-то именно инстинктивно нравилось ей, хотя она и не сознавала того, что ей нравилось.

— Вы и сегодня как будто расстроены? — спросил наконец Сен-Жермен, внимательно вглядываясь в девушку.

Она затруднилась ответом, но все-таки промолвила:

— Да, я немножко встревожена... была пред вашим приходом.

Доктор глазами спросил объяснения причины тревоги.

«Отчего, однако, не сказать? — подумала Ольга.— Что ж, хуже от этого не будет».

— Я была поставлена в чрезвычайно неловкое положение,— пояснила она.— Возле нашей вотчины есть монастырь, и я, живя в деревне, часто ходила туда к одной монахине, матери Серафиме. Когда мы собирались в Петербург, то я знала, что ей нужно будет тоже приехать сюда,— ее монастырь посылал,— и пригласила ее непременно остановиться у нас... Сегодня она приехала, а батюшка говорит, что мы вдруг едем — может быть, уже завтра — обратно в Проскурово. Я это никак не могла подозревать... Выходит крайне неловко; я не знаю теперь, как вернуться к себе на половину и как сказать... Мать Серафима рассказывала мне, что давно бывала в Петербурге, когда-то жила в нем (по всему видно, что она была в лучшем обще-

стве), но теперь у нее нет здесь таких близких лиц, у кого бы она могла остановиться.

Сен-Жермен немного задумался, а потом вдруг спросил:

— Хотите, княжна, я помогу вашему горю?

Ольга никак не ожидала этого.

— Вот как! Значит, вы хотите не только оказывать помощь здоровью ваших пациентов, но помогать им и в делах? — улыбаясь, сказала она, уверенная, что доктор шутит.

— Я говорю серьезно, княжна! Сам я здесь проездом; и, вероятно, завтра тоже уеду, но у меня есть здесь приятель — один пьемонтец, Одар; он служит управляющим в имении, небольшой мызе государыни... Ее величество, насколько мне известно, весьма набожна и принимает близко к сердцу дела, касающиеся церкви. Можно попросить Одара; он — человек почтенный и не только устроит здесь вашу гостью, но даже может быть полезен ей в делах, если она приехала сюда от монастыря.

Она протянула доктору руку.

— Благодарю вас... я передам... Да, она будет очень благодарна. Но только с какой стати сделаете вы ей это одолжение?

— Я сделаю его вам, княжна, по праву звания вашего доктора, а, вы знаете, доктора — это до некоторой степени домашние животные.

— Такие, как вы, служат друзьями,— поправила Ольга.— Так я буду вам очень благодарна... и мать Серафима тоже.

— Не забудьте только, княжна, сказать ей,— с расстановкой произнес Сен-Жермен,— что доктор Шенинг рекомендует ей господина Одара.

X

СПИСОК

После посещения графа на мызе Артемий всецело предался одному желанию, одному стремлению — по мере сил своих и возможности способствовать благополучному окончанию задуманного «действа». Он сжал в себе, сильно спрятал все остальные чувства и желания, запретил себе думать пока об Ольге, но именно только «пока», потому что знал, что близится то время, когда придут в исполне-

ние лелеянные им столько лет мечты. Почему-то он был уверен, что все устроится, что все будет хорошо, лишь бы им окончить начатое дело. Ольга не могла в действительности разлюбить его. Что с нею было тогда, он не знал, но можно было предположить, что это произошло от ее болезни, беспокойства. Но главное — она была не замужем, и Артемий нашел целую вереницу вполне последовательных доводов, чтобы успокоиться. И он успокоился и запретил себе думать об Ольге.

Однако его тянуло проехать хоть один еще раз мимо дома, где жила она, чтобы попытать счастья, не увидит ли он ее опять.

«Один раз — не беда»,— решил он и все-таки поехал.

И чуть было не пришлось ему раскаяться в этом, чуть было он не наделал глупостей. На беду его прямо пред ним к дому князя Проскурова подъехала изящная карета. Она была без гусар и гайдуков; очевидно, это была не княжна, а кто-нибудь из мужчин.

И сердце снова забилось у Артемия; кто мог приезжать так к князю Андрею Николаевичу? Уж не какой ли нибудь молодой человек, искатель руки Ольги, счастливый соперник его, Артемия?

Карета остановилась, и из нее вышел граф Сен-Жермен.

Это было как раз в тот день, когда граф, под именем доктора Шенинга, приехал к Проскуровым и застал разыгравшуюся между отцом и дочерью сцену.

Артемию, сейчас же узнавшему графа, стало стыдно за свою тревогу.

И чего было волноваться ему? Разве и помимо графа не мог приехать к старому князю кто-нибудь по делу или вообще как знакомый, вовсе не имея никаких видов на княжну? А тут являлся граф, человек, как казалось Артемию, далекий от всяких подозрений. И ему стало так стыдно, что он имел слабость не выдержать характера и ехать под окна Ольги, что он быстро повернул лошадь и, как от погони, поскакал прочь, чтобы не встретиться с графом, который сейчас же поймет, в чем дело.

Но зачем графу было приезжать к Проскуровым и притом не под видом Одара, а таким, как он был на самом деле и каким Артемий знал его в Кенигсберге?

Этот вопрос мелькнул в уме Артемия, но он сейчас же заглушил его. В три года своего знакомства с Сен-Жерменом он должен был привыкнуть к действиям этого челове-

ка, иногда казавшимся на первый взгляд странными но всегда имевшим строго рассчитанную причину и впоследствии объяснявшимся редким предвидением и расчетом графа. С Сен-Жерменом нельзя было ничему удивляться: раз он делал что-нибудь — значит, так было нужно, и Артемий уже давно убедился в этом.

И он постарался уничтожить в себе свои сомнения, отогнать от себя даже пришедшую в его голову мысль: а что, если граф навещает дом Проскурова, работая в его, Артемия, пользу?

«Все будет, все будет хорошо! — повторил себе он.— Лишь бы устроилось наше главное общее дело, а тогда все личные дела придут к желанному окончанию».

И с этих пор он уже не беспокоился о себе, стараясь думать и беспокоиться только об «общем их деле».

Во время совещания на мызе было решено, что Григорий Орлов составит окончательный список военных, готовых принять участие в этом их деле. Нужно было подвести итог, на кого имели они возможность рассчитывать, если бы вдруг понадобилось действовать спешно и неожиданно.

Предполагалось собственно воспользоваться отъездом Петра III в действующую армию для войны с Данией, которую он затевал из-за Голштинии и в которой лично желал предводительствовать войсками, «чтобы,— как он писал Фридриху II,— покрыть себя пред коронацией славой военных подвигов».

Из-за такого не совсем скромного предположения Россия, и без того уже отягощенная пятилетнею борьбою с пруссаками — борьбою, не принесшею вследствие заключенного мира никаких, кроме стыда, результатов,— должна была вступать в новую борьбу.

Об отправлении Петра в армию говорили уже, как о событии решенном, и им-то и хотели воспользоваться друзья Екатерины. Но сама она находилась в таком положении, что не могла ручаться за завтрашний день: каждая минута грозила ей заточением в монастырь, и, следовательно, нужно было быть готовыми каждую минуту.

Орлов пользовался в городе репутацией кутилы и человека, любившего пожить на широкую ногу, но не способного на что-нибудь серьезное. От него и от его компании менее всего можно было ожидать каких-либо «действ», но в этом-то и заключалась самая суть, то есть что удар готовился оттуда, откуда его совершенно не ждали. Добродушный, хлебосольный, веселый Орлов поддерживал эту репутацию и под видом кутежа и пирушки вербовал сторонни-

ков государыни. Вся гвардия знала и любила его. Это был лихой офицер, обладавший буквально геркулесовой силой, всегда веселый, по виду беспечный; с ним было приятно проводить время, и все охотно шли к нему.

Для того чтобы составить свой список, испытать, так сказать, тех из офицеров, на которых он мог рассчитывать, Орлов прибег к давно испытанному средству, то есть устроил у себя товарищеское офицерское «пьяное сижде-ние», как это называлось в то время.

Собралось, разумеется, много народа,— все военные, молодые люди, офицеры. Орлов со своими ближайшими помощниками, между которыми был и Артемий, усердно пил сам, но заставлял пить и других, подливая им вина, однако в то же время следил за ходом общего разговора.

Говорили, разумеется, о военных, всем одинаково близких, делах, которые шли теперь так, что кроме недовольства ничего не могли вызвать.

Орлов все время внимательно прислушивался к выражению этого недовольства, стараясь подбодрить его и наблюдая за тем, кто и что говорит, и можно ли положиться на каждого из собравшихся у него гостей. Все они, возбужденные вином и горячим разговором, казалось, высказывались совершенно искренне, и с удовольствием можно было видеть, что нет тут людей колеблющихся, но, напротив, они готовы хоть в огонь и в воду идти за императрицу. А тут собрались представители от всех полков, от всех родов оружия — значит, почти вся гвардия была на стороне Екатерины.

Говорили об уничтожении старой елизаветинской лейб-компании,— одном из первых распоряжений нового царствования. Само по себе уничтожение этой «гвардии из гвардии» не могло вызвать еще неудовольствие, если бы на ее место не была заведена новая голштинская, иностранная гвардия, явно отличаемая от русской. Говорили о том, что русскими офицерами и заслуженными генералами самовольно распоряжался принц Георг, не отличавшийся еще никакими заслугами, повторяли слух о том, что и вовсе уничтожат русскую гвардию, распределив ее по армейским войскам. Говорили про ненужную перемену формы, про частые ученья и шагистику по прусскому образцу. Говорили об унизительной, непомерной приверженности Петра III ко всему прусскому, а в особенности к королю Фридриху, портрет которого Петр постоянно носил при себе в перстне.

— Да ведь это поклонение пред вчерашним нашим врагом,— крикнул один,— доходит до фетишизма какого-то... это — фетишизм положительно...

— Помилуйте,— подхватился другой,— о н,— так называли обыкновенно в обществе Орлова Петра III,— с превеликою радостью хвастал пред гетманом Разумовским, что произведен Фридрихом в генерал-майоры прусской службы! Каково это, а?..

— Ну, что ж гетман?

— Да что? Вы знаете гетмана — за словом в карман не полезет,— он ему и ответил, что вы, дескать, ваше величество, можете отмстить с лихвою королю прусскому: произведите его в русские фельдмаршалы!

И много подобных рассказов было передано у Орлова.

Гости засиделись до позднего часа. Наконец, проводив последнего гостя, Орлов, казавшийся в конце вечера совершенно пьяным, вдруг отрезвел, поправил свои растрепанные курчавые волосы, провел рукою по лицу, и его пьяные блуждающие глаза засветились обычным им выражением ума, доброты и ласковой мягкости. Он отлично умел, когда нужно, казаться пьяным, но на самом деле никогда не терял головы от вина. Он вернулся из прихожей в опустевшую комнату, где у стола, заставленного посудой, пустыми флягами и бутылями, сидел Артемий, которого Орлов просил остаться.

Артемий в течение всего вечера только делал вид, что пьет, но почти совершенно не пил.

— Уф, душно! — проговорил Орлов, вздохнув с облегчением, и поднял окно.

Ранняя летняя петербургская заря уже забрезжилась на востоке, и синеватый свет ее был уже настолько силен, что пред ним теряло свою яркость покрасневшее пламя догоревших и оплывших свечей, и от всех предметов легла двойная тень.

Орлов потушил свечи.

— И без них будет видно,— сказал он опять.— Ну, теперь к делу!.. Достань, брат, у меня там бумагу и чернила; нужно записать сегодня же.

Артемий с видом своего — близкого у Орлова — человека прошел к нему в спальню, достал письменный прибор и, отодвинув с угла стола рюмки и стаканы, расположился на нем, чтобы писать.

— Завтра утром мне некогда будет,— снова заговорил Орлов,— так уж тебе придется отвезти этот список к графу на мызу... Ты свободен?

— Да мне что ж делать? — ответил Артемий,— конечно, свободен... Ну, говори, что писать?

— Сначала Преображенский. Пиши: Бредихин, капитан-поручик, Баскаков, Протасов, Черков, Ступишин, кажется, все...

— А Дубянский, Захар? — сказал Артемий.

— Да, пиши Дубянского. Теперь Измайловский: Рославлевы два брата, Всеволжские, Голицын.

— Князь?

— Ну, да, Петька Голицын, Петр Алексеевич, Похвистнев, Вырубов... Кто еще?

Орлов стал припоминать. Артемий, облокотясь на руку, с пером в руках, задумался.

— Кажется, все,— проговорил Орлов.— Пиши теперь конную гвардию... Что ж ты заснул? — спросил вдруг он, видя, что Артемий не двигается.

— Нет, знаешь,— ответил тот,— этот арап у меня из головы не выходит.

— Какой арап?

— Разве ты не слышал? Сегодня Несвицкий рассказывал...

— Ах, вот Несвицкого забыли! Запиши его!.. Да, так что ж он рассказывал?

— У Петра арап есть, Нарцис...

— Знаю,— процедил сквозь зубы Орлов.

— Ну, и этот Нарцис напился пьян и подрался с палачом на улице. Так это, видишь ли, сочли бесчестьем для пьяного арапа и захотели реабилитировать его... В сени принесли знамена и покрыли ими арапа... Понимаешь? Полковые знамена! Ведь это — ужас!..

— Быть не может! — проговорил Орлов, военное сердце которого забилось при рассказе о таком оскорблении полковой святыни.

— Все это в сенях у Загряжских происходило, и сам Петр тут был.

— Ну, нечего сказать!.. Э да что, все равно ничего не поделаешь!.. Пиши дальше.

И Артемий с стиснутыми от нового прилива злобы губами наклонился опять над бумагой, его перо вновь заскрипело.

Орлов стал припоминать дальнейших сторонников императрицы, и, чем больше припоминали они с Артемием, тем больше рос их список, становившийся очень внушительным по своим размерам.

Звонили уже к ранней обедне, когда наконец Артемий ушел от Орлова с готовым списком в кармане, чтобы на другой день отвезти его к графу Сен-Жермену на мызу.

XI
ДВЕ ВСТРЕЧИ

Через несколько времени Артемий, почти не спавший всю ночь, велел оседлать себе лошадь и поехал на мызу. Чтобы не обращать на себя лишнего внимания, он старался держаться не больших улиц, а задворков. Он пересек Невскую першпективу и свернул не прямо по Фонтанной, а несколько дальше, позади садов, примыкавших к барским домам, выходившим фасадом на набережную Фонтанной.

Здесь, справа от него, потянулись пустынные заборы этих садов; прохожие попадались редко, а проезжих и вовсе не бывало.

«Вот, должно быть, сад князя Проскурова»,— подумал Артемий, глядя на деревянную, с каменными столбами, решетку, окопанную свежей канавой.

Утро было чудное, ясное; зелень, еще не успевшая потемнеть и покрыться летнею пылью, дышала полною жизнью и свежестью; город с его каменными и деревянными, теснящимися друг к другу, домами остался далеко позади.

Что-то давно знакомое, милое, деревенское схватило за сердце Артемия, и он невольно пустил свою лошадь шагом.

«Что это?» — остановился вдруг он, невольно обернувшись в сторону решетки.

Там стоял кто-то в белом платье, и Артемий сейчас же узнал, кто был этот кто-то.

Ольга стояла, опершись руками на решетку, и, положив на них подбородок, смотрела прямо на него. Глаза их встретились. Артемий видел, что она узнала его...

Их отделяли только одна неширокая канава, часть дороги и решетка.

Артемий видел, что княжна узнала его. И что ему было делать? Он снял шляпу и поклонился. Она, весело улыбнувшись, ответила ему, наклонив голову, и проговорила своим звонким, милым голосом,— голосом, которого Артемий не слышал столько лет.

— А я узнала вас сейчас же... Я помню вас по Проскурову,— добавила она, видимо, обрадовавшись Артемию, как старому знакомому, но только как знакомому,— не больше.

«Забыла, все забыла!» — пронеслось в голове Артемия, и, несмотря на то, что он чувствовал, что не следует делать это, он притянул к себе поводья и остановил окончательно лошадь.

— А вы...— проговорил он в свою очередь, не узнавая звука своего голоса.— Хотя вы и очень изменились, но я тоже узнал вас сию минуту.

Он нарочно подчеркнул слово «изменились», следя, какое это произведет действие на Ольгу; но она словно и не заметила этого.

— Неужели я переменилась? Говорят, напротив... А вы — уже офицер, и мундир вам очень идет... Вы давно в Петербурге?

— Нет, недавно. А вы?

— Мы тоже недавно — почти только что приехали, и теперь вдруг, несколько дней тому назад, батюшка велел снова укладываться... и мы опять собираемся в деревню.

— Как? Только что приехали и опять назад?

— Так угодно батюшке.

— Когда же вы едете?

— Не знаю, на днях — может быть, завтра, может, послезавтра...

«Боже, как это глупо!» — думал между тем Артемий, чувствуя, что они ведут какой-то нелепый, нескладный разговор, когда они после стольких долгих лет разлуки опять наедине и когда ему так много, много хочется сказать любимой девушке!

Но он не мог сказать ей так сразу все, что ему хотелось и что поглощало все его мысли теперь, а думать о другом он тоже не мог и потому говорил, что приходило на язык.

— А вам понравился Петербург? — спросил он.

Его слова спрашивали: «Вам понравился Петербург?» — но выражение их говорило: «А у вас нет здесь никого, у вас здесь нет ничего, что притягивало бы вас к Петербургу или, напротив, манило бы назад в деревню?»

— Нет, не понравилось мне здесь,— ответила Ольга совсем просто,— в этом городе душно как-то... ужасно

душно... Я вот люблю сюда, к задней решетке сада приходить, тут больше на деревню похоже... Нет, я люблю деревню больше города...

— А у вас этот сад большой?

— Да, но все-таки меньше, чем в Проскурове; зато он почти весь тут цветами усажен...

«Нет, не могу я дольше говорить так!» — решил Артемий и, несмотря на это свое решение, все-таки не сказал прямо, что думал, а спросил:

— Розаны... розаны есть здесь у князя?

На высоком, красиво округленном лбу Ольги между бровей появилась складка, которая служит у человека признаком напряжения и усилия, когда он с трудом вспоминает что-нибудь, хочет и никак не может припомнить.

Она помнила Артемия по Проскурову, как сказала она ему, но помимо этого она еще чувствовала, что должна была помнить еще что-то, но что именно, она не знала и не могла дать в том себе полный отчет.

Теперь, при звуке его голоса и в особенности, когда он сказал о розах, в голове у ней, словно молния, мелькнуло какое-то неясное, болезненное воспоминание; но это было именно болезненное, крайне тяжелое ощущение, которое исчезло промелькнув, и снова она ничего не знала и не могла ничего вызвать из прошедшего, кроме того, что так помнила.

— Да, как в Проскурове,— ответила она опять с прежнею простотою на вопрос Артемия о розах.

Он взглянул на нее так, что, казалось, его жизнь зависит от того, как она посмотрит на него теперь, но она смотрела невинными и ясными глазами прямо ему в лицо, и эти глаза не выражали ничего особенного.

Что ж это было? Насмешка, резкий и подчеркнуто-определенный намек на то, что все прежнее забыто, окончательно вычеркнуто из памяти? Но тогда было проще сразу уйти и не отвечать на поклон и не разговаривать. За что же так безжалостно мучить и казнить человека?

«А если так, то что ж теперь делать? — подумал Артемий.— Уйти, скорей уйти... иначе с ума сойти можно, если хоть миг, хоть секунду продолжится эта пытка!»

И, как утопающий инстинктивно ловит воду руками, сжимая их, чтобы спастись, он невольно, не отдавая себе отчета в том, что делает, толкнул лошадь шпорами. Она двинулась вперед. Артемий, не ожидавший этого движения, качнулся на седле и, чтобы не свалилась его тре-

угольная шляпа, схватился за нее рукою. Раз она была у него в руке, он поднял ее для поклона.

— До свиданья! — сказал ему голос Ольги.

Он крепче всадил свои шпоры и, справившись с затоптавшеюся лошадью, поехал вскачь вперед по поросшей травою дороге, чувствуя, что глаза Ольги смотрят ему вслед.

Лошадь, не чувствуя дальнейших понуждений, скоро перешла из размашистого галопа в рысь и потом в шаг. Однако Артемий не заметил этого. Опомнился он только у городской рогатки, и потому только, что солнце начало сильно греть его, и он, заметив, как высоко успело оно подняться, сообразил, что потерял слишком много времени и опоздает на мызу, где может не застать уже графа.

Все, только что случившееся, казалось ему как бы происшедшим во сне, словно он был теперь не наяву, а в грезе; но страх не исполнить вовремя поручение отрезвил его.

Времени оставалось слишком мало, чтобы принять обыкновенную предосторожность, соблюдавшуюся при поездках на мызу, то есть взять направление не по прямой дороге, где могут быть неудобные встречи, а ехать окольным путем. Артемий решил ехать прямо и погнал лошадь во всю скачь.

Полпути он не давал ей вздохнуть. Она стала ослабевать. Артемий почувствовал, что не рассчитал ее сил и не соразмерил их с расстоянием. Нужно было во что бы то ни стало сделать остановку.

Он знал, что тут близко должен быть заезжий двор, и рассчитывал на него.

У двора, когда подъехал к нему Артемий, стояла сломанная одноколка.

«А! — подумал он,— тут есть проезжий кто-то. Отлично! Я узнаю у него, может быть, который теперь час».

И он соскочил с лошади, крикнув дворника.

Проезжий, у которого Артемий намеревался узнать, который час, был итальянец Торичиоли.

XII

НЕОСТОРОЖНОСТЬ

— А... вот кого я вижу,— встретил Торичиоли Артемия, который входил нагибаясь в низкую дверь придавленной потолком горницы заезжего двора.

Итальянец сидел в почетном углу у чистого, выскребленного липового стола, на котором стояла пред ним крынка с молоком и лежал большой кус хлеба.

— Вот давно не видались,— продолжал он,— с самого вашего приезда... Ну, где вы и что вы? Как устроились в Петербурге, как живете?..

Торичиоли, у которого сломалась одноколка, волей-неволей обреченный судьбою на то, чтобы пробыть на заезжем дворе, пока не починят ему экипажа, пробовал было развлечься, спросив себе крынку молока, но теперь для него в лице Артемия явилось еще более интересное развлечение, и он очень обрадовался ему.

Но Артемий довольно холодно ответил на его приветствие. Ему вообще в том состоянии, в котором он находился, было неприятно встретиться с кем-нибудь, а еще более со знакомым. Нужно будет разговаривать с ним, отвечать на его вопросы, а Артемию именно хотелось, чтобы его оставили в покое.

— А Эйзенбах-то, Карл, которого мы с вами считали мертвым — помните. еще рассказывали мне подробности,— продолжал Торичиоли,— жив ведь оказался. Он вернулся в числе возвращенных пленных... его старички-родители так были рады.

— Да? — равнодушно сделал Артемий и, пройдя мимо стола, сел не к итальянцу на лавку, а дальше, в противоположный угол.

«Он сердится. зачем я до сих пор не отдал ему его денег... с самого Кенигсберга... Вот оно что!» — сообразил Торичиоли, но сейчас же поспешил успокоить себя тем, что теперь он не может отдать свой долг, но отдаст, как только сможет.

И с видом тоже вполне равнодушным он принялся есть круглою, деревянною ложкой свое молоко.

— Который час, Иосиф Александрович? — спросил Артемий.— У вас есть часы?

Торичиоли не спеша вынул часы и сказал, который час.

Было вовсе не так поздно, как думал Артемий; прямою дорогой и быстрою ездой он наверстал столько времени, что мог уже не торопиться.

Это успокоило его по отношению к поездке, но совсем успокоиться он. конечно, не мог! В его глазах все время стояла Ольга. Она казалась ему такою прекрасной, какой он даже в мечтах не помнил ее. Сегодня она была особенно хороша — и как белое платье шло ей, и как

красиво облокотилась она на решетку, и зелень кругом, и самая решетка эта, и все было красиво!

В виски Артемия стучало, кровь прилила у него к голове. Он сам устал от своей бешеной скачки; солнце так пекло, что пот лил с него градом; мундир его был покрыт толстым слоем пыли; в низенькой горнице было жарко и душно. Артемий и вошел-то сюда, чтобы вымыться только и освежить себя, помочив голову, но чего тут сидел Торичиоли?

— Отчего вы на воздухе не остались? — спросил он опять итальянца.

Тот ответил, что там еще хуже, потому что совершенно нет тени и сесть некуда, а на солнце просто невозможно оставаться.

— Сегодня такая жара, что я жалею, что выехал,— продолжал он,— мне хотелось навестить тут одного земляка — Одара — он управляющим на мызе... да вот одноколка сломалась — послал за кузнецом... А вы куда едете?

Нечто крайне странное произошло теперь с Артемием: после своего разговора с Ольгой он совсем потерял свое внутреннее равновесие, самообладание исчезло в нем, и он чувствовал, что не может владеть собою настолько, чтобы скрыть то, что происходит в душе у него.

Когда Торичиоли назвал Одара, он невольно взглянул на него, не успев скрыть удивление в своем взгляде.

— А вы тоже к нему? — подхватил тот.

И Артемий не имел силы ответить на этот вопрос отрицательно.

— Да,— произнес он,— я тоже к Одару.

Он потому ответил так прямо, что чувствовал, что Торичиоли все равно уже понял, что они ехали к одному и тому же лицу и что если бы он дал неопределенный ответ, то последний еще хуже выдал бы его. К тому же они могли потом встретиться и у самого Одара.

— Вот как! — протянул итальянец.— Значит, нам по дороге... и я не знал, что вы знакомы с ним... Где же вы познакомились и по какому поводу?

— У меня поручение к нему из Кенигсберга; там один доктор просил передать ему письмо.

В это время чухонец-работник принес ведро холодной колодезной воды, глиняный таз и ручник.

— Та воду-то ринес...— заявил он, расставляя таз и ведро на лавку.

Артемий покосился на Торичиоли.

— Ах, пожалуйста, мойтесь при мне,— поспешил предупредить тот, поняв, что молодой человек стесняется при нем.

Артемий не заставил повторить приглашение. Он скинул мундир, засучил рукава и, ощущая освежающее прикосновение студеной воды, с удовольствием опустил в нее руки и стал плескать себе в лицо.

В дверь просунулась бородатая голова дворника.

— Ваше благородие, барин милый, с лошадкой-то вашей что-то неладное,— сказал он Артемию.

Тот, нагнувшись над тазом, приподнял голову и обернулся к двери.

— Я говорю, лошадка ваша... того...— повторил дворник.

— Что «того»? — нетерпеливо сделал Артемий и, видимо, беспокоясь о лошади, схватил ручник и, утираясь на ходу, пошел, как был, в одном камзоле, смотреть, что сделалось с нею.

Торичиоли остался в избе один.

Сильно его занимало, зачем Артемий, молодой офицер, человек военный, едет к пьемонтцу Одару, управляющему собственной мызой императрицы. Объяснение относительно доктора казалось ему подозрительным.

Брошенный на скамейку мундир Артемия сильно соблазнял его. Несколько секунд он просидел в нерешимости. Артемий медлил возвращением. Торичиоли встал и на цыпочках, точно его движения могли быть слышны там, на дворе, подкрался к скамейке. Осторожно, двумя пальцами приподнял он мундир и, перевернув его, бросил так, что левый рукав высунулся наружу. Потом он прислушался, не идут ли назад в избу. Ему послышались шаги. Он отскочил назад, подошел к двери и, приотворив ее, заглянул на двор.

На противоположной стороне двора, под навесом стоял у лошади Артемий с дворником и что-то объяснял ему. Чухонец-работник тащил охапку сена. Видимо, все были заняты.

Торичиоли закрыл дверь, быстро вернулся к скамейке, ощупал обшлаг у рукава (там ясно чувствовалась бумага) и, не теряя ни минуты, отстегнул пуговицы обшлага. Бумага, лежавшая там, оказалась вовсе не письмом. Это был сложенный вчетверо лист.

«Впрочем,— мелькнуло у Торичиоли,— если б тут было что-нибудь важное, он не оставил бы мундира».

Был один миг — он хотел сунуть бумагу обратно, боясь, что придут сейчас... но он держал ее в руках, и любопытство превозмогло.

Торичиоли развернул бумагу; на ней стоял длинный ряд фамилий, одних фамилий с поименованием полков — и только. Но этого «и только» было больше, чем довольно, для Торичиоли. Он сразу понял, в чем дело.

Одар — управляющий императрицы; офицер везет к нему список военных из разных полков. Недаром, значит, доносили в канцелярию о недовольстве в гвардии. Вот оно что!.. теперь все ясно. А главное, ясно, что в этом списке заключается целое состояние, целое богатство в виде награды тому, кто сумеет воспользоваться им.

И Торичиоли, сунув бумагу к себе в карман, трясущимися от волнения пальцами стал застегивать обшлаг.

XIII
НЕСЧАСТЬЕ

Когда Артемий вернулся в избу, Торичиоли, как ни в чем не бывало, сидел на своем месте у стола и равнодушно смотрел в окно.

— Ну, что ваша лошадь? — спросил он, как будто и в самом деле интересовался лошадью, а не тем, чтобы поскорее уехал Артемий.

— Ничего, пустяки,—ответил тот,— она устала и дрожит; я велел обтереть ее водкой, и на ней хоть сейчас можно будет ехать дальше.

— Так, значит, вы едете?

— Да, я думаю,— и, говоря это, Артемий поспешно надел мундир, простился с Торичиоли и вышел из горницы.

— Передайте, пожалуйста, Одару, что я, по всей вероятности, уж не попаду к нему сегодня,— сказал вслед ему итальянец.

Через несколько времени он с облегченным сердцем увидел в окно, как Артемий верхом выехал из ворот и как потом по дороге заклубилась пыль под ногами его лошади.

Артемий ехал и все думал об Ольге. Что сделалось с нею, отчего она была такая? Комедию она играть не

могла, но и не могла она забыть в самом деле все, что было между ними,— так забыть, чтобы в ней и следа не оставалось; а между тем только при таком условии могла она вести себя так. Но что же это значило?

И Артемий в сотый раз и на сотый лад перебирал все обстоятельства, все причины, в силу которых можно было объяснить поведение Ольги, но ни одна из этих причин не выдерживала мало-мальски серьезного обсуждения и сейчас же рушилась сама собою.

Артемий терялся в догадках и не мог найти выход из их лабиринта.

«Посоветоваться разве с графом? — пришло ему в голову.— Рассказать ему?»

Но и эту мысль, на которой он остановился было в первую минуту с удовольствием, он тотчас же отогнал. Ему показалось не только неудобным, но совершенно неуместным лезть теперь со своим чисто личным делом в то время, когда они общими силами работали над другим, более важным — конечно не для Артемия, но для всех их — делом.

«Да, потом, потом,— повторял он себе,—потом, когда все устроится, тогда...»

Но тогда Ольга, вероятно, уже уедет?..

«Ах, Боже мой! Что же делать, что делать тут?» — уже почти с отчаянием думал Артемий, подъезжая к мызе.

Он застал графа в одежде, парике и очках Одара; он сидел у себя за письменным столом первой комнаты и занимался, по-видимому, счетами и книгами по хозяйству.

— Привезли? — обернулся он к Артемию, видя, что тот отстегивает обшлаг.

— Да, привез,— ответил Артемий и вдруг изменился в лице.

Отстегнув пуговицы, он запустил за обшлаг руку. Там бумаги не было.

Он растерянно стал ощупывать себя; его глаза остановились в немом ужасе. Потерять список или выронить его было немыслимо, следовательно... кто-нибудь вынул его, расстегнув обшлаг... Но кто?

— Торичиоли! — вдруг громко крикнул Артемий и пошатнувшись схватился за стул, чтобы не упасть.

Граф поднялся со своего места.

В этом растерянном и пораженном ужасом молодом человеке он не мог узнать своего прежнего ученика Артемия, кажется, до сих пор понимавшего его уроки и вдруг

дошедшего до того, чтобы потерять всякое самообладание.

— Что с вами? Опомнитесь! — проговорил он, подходя к Артемию.

— Граф... граф,— повторял тот вне себя,— все потеряно... все пропало... все кончено... Это — несчастие... Я — несчастный человек... я погубил все... Этот список, который я вез... где были записаны все...

— Ну?

— Он у Торичиоли! — крикнул опять Артемий, не только не владея собою, но не владея даже своим голосом, который то спадал, то повышался у него теперь помимо его воли.

— Пройдемте сюда! — сказал граф, нахмурив брови и, проведя Артемия в следующую комнату, запер ее дверь на ключ, после чего приказал: — Сядьте и рассказывайте все по порядку!

Для Артемия, как только он не нашел за обшлагом несчастного списка, все стало ясно в ту же минуту. Он помнил и отлично знал, что не забыл его дома; но он помнил тоже, что имел неосторожность оставить мундир в избе, когда выходил осмотреть лошадь.

И в кратких, едва понятных и едва связанных между собою, словах рассказал он суть дела.

— Граф,— воскликнул он, не успев кончить рассказ,— ради Бога, поедемте сейчас вместе! Вы можете еще помочь... вы все можете... я знаю... Я готов на все... Возьмите жизнь мою... я отдам ее... только верните этот список.

Граф, молча, не торопясь, но и не теряя времени, снял, слушая Артемия, свой парик, очки и платье, достал из шкафа коричневый суконный кафтан, черные чулки и башмаки, и не успел опомниться Артемий, как Сен-Жермен из Одара превратился в доктора Шенинга.

— Мы едем, мы едем сейчас, мы догоним его на дороге,— с проблеском радости воскликнул Артемий.— Я силой, понимаете, силой отниму у него.

Граф подошел и, положив руку ему на плечо, тихим голосом сказал:

— Прежде чем мы поедем, сообщите мне, что случилось с вами? Ваша неосторожность так несообразна, что я, зная вас, не могу допустить, что она была без какой-нибудь причины... и, вероятно, очень серьезной причины... Скажите мне ее!..

— Я не знаю,— начал было Артемий,— я понять не могу, но я потерял голову...

— Причину, причину, одним только словом!..— перебил его граф, не отымая руки с его плеча и тряхнув головою.

Артемий знал способ того лаконического разговора, который любил граф и который был возможен только с ним, иногда понимавшим даже не с намека, а просто читавшим в мыслях своего собеседника. И он чуть слышно ответил ему одним словом:

— Ольга!..

— Вы видели ее?

— Да.

— Говорили?

— По дороге у решетки сада.

— А! — воскликнул граф, и впервые в жизни Артемий заметил в нем отдаленный намек на тревогу.

Это было странно. Сен-Жермен оставался совершенно, как всегда, спокоен при известии о пропаже списка и вдруг теперь что-то случилось с ним.

— И что ж она? — спросил он снова.

Артемий пояснил, какова показалась ему Ольга и что он чувствовал после разговора с ней.

Сен-Жермен закрыл на минуту глаза.

— Да,— проговорил он,— причина серьезна и, может быть, в ней виноват я больше, чем вы... Едемте!

Через четверть часа они уже сидели на свежих оседланных лошадях и крупною рысью ехали по дороге в город.

Артемий думал, что они поскачут с места, ему хотелось вихрем понестись в догоню Торичиоли, но граф держал все время рысь, и Артемий должен был следовать за ним.

Они ехали молча, не сказав друг другу больше ни слова вплоть до заезжего двора на половине дороги.

XIV

СТАРЫЕ СЧЕТЫ

У двора Артемий, к радости своей, увидел сломанную одноколку Торичиоли, стоявшую еще там, и обрадовался, сочтя это признаком того, что итальянец еще не уехал.

— Он здесь! — сказал он графу.— Он здесь еще... видите? это — его сломанный экипаж.

Но граф, не отвечая, ехал дальше, не укорачивая и не прибавляя шага своей лошади.

— Граф! Торичиоли здесь,— повторил Артемий.

Ответа не было.

Артемий один повернул ко двору. Но Сен-Жермен и на этот раз, как всегда, оказался прав: нужно было ехать вперед не останавливаясь. Дворник объяснил Артемию, что господин, который приехал в одноколке, сказал, что ждать ему надоело, и тотчас же по отъезде Артемия выменял у него, дворника, охотничье седло на одноколку, велел оседлать лошадь и шибко поскакал в город.

«Да, все кончено! — снова ужаснулся Артемий.— Все кончено, если он не поможет!»

Единственная надежда его была теперь на графа, и он, догнав того на дороге, послушно поехал за ним, ожидая лишь приказания, что делать, и решив оставить в стороне всякую личную инициативу.

«Боже мой! — следуя за графом, думал он.— И зачем я поехал по этой дороге, зачем я остановился на этом дворе, зачем встретился с Торичиоли? Да, не имей я слабости остановиться у забора проскуровского сада — ничего этого, может быть, не было бы. Конечно, не будь этой причины, все обстояло бы благополучно... Но он назвал эту причину серьезной... он сказал, что тут, может быть, и его вина...»

И Артемий уже решительно не мог понять, каким образом Ольга могла по вине графа забыть его, Артемия, то есть свое чувство к нему.

Жар начинал спадать, когда они подъехали к Петербургу.

Только у самой рогатки Сен-Жермен обернулся к Артемию и сказал ему:

— Поезжайте сейчас к Орлову и ждите меня там.

Сказав это, граф повернул куда-то в сторону и скоро исчез из глаз своего спутника.

Артемий опустил голову и тихо поехал к Орлову.

Между тем Сен-Жермен быстро стал поворачивать из одного закоулка в другой, ни разу не сбившись в путанице заборов и домов, между которыми были в этой отдаленной от центра части Петербурга не улицы, а проезды неправильные и случайные. Но он пробирался между ними, словно ехал по родному ему, давно знакомому городу, твердо зная направление, которого следовало ему держаться.

Вот он миновал наконец этот лабиринт закоулков, миновал небольшую рощу — остаток непроходимого когда-то леса, покрывавшего сравнительно недавно — лет пятьдесят

тому назад — эту часть Петербурга, и очутился на сравнительно отдаленном берегу реки Фонтанной.

Здесь, за высоким деревянным забором, среди густой зелени стоял новый деревянный домик под тесовою, блестевшею, как серебро, на солнце крышею.

Подъехав к калитке, граф соскочил с лошади и постучался в кольцо. Через несколько секунд послышались за калиткой по проложенным к ней мосткам тихие шаги, засов звякнул, дверца отворилась, и за нею показалась высокая фигура старого кенигсбергского слуги Сен-Жермена. Он поклонился графу и пропустил его.

«А что, как он вдруг уедет? — внезапно пришло в голову Артемия по дороге к Орлову.— Мы выданы теперь, выхода нет; может быть, теперь уже все известно, и он, велев мне ехать к Орлову, сам бежит из Петербурга, чтобы спастись самому, а нас оставить на произвол судьбы!»

Но эта подлая мысль про графа мелькнула у Артемия только на один миг, и он сейчас же отогнал ее от себя, стыдясь за нее сам пред собою.

«Вот как все-таки гадок человек! — чувствуя, что краска покрывает его щеки, продолжал он думать.— Сам я кругом виноват — из-за меня все происходит — и сам же думаю про других дурно, потому только, что сам дурное сделал».

Войдя в калитку дома, Сен-Жермен обернулся к старику, спрашивая:

— Все ли у вас готово по обыкновению, Иоганн?

— Граф собирается ехать сейчас? — ответил Иоганн вопросом,— в таком случае карета, как всегда, к услугам вашего сиятельства, и на всех пунктах остановок, вплоть до Парижа, ждут переменные лошади.

— Да, мне сейчас нужна карета, но только не для далекого путешествия — я еду в город. Кучера не нужно. Вы сами сядете на козлы.

Иоганн, очевидно, давно приученный к странному образу жизни графа, не медля, не удивляясь и не расспрашивая, пошел исполнять его приказание.

Сен-Жермен в ожидании облокотился на загородку, отделявшую двор от разбитого пред домиком палисадника.

Ждать пришлось ему недолго. Почти сейчас же, словно бочка пожарной команды по сигналу, из-за дома выехала парная карета с старым Иоганном вместо кучера на козлах, а кучер бежал открывать ворота и отвести в конюшню лошадь, на которой приехал граф.

— К Джузеппе Торичиоли,— проговорил Сен-Жермен, садясь в карету.

Джузеппе жил на лучшей улице города — на Невской першпективе, вблизи Казанского собора. Он занимал очень приличное помещение, устроенное, однако, не на манер барских жилищ, и применительное к вкусам и привычкам иностранца.

К нему можно было попасть с парадного крыльца, не останавливаясь у него непременно в дорогом экипаже с гайдуками и гусарами, которые бежали докладывать о приезде своего барина, встречали на крыльце лакеев хозяина дома и те в свою очередь шли докладывать приезжему, что его просят пожаловать. Так водилось у бар, и добрых полчаса проходило в этих докладах, церемониях и переходах. У Торичиоли же просто, по заграничному образцу, висел у двери молоток, которым мог постучать всякий.

Дверь открыл Сен-Жермену знакомый ему Петручио, служивший теперь у итальянца. Но Петручио, знавший графа под видом Одара, не узнал его теперь — он никогда не видал настоящего лица Сен-Жермена.

— Ваш господин дома? — спросил граф по-итальянски.

Петручио пожал плечами.

— Извините, синьор, но синьора Торичиоли нет дома.

— Разве он еще не вернулся?

— О, нет, он вернулся, но сейчас же уехал опять... per bacco, синьор, его нет дома.

До тех пор, пока Петручио не побожился, было еще сомнение — дома ли Торичиоли и только не велел принимать никого или он действительно ушел, но теперь можно было наверное сказать, что он дома.

— Наверно, синьор Торичиоли лишь приказал вам сказать так,— возразил Сен-Жермен,— но меня вы можете провести к нему...

— Per bacco...— начал было опять Петручио, однако граф не дал говорить ему.

— Вы можете провести меня,— повторил он и поднял руку, на которой у него на среднем пальце было агатовое кольцо.

Увидав кольцо, Петручио, не возражая больше, молча поклонился и повел Сен-Жермена в комнаты.

Они прошли небольшую прихожую, потом зал, столовую.

— Синьор Торичиоли здесь,— шепотом сказал итальянец-лакей, показав на дверь, ведшую в следующую комнату, и на цыпочках поспешно скрылся.

Граф взялся за ручку двери и быстро распахнул ее.

Торичиоли сидел у бюро и спешно переписывал что-то. Нетрудно было догадаться, что это — заветный список.

Когда Торичиоли заслышал звук распахнувшейся двери, то прежде всего инстинктивным движением закрыл бюро и вскочил со своего места, закрыв его собою. Но, когда он увидел на пороге комнаты Сен-Жермена, то есть человека, с которым у него были давнишние счеты и который уже вторично появлялся словно из-под земли как раз в тот момент, когда готовы были исполниться его планы относительно внезапного богатства, он вздрогнул весь и крепче прислонился к своему бюро, потому что отступить было некуда.

Торичиоли чрезвычайно поразился, но именно вследствие его необычайного испуга, изумления,— словом, чувства, охватившего его, вышло очень смешно все, что он сделал при появлении графа. Руки его опустились, лицо вытянулось и глаза заморгали, словно он хотел смигнуть кажущееся ему видение, в действительность появления которого не верит.

Но явившийся к нему человек заговорил, и, услышав его голос, Торичиоли должен был убедиться, что пред ним не обманчивый образ, созданный его фантазией, а вполне реальный человек.

— Вы, конечно, узнали меня,— проговорил граф.

«А,— подумал Торичиоли,— он теперь спрашивает меня, узнал ли я его? Конечно, узнал, еще бы не узнать! Но только теперь посмотрим... выдержу ли я...»

Теперь Торичиоли был совсем другим человеком, чем в Проскурове, и положение его было совсем иное. Тогда он вполне зависел от других, жил на жалованье, на чужих хлебах; теперь он был самостоятелен. Теперь у него в Петербурге имелись знакомства, и даже влиятельные; он был своим человеком в военной канцелярии, его знали многие и — чуть что — ему было теперь к кому обратиться и у кого искать защиты и покровительства... Он имел возможность при случае дойти и до самого государя.

Очевидно, этот человек, враг его, враг, счастье которого в молодости разбил Торичиоли, пришел теперь к нему не с ласковым приветом, но, может быть, даже для того, чтобы свести свои счеты с ним.

— Да, я узнал вас! — ответил он, выпрямляясь и с видимым усилием разыгрывая вид напускной смелости, так как в действительности весь вид его говорил:

«Ну, и что ж из этого? Ну-ка, попробуй, попробуй, подойди!..»

Сен-Жермен сделал шаг вперед и начал без малейшего признака волнения:

— Я пощадил вас тогда, в Генуе; я думал, что вы свой поступок — вы помните его — загладите последующей жизнью... Это было почти достигнуто... Но вы поколебались — помните, в именье князя Проскурова... Только мое появление остановило вас... Теперь вновь, в третий раз, вы на краю погибели... Что вы хотите сделать теперь, а?

Торичиоли было бы легче, если бы его упрекали, грозили ему, проклинали, но этот тон убеждения, как голос совести, был неприятен ему. На упрек он мог бы ответить упреком, на угрозы — угрозой, на проклятие — проклятием, но на суровое убеждение, точно власть имеющего судьи, он не был в состоянии возразить, потому что не имел достойного возражения.

«Туда же! Судить меня приходит,— внутренне усмехнулся он, словно над самим собою,— как будто у самого на душе нет ничего; у всякого человека есть что-нибудь — и в соборе Св. Петра не все колонны правильны... Ну, что ж, что за мною был грех, но теперь он сделать ничего со мною не может... да, не может!»

И, закинув голову, он поднял взор на графа и произнес:

— Я все помню. Ну, и что ж из этого? Чего же вы приходите ко мне? Если я — дурной, по-вашему, человек и снова будто бы стою на краю погибели, то и пусть — тем лучше для вас, и оставьте меня в покое... пусть я гибну, что ли, а вам нечего было приходить ко мне — незваным и непрошеным; я вас видеть не желаю и говорить с вами не хочу... И уйдите из моего дома, и уйдите вон, говорю я вам!

И слова, и вид Торичиоли были дерзки, но он хотел казаться дерзким, потому что он не мог быть смешным. Дерзостью думал он прикрыть свою трусость.

Однако его обращение не произвело никакого действия на графа. Ни один мускул его спокойного лица не дрогнул, он бровью не шевельнул.

— Если бы дело касалось вас,— по-прежнему ровно и тихо сказал он,— то, может быть, я не остановил бы на этот раз грозящего вам удара, который вы готовите сами себе. Но тут помимо вас замешаны другие и наконец совершенно невинный молодой человек.

Торичиоли сразу понял, что его незваному гостю известна история со списком и что о ней-то именно он и говорит теперь.

«И откуда это он узнает всегда?» — мелькнуло у него, но, разумеется, сознаваться не было у него ни причины, ни желания.

— Какой молодой человек? Какие тут другие? — проговорил он в свою очередь.

— Разве вы не знаете? Ведь у вас в руках теперь изменой доставшийся вам список; вы намерены донести как можно скорее... Я вам скажу: вы на верном пути, и ваш донос будет очень важен, очень... вы из него извлечете большую пользу для себя. Но только подумайте — какая участь грозит тем, на кого вы донесете, и главным образом тому, у кого вы взяли этот список.

«А, я на верном пути, я могу извлечь себе большую пользу! — опять подумал итальянец.— Кто же себе враг».

И дерзче прежнего он снова ответил:

— Оставьте меня в покое! Повторяю вам — никакого списка у меня нет, и ничего я не знаю... и никакого молодого человека, и ничего...

— Подумайте! — продолжал граф.— Его будут пытать, его возьмут, отвезут в крепость, и в то время, как вы будете получать деньги за свое предательство, вашу жертву вздернут на дыбу и кости его захрустят...

— Да вам-то что за дело? — крикнул вдруг Торичиоли.

Сен-Жермен скрестил руки на груди и остановил на нем долгий и пристальный взгляд.

Какая-то особенная, непонятная улыбка сложилась на его губах.

— Джузеппе Торичиоли,— проговорил он вдруг изменившимся и тоже совсем особенным голосом,— вы желаете теперь знать, какое мне дело до всего этого? Хотите, я дам вам ответ?

Торичиоли под этим взглядом и при звуке этого голоса почувствовал словно дрожь во всем теле и невольно ответил:

— Да, я хочу этого!

— Хорошо, я отвечу вам, но только не здесь.

«Что он говорит такое? — силился сообразить Торичиоли.— Не здесь? А где же тогда?»

— А где же тогда? — произнес он вслух.

— Мы сядем сейчас же в мою карету, и я отвезу вас туда, куда нужно. Мы поедем вместе.

Итальянец усмехнулся.

— С какой стати, зачем?.. Вы думаете, я так и дамся в ловушку? Почем я знаю, куда вы меня завезете.

Лицо Сен-Жермена выразило презрение.

— Неужели Джузеппе Торичиоли — такой трус,— внятно произнес он,— что боится поехать с человеком, которому он, кроме зла, ничего не сделал и который до сих пор за это делал ему только добро?

Самолюбие итальянца было задето. Иногда такие люди, как он, вдруг способны получить отчаянную смелость, именно если суметь задеть их самолюбие.

— Я вас не боюсь, да и никого не боюсь,— ответил он,— но если вы готовите мне ловушку, то верьте, что найдутся люди, которые заступятся за меня. Сколько времени должен я дать в ваше распоряжение?

— Часа полтора только.

— Тогда будьте добры подождать рядом в столовой. Теперь без четверти четыре; ровно в четыре часа я буду к вашим услугам.

Граф удовлетворенный кивнул головою и вышел в столовую.

XV

ЛОВУШКА

Все, что угодно, но только Торичиоли не хотел показаться трусом пред человеком, который был врагом его. Ему хотелось бросить ему, как вызов, свою решимость ехать с ним, куда бы тот ни повез его; к тому же чего-либо особенно скверного сделать с ним не могли: все-таки они жили в столице, где не так уж легко было исчезнуть такому лицу, как Торичиоли, который вследствие завязавшихся у него в последнее время отношений считал себя «лицом» в Петербурге. Кроме того, он знал, с кем ехал, и мог принять некоторые предосторожности.

Ровно в четыре часа они вышли на крыльцо и сели в карету. Дверца захлопнулась, и Иоганн тронул. Он знал, куда ехать, в том случае, если граф не давал никакого приказания.

Карета повернула по Невской першпективе.

Торичиоли, чувствуя мягкое покачиванье рессор, удобно сидел в своем углу, испытывая не без удовольствия ощущение быстрой езды.

— Могу я узнать теперь, куда мы едем? — спросил он наконец после продолжительного молчания.

— Не все ли вам равно, раз вы уже решились довериться мне? — спросил в свою очередь граф.

— Это ведь — Фонтанная? — продолжал итальянец, видя, что они поворачивают на набережную.

— Да, Фонтанная.

Разговор прекратился.

Хотя Торичиоли и старался показать всем, чем мог, что нисколько не боится, но в глубине души все-таки мучился неизвестностью.

— Однако,— обратился он снова к графу через некоторое время,— я должен предупредить вас, что принял известные предосторожности: в моем кабинете оставлен пакет, адресованный на имя одного из моих друзей, и в нем между прочими важными бумагами лежит записка о том, что я уехал именно с вами; если я не вернусь ровно через два часа домой, то пакет будет отнесен по назначению моим слугою.

Граф молча продолжал смотреть в окно, словно не слыша того, что говорили ему.

Это действовало на Торичиоли раздражающим образом. Он кашлянул нарочно громко и опять заговорил:

— Если вы думаете, что одни вы имеете возможность узнавать чужие тайны, то опять-таки я должен предупредить вас, что мне известно ваше настоящее имя. Я знаю, что вы — вовсе не граф Soltikoff, как вас звали в Генуе, и не доктор Шенинг; я знаю ваше настоящее имя...

— Вы знаете мое настоящее имя? — подчеркнул граф,— какое ж оно?..

— Граф Сен-Жермен,— торжественно произнес Торичиоли.— Да, вы — тот самый и известный в Париже и во многих других местах граф Сен-Жермен, который является под именем Шенинга.

Торичиоли, собственно, готовил этот удар на всякий случай для более удобного времени.

Однако его расчеты не оправдались. Граф нисколько не был удивлен. Только глаза его глянули насмешливо.

— Ну, хорошо, вам нетрудно было узнать, что доктор Шенинг и граф Сен-Жермен — одно лицо! Это вам мог сказать хотя бы ваш приятель, пьемонтец Одар; но значит ли это, что вам известно мое настоящее имя?

Оказалось, что Торичиоли вместо того, чтобы смутить графа, сам очутился в неловком положении. Свои сведения

он действительно получил от Одара, но графу было известно даже и это.

— Во всяком случае,— заговорил итальянец, чтобы выйти из неловкости,— знайте, что в моей записке прямо сказано, что я уехал с известным графом Сен-Жерменом, который находится в Петербурге под именем доктора Шенинга, и если что случится, то — будьте покойны — вас найдут: сам государь будет знать об этом.

Сен-Жермен продолжал смотреть в окно. Насмешливая улыбка так и застыла у него на лице.

— А разве вы знаете Одара? — не успокаивался Торичиоли.

— Что значит «знаете»? Вы помните старое греческое изречение: «Познай самого себя»? Ведь это невозможно; так как же вы хотите, чтоб я з н а л Одара?..

Больше они не разговаривали.

Карета подъехала к деревянному домику на реке Фонтанной, тому самому, откуда Сен-Жермен поехал к итальянцу. Иоганн остановил лошадей у ворот и щелкнул три раза бичом — ворота отворились. Карета въехала в них.

Граф вышел первый и повел Торичиоли на крыльцо дома; оно было не заперто. В сенях оказались две двери, кроме входной внизу; неширокая крепкая лестница вела наверх. На первый взгляд этот домик был самым обыкновенным домиком, скромным и уютным, какие строили себе в России помещики средней руки.

Торичиоли доверчиво следовал за графом. Тот повел его вверх по лестнице. Там наверху в мезонине оказалась одна только комната, под самой крышей.

— Милости прошу,— проговорил граф, открывая дверь этой комнаты.

Итальянец вошел. Дверь захлопнулась за ним. Он кинулся к ручке ее, но дверь была уже заперта снаружи. Торичиоли попался в ловушку.

— Что же это? — вслух произнес он.— Ну, конечно... и нужно было ехать, нужно было поддаться...

Правда, комната, в которой его заперли, не имела в себе ничего страшного, ни угрожающего. Ее стены, аккуратно и крепко обшитые чистыми, новыми досками, не были ничем покрыты, но все-таки имели приветливый вид. Пол был тоже чистый, белый. Из мебели стояли лишь несколько стульев и стол. В окна гляделись, почти вплотную заслоняя их, зеленые ветви деревьев.

Торичиоли попробовал постучаться ручкой и потрясти дверь. Она сидела плотно на петлях и не поддавалась. Он

попытался заглянуть в окна, но они были так малы, что высунуться в них не представлялось возможности. Выхода не было.

Торичиоли пришел в отчаяние.

Запереть его, запереть и оставить,— это было ужасно; главное же — хуже всего казалась неизвестность. Неужели его завезли, чтобы кончить с ним? Но этого быть не может: этот таинственный граф предупрежден, что через два часа пакет отнесут по надписанному на нем адресу и все станет известно и станут искать Торичиоли, и помогут ему.

Соображая все это, итальянец, как зверь в клетке, ходил из угла в угол, потом сел, затем опять заходил.

Сначала он все соображал, потом стал припоминать дорогу, как они ехали, и рассчитывать, далеко ли он находится от центра города; затем он впал в полное отчаяние, но опять нашел утешение себе; потом стал молиться.

А время между тем шло и шло. Был уже шестой час, когда Торичиоли наконец уселся у стола и, положив на него часы пред собою, бессмысленно следил за тем, как медленно двигались стрелки, подходя к сроку, назначенному им графу.

Да, если даже сию минуту его выпустят, то уже будет поздно, он не поспеет доехать и пакет будет отдан.

«Ну, что ж, тем хуже для него!» — решил Торичиоли и прислушался.

Ему показалось, что идут. Но во время своего невольного заключения он уже столько раз прислушивался и обманывался, что, должно быть, и на этот раз было то же самое.

Однако это было не так: на лестнице теперь уже послышались шаги, и не одного человека, а по крайней мере двоих.

Торичиоли притаил дыхание.

С лестницы поднялись совсем на площадку; там, по ту сторону двери, можно было различить шорох.

«Отопрут или не отопрут?» — с забившимся сердцем подумал Торичиоли.

Ему хотелось, чтобы отперли — по крайней мере в продолжение часа, что он сидел здесь, он только и желал этого; но теперь, когда послышались шаги, а потом шорох у самой двери, ему стало жутко, и он готов был почти крикнуть, чтобы не отворяли, что не надо, что он не хочет этого.

— Неужели без этого нельзя обойтись, неужели это необходимо? — услышал он слабый женский голос за дверью.

— Да, это необходимо,— ответил голос Сен-Жермена и вслед затем граф раскрыл дверь, пропуская в комнату впереди себя женщину в черном монашеском одеянии.

Торичиоли в это время стоял уже у стола, крепко ухватившись за него, прямо лицом к двери. Первое его движение было — защититься, но поднявшиеся для этого руки при взгляде его на монахиню вдруг быстро опустились.

Это была та самая мать Серафима, которая, будучи пострижена в монастырь вблизи Проскурова, столько лет запрещала Торичиоли показываться себе на глаза,— та самая, которая давным-давно, там, на юге, в Генуе, не носила еще этой черной рясы и в миру казалась обыкновенною светскою женщиной, русской аристократкой, то есть не совсем обыкновенною, потому что красота ее сводила с ума все молодые головы города; та самая наконец, которая была героиней страшной истории, разыгравшейся между нею, Торичиоли и графом, и которая впоследствии стала матерью ребенка итальянца, ребенка, отыскиваемого им до сих пор еще с прежним рвением, как единственное существо, на кого он мог обратить всю свою любовь.

Давно прошла эта история; сильно изменилась с тех пор и мать Серафима, и Торичиоли; один граф, казалось, оставался прежним, но если вглядеться и в него, то заметно было, как изменились не черты его лица, а выражение последнего, ставшее совсем бездушным, холодным, застывшим.

А вот они снова все трое встретились после стольких лет разлуки. А ведь и разлучились-то они для того, чтобы никогда не встречаться. Однако, очевидно, так нужно было, нужно было сойтись им еще раз, но зачем? Это должен был сейчас узнать Торичиоли.

Мать Серафима вошла и остановилась посреди комнаты с опущенными руками, сплошь закрытая своею черною мантией, глядя прямо пред собою тем светлым, бесстрастным взглядом, каким глядят на этот внешний «светский» мир люди, отрешившиеся от него. Но в ее почти сквозном матовом лице и в особенности в бесстрастных глазах оставались еще следы той замечательной красоты, из-за которой Торичиоли пошел на преступление.

И теперь, при взгляде на нее, эта прежняя красота матери Серафимы, как живая, воскресла в памяти итальянца, и он смотрел на нее, и давно его уже не волновавшееся

сердце забилось вновь так часто, что он схватился за него, словно желая остановить его беспокойные удары.

— Вы хотели,— заговорила мать Серафима по-итальянски, обращаясь к Торичиоли (да, она заговорила по-итальянски, на том языке, на котором он шептал ей когда-то слова любви, которые она не хотела слушать — она не забыла этого языка!),— вы хотели знать, где... где этот ребенок,— она запнулась, потому что не хотела сказать ни «мой», ни «ваш», ни «наш» ребенок, и сказала просто «этот».— Я пришла теперь назвать вам его.

Торичиоли кинулся вперед. Грудь его часто и неровно подымалась, он совсем задыхался.

— Я понял, понял,— едва выговаривая слова, перебил он,— это он,— показал он на графа,— привел вас сюда и упросил, чтобы вы ценою вашей тайны купили у меня молчание о заговоре, в котором он, очевидно, принимает участие... Ему нужен этот список... Я все отдам, все... я буду молчать, я согласен, если вы скажете мне, где мое дитя. Для него, то есть, чтобы отыскать его, мне нужны были эти деньги, эта денежная награда... только для него... Если я буду знать, что мне нужно, я на все согласен, и мне тогда ничего не нужно.

Мать Серафима, не слушая, ждала, пока он кончит, чтобы продолжать свою прерванную речь. Торичиоли задохнулся и не мог больше говорить.

— Этот ребенок,— продолжала она,— был много времени возле вас, вы знали его почти с самого детства и не подозревали этого, живя у князя Проскурова.

— У князя Проскурова? — крикнул Торичиоли.— Я знал его с детства?.. он был возле меня?.. Кто же это... Артемий? воспитанник князя?.. да?..

— Да, воспитанник князя.

Мать Серафима перевела дух; очевидно, и ей тяжело дышать было.

Сен-Жермен сделал движение к двери, как бы указывая этим, что теперь все, что просил он, исполнено и эта мучительная сцена может прекратиться; но мать Серафима остановила его, говоря:

— Нет!.. Я думала, что мой грех и умрет со мною, что мне не придется никому, не только вам, рассказывать свою исповедь. Однако теперь я вижу, что это неизбежно, что нужно кончить, как ни тяжело, нужно, нужно сказать... Да, я подкинула своего сына в богатый княжеский дом, потому что князь Проскуров хотел иметь мальчика. Я знала,

что ему там будет хорошо... Сама же я не могла оставить его у себя — я боялась сплетен; ведь я жила в обществе, где злословие считается добродетелью, и я, ни в чем неповинная, вследствие своей боязни и малодушия, стала тоже виновною... Я отдала в чужой дом своего сына, и в этом мой грех. Пока он был в Петербурге и я жила здесь и бывала в обществе — все было скрыто — мне еще жилось... Но князь Проскуров уехал в деревню, и тогда начались мои муки. Сначала я не могла понять, любила ли я этого ребенка, рожденного от отца, которого я должна была ненавидеть, и только когда окончательно разлучили меня с ним, только тогда я поняла, что люблю его, и как дороги мне были те мимолетные свидания с ним на улице, когда его выносили гулять и я потихоньку ждала его возле дома... Да, тогда начались для меня мои мученья, и они привели меня в монастырь! — Она с трудом договаривала слова.— Он был в чужом доме, брошенный мной, лишенный матери... я не могла принять и взять его обратно — мне его не дали бы и лишь насмеялись бы надо мной... Раскаяние измучило меня — и постригшись я взяла на себя послушание никогда не пытаться увидеть моего сына, лишь бы он был счастлив. Довольны ли вы теперь? — совсем ослабевшим голосом обратилась она к графу.

Тот почтительно, как кланяется только низший высшему, поклонился ей, и в этом поклоне были выражены и благодарность, и просьба о прощении за те минуты, которые он заставил только что пережить мать Серафиму.

Она повернулась и вышла из комнаты.

— Мадонна! — крикнул Торичиоли и кинулся за нею, но сильная рука графа Сен-Жермена остановила его.

— Не торопитесь, синьор Джузеппе,— проговорил он,— теперь мы с вами один на один.

Торичиоли взглянул на него в упор совсем бессмысленными глазами, как будто не узнав его, и рванул руку, но граф крепче стиснул ее.

— Пустите! — произнес наконец Торичиоли.— Вы слышали... мой сын... он — мой сын... Теперь... теперь...

— Теперь половина шестого уже прошла,— оставаясь спокойным, проговорил граф.

Торичиоли сделал движение к столу, где лежали у него часы — Сен-Жермен отпустил его. Часы показывали тридцать четыре минуты шестого. Итальянец схватился за голову.

— Вы не знаете, что вы сделали! — в полном отчаянии крикнул он.— О, вы не знаете, что вы сделали!.. Ведь в этом пакете, который теперь остановить нет возможности, потому что поздно — он сейчас будет в руках Эйзенбаха, и тогда все потеряно,— в этом пакете я донес на сына, на Артемия...

Бедный Торичиоли был похож на сумасшедшего. Он метался по комнате — кидался то к столу, к часам, то к двери.

— Да вы не верите, может быть, что я говорю правду? Клянусь вам, что этот список у меня, и в особой записочке назван Артемий, и рассказано, как взят этот список...

Сен-Жермен стоял неподвижно, загораживая собою дверь, и следил за движениями Торичиоли.

— Я верю вам,— ответил он,— я знаю, что вы говорите правду.

— А если так, то что же вы стоите, что же вы... что же?.. Ведь, может быть, есть еще время... нужно поехать... остановить... Да пустите же меня!

И снова Торичиоли хотел прорваться силой, и снова граф остановил его.

— О, пустите! — стал просить тогда он.— Пустите меня! Ведь это ужасно, что вы делаете... Столько лет я жил возле сына, не зная, что это — он; столько лет я искал его... готов был на все — ведь он для меня теперь все в жизни... все!.. И вдруг в тот самый миг, когда я узнаю, что это — он, я сам, его отец, делаю на него донос... Ведь это же ужасно... ведь его возьмут...

— И не одного его — и других также.

— Да, но от этого мне не легче. Вы сами говорили, что его могут взять и отдать в пытку... в пытку!.. Пожалейте же его... пожалейте!..

— Отчего же вы не пожалели сами?

— Да, но я не знал тогда, не знал... Помогите мне, пустите! Я успею остановить Эйзенбаха; я поеду, скажу, что все это — ложь, что все это—неправда... я все на себя возьму... Что вы делаете со мною? Это безжалостно, что вы делаете!..

— Безжалостно! — повторил Сен-Жермен.— А вы сами умели жалеть других?

— Не умел! Ну, что ж! Но ведь в таком положении, как я теперь, никто не был. Подумайте только: единственное существо, которое было для меня в жизни дорого, единственное, и в тот самый миг, когда я мог назвать

его своим, сказать ему, что я — его отец, в тот самый миг... вы отнимаете его у меня.

Граф глубоко вздохнул, после чего произнес:

— Вспомните, синьор Джузеппе, что сегодня — двадцать седьмое июня; вспомните это же число много лет тому назад! И тогда был человек, который готов был тоже любимое им существо — не ребенка, не сына, а женщину, которая для него была все в мире,— назвать своею, и вы в этот день отняли ее у него, отняли обманом, преступлением.

Торичиоли остановился и, поднеся руку ко лбу, невнятно проговорил:

— Да... да... правда, сегодня двадцать седьмое июня, то самое число... Так это — месть? Это — ваша месть? — крикнул он.— Жестокая месть. Но лучше бы вы меня тогда же убили, чем заставить дожить до сегодня.

— Я не хотел вам мстить,— я два раза щадил вас; я сегодня приехал к вам, уговаривал — вы не хотели слушать: вы сами себе отмстили.

— Да, но эта месть скверна, ужасна, бесчеловечна! — кричал Торичиоли, хотя его голос срывался ежеминутно.— Вы мне мстите и губите других... вы губите их... Вас убить мало за это... убить! — и он опять кинулся на Сен-Жермена, окончательно потеряв голову.

Граф, спокойно улыбаясь, глянул в его остервенелые, налитые кровью глаза и отвел его руки от себя.

Торичиоли чувствовал уже его силу, а также и то, что силой ничего нельзя сделать с ним.

— Ну, хорошо,— заговорил он, стараясь сдержаться, и в голосе его послышались слезы,— ну, хорошо! Вы отмстили мне, довольно... Но дайте же мне возможность, насколько мыслимо, исправить свою вину. Пустите меня — откройте дверь, пустите,— и я век свой не забуду вашего благодеяния; да, как на благодеяние, я буду смотреть на это... Откройте мне дверь... может быть, еще не поздно...

Была минута, когда, казалось, Торичиоли станет на колена.

— Так вы хотите только, чтобы я открыл вам дверь? — спросил Сен-Жермен.

— Да... только...

— Ну, хорошо синьор Джузеппе, я вас не держу больше! — и граф открыл дверь настежь.

XVI
ИЗМЕНА

Петручио стоял у перил Полицейского моста, беспокойно оглядываясь и, видимо, с нетерпением ожидая кого-то. Каждую проезжавшую мимо карету он оглядывал с нескрываемым волнением и, когда она проезжала мимо, снова разочарованно возвращался к своему месту. Его волнение было настолько сильно, что он даже не делал вида, что находился тут, как будто случайно, а ждал уже совершенно открыто.

Но вот наконец показалась на Невской першпективе карета графа Сен-Жермена, теперь уже с кучером, вместо Иоганна, на козлах. Петручио стал вглядываться в нее, как вглядывался во все проезжавшие мимо экипажи — не тот ли, который ждал он. Въехав на мост, карета остановилась. В окне ее показалась голова Сен-Жермена. Его-то и ждал Петручио.

— Наконец-то, синьор! — почти крикнул он, подскакивая к окну.— Я вас не могу дождаться.

— Пакет у вас? — отрывисто спросил Сен-Жермен.

Петручио взволнованно заговорил, торопясь словами и глотая их:

— Синьор приказал мне принести сюда этот пакет именем синьора Одара; я всем сердцем служу синьору Одару, но я не мог исполнить ваше приказание. Клянусь Мадонной, я не мог исполнить его... Скажите Одару, что я клянусь Мадонной.

Петручио, не только словами, голосом и выражением, но жестами силился подтвердить невозможность исполнения возложенного на него поручения. Он сильно размахивал руками, приседал и ворочал головою из стороны в сторону.

— Отчего же вы не могли исполнить приказание? Значит, пакет остался на своем месте? — мягко спросил Сен-Жермен.

— О, если бы он остался на своем месте,— воскликнул Петручио,— то был бы теперь в руках синьора. Клянусь Пресвятой Мадонной...

Дело становилось серьезным. Брови графа сдвинулись.

— Куда же мог деваться пакет? — спросил он опять.

Петручио снова замахал руками.

— На пакете, синьор, был написан адрес: «Господину Эйзенбаху». Только что вы уехали с синьором Торичиоли из дома, как приходит молодой Карл фон Эйзенбах. Он — приятель синьора Джузеппе и бывает у него совсем запросто. Я говорю: «Нет дома»,— а он сказал мне: «Хорошо, я пройду в его кабинет и напишу ему записку». Я не мог задержать его, потому что он меня и не спросил, он прошел прямо в кабинет и увидел пакет на свое имя; тогда он взял его...

— Нужно было остановить...

— Я останавливал; я сказал, что этот пакет мне велено отнести только через полтора часа, но он возразил мне: «Дурак!» — он так и возразил мне: «Дурак! Не все ли равно, через полтора часа или теперь, если этот пакет мне?»

— И он распечатал его?

— И он распечатал его, а когда посмотрел, какие там были бумаги, то схватил их и сейчас же убежал; он сделал это очень быстро — мне только оставалось прийти сюда с пустыми руками. Я и пришел.

— Вы говорите, что Эйзенбах пришел почти вслед за нами? — проговорил Сен-Жермен слегка изменившимся голосом.

— Да, почти сейчас же.

Времени, значит, прошло немало, и если молодой Эйзенбах не потерял его, то мог многое уже сделать.

— Синьор,— продолжал Петручио,— засвидетельствуйте синьору Одару, что я не виноват.

Но граф не слушал уже его.

— Скорее! Налево! Подъезжайте к дому! — сказал он кучеру, высунувшись из окна.

Налево от Полицейского моста был дом, где жил Орлов.

Сен-Жермен выскочил из кареты на ходу. В дверях он встретился с Орловым. Тот, взволнованный и встревоженный, обрадовался его появлению.

— Это — вы, граф? А я хотел идти к вам навстречу... Вы знаете? измена! Мне сейчас прибежали сказать, что Пассек арестован.

— Уже арестован? — проговорил Сен-Жермен.

— То есть как «уже»? Значит, вам известно что-нибудь?

— Мне известно, что мы слишком долго мешкали и что сама судьба толкает нас действовать; значит, пора?.. Садитесь сейчас в карету. Вы не знаете, государыня все еще в Петергофе, а Петр — в Ораниенбауме?

— Да, он все там, а она — в Петергофе.

— Тем лучше! Садитесь сейчас в мою карету, лошади должны выдержать; отправляйтесь в Петергоф и, не медля, по приезде, доложите государыне, что все готово для ее провозглашения.

— Но никто еще не знает ничего, мне первому прибежали сказать о Пассеке... Разве вы тут поспеете?

— В то время, когда вы скажете государыне, что все готово,— будет действительно готово все. Садитесь и не теряйте времени! Нужно вернуться сегодня в ночь.

Они уже были на крыльце.

— Это — ваш кучер? — спросил Орлов.— Он надежен?

— Да он вполне надежен, но все-таки лучше заменить его... Сержант у вас?

«Сержантом» продолжали звать в близком кружке Артемия, несмотря на то, что он уже давно был офицером.

— Он у меня,— ответил Орлов,— но с ним творится что-то странное. Он приехал ко мне давным-давно и сказал, что нужно ждать вас; больше я ничего не мог добиться от него — сидит, как убитый, не ест ничего и заладил одно, что нужно ждать вас, и тогда все объяснится.

— Ну, да! Зовите его сюда... или нет, лучше пусть Иероним подымется к нему... Иероним,— обернулся Сен-Жермен к своему кучеру,— пройдите в квартиру... Вы спросите там...— и он объяснил, что должен был сделать Иероним.

Через несколько времени — не успел граф перекинуться несколькими последними нужными словами с Орловым — на крыльцо выбежал Артемий в одежде кучера Сен-Жермена. Он уже не спрашивал, что нужно было ему делать, не разговаривал, но, поняв, что граф не успел остановить донос и что нужно как можно скорее приступить к действию, послушно и безропотно решил повиноваться и исполнять все, что от него потребуют. Он взглянул только на Орлова, чтобы узнать, известно ли тому, кто — главный виновник происшедшего, но по взгляду, который рассеянно бросил на него Орлов понял, что Сен-Жермен ничего не сказал ему. Это ободрило Артемия.

— Куда ехать? — спросил он, садясь на козлы.

— В Петергоф, голубчик, за государыней. С Богом! — как-то странно сказал Орлов и перекрестился.

Артемий тоже сделал крестное знамение и, едва Орлов сел в карету, тронул лошадей. Когда они двинулись, Сен-Жермена не было уже на крыльце.

Артемий сейчас же, как только явился к нему кучер для переодеванья, сообразил, что ему предстоит участие в важной поездке, но он не мог думать, что за самой государыней поедут они!

План был рискованный, но, вероятно, дело зашло так далеко, что нужно было рисковать, и радость наполнила сердце Артемия — радость загладить свою вину, радость пойти на прямую опасность. Что происходило теперь в Петергофе? Что ждало их там? Может быть, там уже было все известно, и они ехали на то, чтобы прямо арестовали их? Но, разумеется, не этого, не за себя и не за свой арест боялся Артемий — личная его свобода и даже сама жизнь была не дорога ему; нет, он боялся, что сталось с императрицей, что с ней, и поспеют ли они вовремя, прежде чем туда придет распоряжение из Ораниенбаума.

Лошади бежали дружно, мерною рысью; несмотря на то, что Артемию птицей хотелось бы лететь теперь в Петергоф, он с напряженным вниманием следил, стараясь употребить на то все способности существа своего, за ходом лошадей, чтобы сохранить их силы. Но они, видимо, отлично втянутые в работу и гоньбу, словно понимали, какой им предстоит сделать конец, и понимали тоже, что все зависит от того, вынесут ли они или нет. И Артемию казалось, что каждый взмах их тонких, словно точеных, мускулистых ног говорил, что они вынесут и не выдадут. Они шли, словно разумные существа, и Артемий не сдерживал их и посылал вперед лишь тогда, когда они просили посыла.

Ночь была тиха; дорога казалась пустынна, и в этой пустынной тишине слышался только звук быстро бегущих копыт и вертящихся колес кареты.

— Береги лошадей! — высунулся Орлов.

Артемий оглянулся только на него, и Орлов понял, что он знает, что ему делать, и делает хорошо.

Ни верховых, ни одноколок, ничего похожего на экстренных посланцев не попадалось по дороге, и это служило хорошим знаком.

Медленно, мучительно медленно тянулось время для Артемия, но, когда он огляделся, чтобы сообразить ме-

стность, то невольно поразился, как далеко они отъехали. Сам он не ожидал этого, хотя следил за верстовыми столбами, мелькавшими по правой стороне дороги, но сбился с их счета, цифры же рассмотреть было трудно. Судя по местности, они уже должны были проехать трактир, стоявший в стороне от дороги, и необитаемый дом, крыша которого торчала из-за зелени и про который ходили таинственные вымыслы о привидениях.

«Неужели это — уже монастырская роща?» — удивился Артемий, но пред ним в самом деле вдруг в сумрачно-призрачном белесоватом небе северной летней ночи выплыли золотые маковки монастырской церкви.

— Монастырь виден! — сказал Артемий в карету и придержал лошадей, чтобы дать им вздохнуть.

Переезд от монастыря к Петергофу показался даже гораздо короче, чем обыкновенно.

Однако раннее солнце уже взошло и, судя по нему, был пятый час утра, когда они въехали в Петергоф. Он спал еще. Движения нигде не было заметно... А что во дворце? так же ли тих и спокоен дворец, и не предупреждены ли там?

Но вот и дворец. И его длинное одноэтажное здание охвачено тем же безмолвием — только высокие деревья, шурша на утреннем ветерке с моря, качаются вокруг него своими ветвями и наклоняют друг к другу макушки, словно и они в заговоре, и они перешептываются.

— Остановись здесь! — слышит Артемий осторожный теперь, тихий голос Орлова и натягивает вожжи.

Лошади, перебрав ногами, останавливаются.

Орлов выходит, бережно закрывая за собою каретную дверь, чтобы она не стукнула, и поспешно объясняет Артемию, куда он должен стать в аллею и слушать троекратного свистка. Артемий слушает его и невольно любуется его красивой, огромной, дышащей силой фигурой, освещенной сегодня еще каким-то внутренним огнем; но, несмотря на этот огонь, несмотря на важность минуты, Орлов, привычный ко всякого рода ночным похождениям, имеет решимость шутить еще.

— Ты не засни, смотри! — с улыбкой добавляет он, обращаясь к Артемию, и исчезает куда-то, очевидно, хорошо знакомый со всеми ходами и выходами дворца.

«Совсем как в романе! — думает Артемий. — Боже мой, неужели это возможно, неужели мы действительно привезем государыню в Петербург, и завтра воцарится но-

вая монархиня в России — Екатерина Вторая? Да, конечно, она уже будет «второю» — первая была супруга Петра... Великого Петра... А как странно: этого тоже зовут Петром, но, Боже, какая разница!»

Думая так, Артемий ждал с напряженным вниманием условленного свистка. Орлов, исчезнув, пропал, и Артемий, которому почему-то представилось, что он должен сейчас же вернуться назад, никак не мог сообразить, сколько времени нужно Орлову, чтобы, проникнув во дворец, дать знать государыне и дать ей время одеться, потому что, вероятно, она спала еще в этот час.

Но как проникнуть, как дать знать, когда на каждом шагу могли поймать его, их вместе наконец — это Артемий не мог себе представить, и ему казалось уже, что они затеяли сумасшедшее дело, что этим сумасшествием только испортят все, и что Орлов схвачен, и сейчас придут схватить и его. Ну, и пусть схватывают! Пусть гибнет он сам: это — все, что ему остается, потому что другого исхода нет.

Вдруг в воздухе раздался осторожный, как голос Орлова, свист и повторился три раза.

Артемий дрогнул и послал лошадей.

«Один он или нет? Конечно, один», — решил Артемий, выезжая из аллеи.

В тени большой разросшейся сирени стоял Орлов и рядом с ним — женщина, окутанная в черную мантилью.

«Спаси ее Господь!» — мелькнуло у Артемия, и он чувствовал, как дрожь пробегает по его телу.

Как они сели, как он поехал, как выбрались на петербургскую дорогу — он не помнил; он был словно во сне, словно в грезе, и словно не он сидел на козлах и правил, а кто-то другой; однако этот другой отлично следил за лошадьми, от которых теперь зависело все.

Артемий чувствовал, что его волнение, точно ток по проволоке, передалось и им, и они разгорячились и шли уже не так ровно и уверенно, как прежде.

До монастыря еще можно было ехать спокойно, но, миновав его, Артемий стал с тревогой прислушиваться к все чаще и чаще повторявшемуся хрипу лошадей (они уже хрипели) и поглядывать на их усталые, с заметным усилием двигавшиеся ноги.

— Гони! — высунулся Орлов из кареты.

Артемий хлестнул бичом. Лошади дрогнули, крепче влегли в оголовки, но их ослабевшие силы снова скоро сказались опять.

Проехали еще несколько верст.

И вдруг, к ужасу своему, Артемий заметил, что, несмотря на посыл, лошади идут тише и тише; еще несколько шагов, и они остановились.

Бедные, дрожавшие теперь, измученные животные сделали все, что могли. Они выбились из последних сил и из последних сил протащили карету, пока только могли; теперь они остановились, дрожа всем телом; каждый мускул, каждая жилка этого обессиленного, покрытого пеной тела тряслась и билась.

Орлов высунулся снова из кареты, открыл дверцу, вышел и, взглянув на лошадей, тоже ужаснулся их виду. Они не могли идти дальше. Они на месте шатались от усталости.

XVII
БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Выпущенный на свободу Торичиоли кинулся вниз по лестнице и, найдя сам дорогу, выбежал за ворота; точно боясь погони, которая остановит его, он выбежал и без оглядки бросился вперед, подальше от этого дома, где он провел несколько ужасных для него часов.

Прежде всего ему именно хотелось только уйти как можно дальше.

На пустынном берегу Фонтанной, по которому ему пришлось пробираться, трудно было найти какой-нибудь другой, кроме собственных ног, способ передвижения: городские извозчики сюда не заезжали и даже попутного крестьянина с возом нельзя было встретить.

Торичиоли шел сначала бодро, почти бежал, но скоро ноги его стали ослабевать, спотыкаться и подкашиваться. Волнение, страх, беспокойство, желание спасти сына, который по его вине может пострадать, отнимало у бедного итальянца энергию, и он напрасно силился обдумать, что предпринять ему теперь; все мысли путались у него, как у пьяного, и он чувствовал, что начинает шататься, как пьяный.

Он не знал, сколько времени уже шел и много ли ему оставалось еще до самого города, но чисто физическая уже усталость присоединилась ко всему остальному, и он, не отдавая себе отчета в ней, удивлялся лишь, отчего идти ему все труднее и труднее, и ноги отказываются повиноваться, и подымать их так же тяжело, как будто к ним

привешены пудовые гири. Но все-таки он делал почти сверхъестественные усилия и подвигался вперед.

Добрался он таким образом уже до барских домов, глядевшихся своими щегольскими, один лучше другого, фасадами в воды тихой реки, и ему стало легче — значит, уже сравнительно недалеко Невский, значит, главный и самый трудный путь пройден.

Но это облегчение оказалось только кажущимся и, напротив, после него-то усталость дала себя знать с особенною, почти уже несокрушимою, силою.

— Глянь-ко... глянь, Митрий! — услышал он чей-то голос.— Барин-то, барин идет и совсем пьян, пьянехонек!

Торичиоли обернулся: несколько дворовых сидело у ворот на лавочке и показывало на него пальцами.

— Голубчики,— обернулся к ним итальянец,— дайте воды напиться!

— Чего, того, кого прочего? — спросил один из дворовых, видимо, шутник и забавник, выходя вперед, подбоченясь на удовольствие остальной компании.

— Напиться, воды! — повторил Торичиоли.

— Напиться просит! — обернулся парень-шутник к своим, словно те не слышали и словно он им объяснял и показывал в Торичиоли заморского зверя.— А не угодно ли вашей милости к речке вот приступить? — продолжал он уже к итальянцу.— Оно куда прохладнее будет... мы подсобим...

— Воды! — вдруг крикнул Торичиоли, побагровев.— Я вам дам, анафемы!..

И откуда он вспомнил это слово, и откуда взялась у него еще сила крикнуть, но крикнул он так громко и зычно, что парень, несколько сконфуженный, попятился.

Среди дворовых произошло смятение.

— Воды просит,— послышался робкий шепот.

Но Торичиоли больше ничего не слышал: прилив внезапного гнева совсем доконал его, и он, как сноп, повалился на землю.

Очнулся он только поздно. Должно быть, была уже ночь, потому что в окно, маленькое, с зелеными бутылочными стеклами, чуть проникал мутный сумрак июньской петербургской ночи, или, вернее, утра — в это время заря с зарей сходились.

Помещение, в котором очнулся Торичиоли, казалось очень странным. Комната была похожа на чулан с косым потолком, словно она была под лестницей. Грязные стены

пестрели тараканами, на полу валялась солома, на которой и лежал Торичиоли.

«Санта Лучия,— подумал он,— где я и что со мною?»

И он начал с усилием припоминать все, что случилось с ним со вчерашнего вечера.

Разговор в тесовом домике он помнил, разумеется, превосходно — он не мог забыть его, сколько бы ни прожил теперь. Потом этот ужасный переход пешком по берегу реки... потом что-то дерзкие люди говорили... они приняли за пьяного... он упал... да, Торичиоли вспомнил ясно, как упал он, и тогда понял все: его подняли, как пьяного, и отнесли или отвезли в полицейский дом. Он заперт теперь в полицейском доме,— сомнения нет.

Торичиоли поднялся, оглядел себя; в ужасном виде были его кафтан, чулки и башмаки. Он поискал шляпу — шляпы не было. Ему захотелось посмотреть, который час —часов в кармане тоже не оказалось, и Торичиоли не мог припомнить, оставил ли он их на столе в доме, куда его привез Сен-Жермен, или у него вытащили их потом.

Но теперь в сущности ему было не до часов и не до шляпы.

Что было делать теперь ему, как выбраться? Стучать, звать кого-нибудь, он знал, что это напрасно, что все равно его не выпустят до утра, то есть до появления начальства. Торичиоли попробовал дверь, она была дощатая, еле сколоченная.

«А-а»,— обрадовался он и хотел было попробовать плечом, не поддастся ли она, но остановился, сообразив, что это сделать нельзя без шума.

Он осмотрел щель, которая оставалась, потому что дверь не была приперта плотно. С наружной стороны был один только засов.

Попробовал Торичиоли подвинуть его пальцами — засов поддался. Итальянец сделал еще несколько движений, и дверь открылась. Тогда он осторожно, на цыпочках, вышел в длинный коридор, потому что дверь отворялась туда, и, не соображая еще, что и как ему делать, инстинктивно пошел, не озираясь, по коридору. Терять время ему было некогда — его и так уж ушло слишком много.

На конце коридора дверь оказалась незапертою. Она вела прямо на двор.

На дворе, у калитки спал с блаженною улыбкой на лице сторож, охватив свою длинную, неуклюжую але-

барду. Торичиоли свободно прошел мимо него и очутился на улице.

Никто не слыхал и не видал его побега. Только где-то сзади, на дворе, петух на нашесте проснувшись прокричал протяжно и громко; на его крик откликнулись другие, и все снова затихло.

Теперь Торичиоли следовало решить, что делать?

Идти домой? (Это — первое, что пришло ему в голову.) Но туда было слишком далеко, и сам он был в таком виде, что ночные сторожа могли принять его за вора и снова взять.

Оглядевшись, Торичиоли узнал местность: тут было недалеко до петергофской рогатки.

Он не сомневался, что пакет, оставленный им на столе, был еще вчера вечером в руках Эйзенбаха. Следовательно, тот, вероятно, уже дал знать куда следует. Государь был в Ораниенбауме, и к нему, вероятно, уже послан гонец с докладом о заговоре. Следовательно, важно теперь быть не в городе, а именно в самом Ораниенбауме, дойти до государя и искать у него спасенья для Артемия. Об остальных Торичиоли не заботился.

Рогатка была недалеко. Нужно было идти к ней, по дороге нанять, за какие угодно деньги, первого чухонца, едущего в город, и ехать на нем в Ораниенбаум, где были у Торичиоли друзья.

Этот план составился у него сам собою.

И он, стараясь припомнить местность (он часто ездил по петергофской дороге и знал эти места), стал пробираться к рогатке.

Утренняя свежесть, разлитая в воздухе, ободрила итальянца. Местность была довольно пустынна, но, по мере того как Торичиоли подвигался вперед, и в ней начинала просыпаться жизнь.

Раза два уже попались прохожие, с удивлением оглянувшись на итальянца, истерзанный вид которого не мог не поразить их; один из них даже остановился и долго смотрел ему вслед.

Попался выехавший на промысел извозчик. Торичиоли чрезвычайно обрадовался ему и стал нанимать в Ораниенбаум. Извозчик подумал, почесал затылок, зевнул и потребовал деньги вперед.

Торичиоли стал шарить по карманам и нашел в них одну только семитку. Извозчик махнул рукою и поехал дальше.

Это обеспокоило, было, Торичиоли. Что, если никто не польстится на его уговоры и откажется везти?

Но он почти сейчас же нашел себе утешение: лишь бы добраться ему до рогатки, а там можно будет объявить, кто он, и потребовать, чтобы его доставили в Ораниенбаум, к самому государю, к которому он имеет важное дело. И ободренный этим Торичиоли купил еще по дороге сайку на свою семитку и с удовольствием стал жевать ее.

Оказалось только, что дороги он вовсе знал не так хорошо, как думал. Он запутался в каких-то огородах и долго блуждал между ними, пока не встретил какого-то мужика, который подозрительно оглядел его, но, как пройти к рогатке, все-таки объяснил.

Наконец только после порядочных усилий Торичиоли вышел, куда ему нужно было.

У рогатки стояли солдаты, загораживая путь. Ружья их были составлены, но сами они держались наготове. Два офицера в полной форме прохаживались в стороне.

На проспекте, который начинался тут, заметно было непривычное движение.

Торичиоли сейчас же сообразил, что это значит. Видимо, против заговора принимались спешные и энергичные меры, были отданы строгие распоряжения в течение ночи; но Торичиоли думал, что для него они не опасны.

Он решил подойти прямо к офицеру и, показав, что ему известно дело, убедить его в своей близости к тем сферам, о принадлежности к которым нельзя было судить по его костюму.

— Вы меня извините,— начал он, приближаясь,— вероятно, вы здесь по делу о заговоре?

Офицер осмотрел его с ног до головы и, нахмурив брови, спросил:

— А вам какой в том интерес, государь мой?

— А я именно по поводу этого дела могу доставить императору важные сведения...

— Императору? — переспросил офицер.

— Да, самому его величеству и прошу вас дать мне возможность немедленно отправиться в Ораниенбаум, если император там еще...

— Императора больше нет,— вдруг проговорил офицер,— а есть-с императрица Екатерина Алексеевна.

И не успел Торичиоли опомниться, как офицер крикнул: «Сидоренко, убери-ка мне этого молодчика!» — и дюжий унтер, которого, очевидно, звали Сидоренкой,

захватил итальянца, протащил до караулки и, втолкнув его там в темный чулан, засунул дверь на засов и подпер ее колышком.

В эти сутки Торичиоли очутился третий раз под запором.

XVIII

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ИЮНЯ

Положение было ужасно, когда измученные лошади кареты, в которой ехала Екатерина Великая, остановились среди дороги. Оставалось всего пять верст до Петербурга, только пять верст, но теперь они делались неизмеримым уже пространством.

Орлов и Артемий осмотрели лошадей. Надежды не было, что они оправятся. Это было видно и понятно без слов, и Артемий с Орловым ничего не сказали друг другу. Они только взглянули, как-то сразу, так что глаза их встретились, и этот молчаливый взгляд казался красноречивее всяких слов.

Ехать дальше не было возможности, оставаться тоже было нельзя.

Артемий боялся прямо заглянуть в карету, где сидела государыня, но он только мельком, углом глаза посмотрел на нее.

Она сидела строгая и прямая и, казалось, не обращала внимания на их остановку, словно ей не было до этого никакого дела, словно она чувствовала, что время действовать ей еще не наступило, что скоро наступит оно, и тогда она покажет себя, а теперь она доверилась им; они взялись довезти ее до города и должны это сделать, как? — ей было решительно все равно, но она верила в них и верила, что они сделают свое дело.

Эта величавая уверенность и спокойствие могли дать силы кому угодно, не только таким людям, каковы были Орлов и Артемий.

— Нужно дать лошадям вздохнуть,— заявил Орлов, сознавая, что это было все равно ни к чему, но нельзя было не сказать этого,— или подождать, не проедет ли кто, и тогда взять лошадей за деньги или силой.

— Посмотри! — вдруг показал Артемий вперед по дороге.— Видишь?

По дороге прямо на них скакал всадник. Это был офицер. Орлов весь обратился в зрение, стараясь узнать, кто это.

— Может быть, это — посланный оттуда,— проговорил опять Артемий,— может быть, в течение ночи уж все стало известно и с Ораниенбаумом завели сообщение. Это — гонец.

Орлов продолжал смотреть.

— Тем лучше,— ответил он,— мы возьмем гонца и узнаем, что он везет... Да нет же, это — Бибиков!— вдруг радостно добавил он, узнав скакавшего офицера.

Бибиков приблизился уже настолько, что его лицо было видно. Завидев на дороге карету, он пустил лошадь быстрее. Орлов махнул ему вверх три раза шляпой. Бибиков на ходу ответил тем же.

— Слава Богу, все благополучно пока!— успокоительно произнес Орлов.

Бибиков на полных рысях подъехал прямо к дверце кареты. Екатерина глянула на него своими прекрасными, строгими глазами, в которых виднелся вопрос — друг ли явился к ней теперь или враг?

— Приехал доложить вашему величеству,— проговорил молодцевато, но все же с трудом переводя дыхание от быстрой езды, Бибиков,— что вслед за мною навстречу вам едет другой экипаж, со свежими лошадьми.

Артемий перекрестился.

Почти сейчас же показалась на дороге карета, о которой говорил Бибиков. Когда она подъехала, в ней оказались старший Орлов, Алексей, и Барятинский.

Екатерина пересела в новый экипаж, и бодрые, свежие лошади быстро помчали ее в столицу.

В Петербурге она направилась прямо к казармам Измайловского полка.

Барабанщик пробил тревогу. Выбежали солдаты к своей государыне, и их радостному восторгу не было выражений, не было предела — они целовали руки, ноги императрицы и ее платье.

Двое из них вели уже под руки священника для присяги. И Измайловский полк первый присягнул императрице Екатерине II.

Потом в предшествии священника в полном облачении с крестом Екатерина отправилась в Семеновский полк. Он вышел навстречу с криками «ура!».

Сопровождаемая измайловцами и семеновцами государыня отправилась в Казанский собор. Здесь ждал ее архиепископ Дмитрий. Тотчас же начался молебен, на ектиниях которого провозглашали самодержавную

императрицу Екатерину Алексеевну и наследника Павла Петровича.

Между тем явились преображенцы и конная гвардия.

— Виноваты, что позже пришли,— кричали они,— не пускали нас!

А в новоотстроенном Зимнем дворце собрались уже синод и сенат. Действительно все уже было готово к провозглашению самодержавия Екатерины!

В Зимнем дворце, куда направилась она из собора, были составлены манифест и присяга. Войска окружили дворец, и семеновцы заняли караулы.

Канцлер Воронцов явился, было, с упреком к Екатерине— зачем она оставила Петергоф, но его повели в церковь для присяги.

Потом приехали из Петергофа Трубецкой и Шувалов. Они хотели увериться в расположении войск и, если нужно, начать расправу, но и их повели присягать без дальних разговоров.

Вечером Екатерина, во главе гвардии, сама выступила к Петергофу. Она ехала с Дашковой, верхом, в преображенском мундире старого образца и с дубовыми ветвями на шляпе.

Ночью во время пути повстречался гонец из Ораниенбаума. Петр III, окруженный полутора тысячью голштинцев в своем Ораниенбауме, прислал отречение от престола, который передавал Екатерине.

Артемий, хотя не имел службы собственно в строю, но участвовал в этом походе.

В числе прочих офицеров он увидел тут и Карла Эйзенбаха, который ехал, окруженный молодыми сослуживцами, не бывшими заблаговременно в заговоре и примкнувшими к нему по внезапному влечению, которым были охвачены все, и громко, нарочно громко рассказывал им подробности всего дела и называл имена участников.

Артемий, слышавший это издали, видел, что никаких подробностей молодой Эйзенбах не знает и говорит, видимо, по догадкам, но вместе с тем имена участников он называл совершенно верно.

Артемий не мог понять, откуда Карл мог получить эти сведения. Он не мог понять, потому что не знал, что список, перехваченный Торичиоли, попал к Эйзенбаху, и что произошло потом.

Придя случайно к Торичиоли и увидев на его столе пакет на свое имя, Карл распечатал, увидел, в чем дело, и,

захватив бумаги, бросился домой. Однако сведения были для него слишком ценны, чтобы делиться ими с кем-нибудь. Он решил лично отправиться к государю, доступ к которому можно было найти через кого-нибудь из голштинцев.

Ехать сейчас было поздно, и Эйзенбах положил подождать до утра. Но, чтобы кто-нибудь раньше его не сделал предупреждения, он написал безымянный донос к коменданту и отрезал фестоном угол у своей бумаги с тем, чтобы, когда дело вскроется, прийти с отрезанным углом и доказать таким образом, что и эти сведения даны им.

Однако на другое утро оказалось уже поздно. Екатерина была провозглашена императрицей, и Карл, видя, что партия Петра III слишком малочисленна и дело его окончательно проиграно, один из первых закричал у Казанского собора «ура!» самодержавной императрице Екатерине.

Он, разумеется, принял тоже участие в петергофском походе и здесь извлекал из имевшихся у него сведений всю ту пользу, которую мог извлечь, то есть делал вид, что был одним из деятельных пособников государыни, в доказательство чего может назвать всех своих остальных товарищей по именам. Он делал собственную карьеру и касался политики лишь настолько, насколько могла она касаться его.

XIX
РОЗЫ

Утром двадцать девятого июня Екатерина, получив отречение Петра III, вернулась в Петербург уже неоспоримой распорядительницей судеб обширной России.

Артемий, не спавший две ночи подряд, едва добрался до дома после похода, упал на постель и заснул крепким, непробудным сном.

Теперь он мог спать спокойно. Задуманное ими «действо» совершилось — Россия была спасена от добровольного иностранного ига.

Целый день проспал Артемий не просыпаясь, но вечером его разбудили страшный шум и гам на улице.

«Что это? — вскочив и ничего не понимая, подумал Артемий.— Уж не пожар ли?»

Он прислушался, не слыхать ли набата, но колокола нигде не было слышно. А на улице гудел неумолчный гам, и стон стоял от криков и возгласов.

«Боже мой!.. Что случилось?» — забеспокоился Арте-

мий. Времена были беспокойные, и хотя все казалось хорошо, но трудно было еще ручаться за следующую минуту.

Ни денщика своего, ни квартирной хозяйки, ни конюха он не мог дозваться, все они исчезли куда-то.

Артемий вскочил и, быстро одевшись, вышел на улицу.

Причиною шума оказалась толпа, собравшаяся у погребка, где шло пиршество: солдаты и солдатки в неистовом восторге носили ушатами вино, водку, пиво и мед, лили все вместе без разбора в кадки и бочонки, что у кого случилось.

«Ишь их, радуются!» — успокаиваясь подумал Артемий и, не пытаясь остановить веселье, прошел мимо, крикнув солдатам:

— Живете, братцы!

— Рады стараться! — прокричали солдаты.

Артемий пошел дальше и везде увидел повторение все тех же сцен: везде были веселье и радость. Сначала это нравилось ему, но, чем более подвигался он, тем более буйный характер принимало это веселье. Народ опьянел и стал уже разносить кабаки и трактиры.

Показались конные разъезды, но они ничего не могли поделать. Буйство разыгрывалось. Стекла звенели, рев диких песен, хохота, ругани и радостных возгласов стоял в воздухе.

Произведенный в этот день разгром оказался столь великим, что впоследствии, в продолжение нескольких месяцев, купцы били челом «о возвращении им за растащенные, при благополучном восшествии ее императорского величества на императорский престол, напитки и вина проторей и убытков».

Впоследствии можно было вернуть эти протори и убытки, когда оказалось, что, кроме них, ничего не случилось более тревожного,— в самый же день буйства трудно было сказать, чем оно могло кончиться.

Артемию, когда он шел по улице, пришлось уже несколько раз сторониться к стенке от пьяных, и пьяные, расходившиеся солдаты не узнавали в нем офицера. Артемий шел собственно без определенной цели; беспокоиться ему было не о чем: ни дома, ни добра, которое могли бы растащить, у него не было; но он хотел пробраться ко дворцу, чтобы посмотреть, что делается там.

На одном из перекрестков он увидел карету. Она не могла пробраться сквозь сгустившуюся в этом месте толпу.

Артемий поглядел, кто сидит в ней, чтобы помочь, если это была женщина, и, заглянув, узнал Сен-Жермена.

Ни особенной радости, ни волнения не было заметно на лице графа — он оставался по-прежнему таким же невозмутимым, каким видал его Артемий в Кенигсберге и каким видел его вчера, третьего дня ночью, когда они уезжали в Петергоф.

— Это — вы, сержант? — узнал его граф.— Ну, что, можно поздравить вас?

— Да,— проговорил Артемий,— но эта толпа... Что они делают — это ужас...

Граф улыбнулся своею особенною улыбкой.

— Эта толпа! — повторил он.— А что же вы бездействуете?.. Если эта толпа разойдется совсем, то после кабаков начнет разносить барские хоромы.

У Артемия не было барских хором и защищать ему было некого и нечего.

— А Ольга? — вдруг проговорил Сен-Жермен.— Идите к ней!.. Может быть, она нуждается в эту минуту в помощи... неужели вы хотите, чтобы другой кто-нибудь помог ей?

Словно варом обдало Артемия. Ольга!.. Он забыл о ней в эту минуту, он, в чьих мыслях жила она столько лет неотлучно, и забыл именно тогда, когда нужнее всего было вспомнить о ней.

И ему живо представилось, в каком она теперь, может быть, положении. Полупьяная дворня разбежалась, старый князь, вероятно, во дворце, никого нет возле Ольги; она одна, одна! Бог знает, что выйдет из этого пьянства, и если действительно оно примет размеры полного уже беспорядка. Да, граф прав, как всегда, прав — нужно идти к ней!

— Ну, вот видите! — подтвердил Сен-Жермен и, высунувшись из окна, потому что кучер, пользуясь удобной минутой для свободного проезда, тронул лошадей, добавил, кивнув Артемию: — До свидания! Если захотите видеть меня, то найдете в большом дворце.

Но Артемий уже машинально воспринял его слова, машинально ответил на его поклон поклоном; теперь у него была цель, куда идти, и он весь отдался этой цели.

Решение, как поступить, у него составилось быстро. Прямо, с парадного крыльца, он не пойдет к Проскуровым — во-первых, потому, что это будет похоже на довольно странный визит, а во-вторых — просто потому, что двери парадного крыльца могут быть заперты. Нет, нужно зайти с другой стороны дома, к той решетке сада, где он уже видел Ольгу, и там, в саду, ждать, если будет нужна его помощь, если же — нет, то никто не узнает о том, был он или нет.

Артемий ускорил шаг и, не чувствуя ног под собою, шел быстро вперед, чуть ли не обгоняя экипажи, которые постоянно задерживались толпою.

Он вздохнул свободнее и легче, когда повернул в пустынный проезд, на который выходили заборы садов.

Здесь не было кабаков, не было трактиров и не было толпы, пьяный гул которой доносился теперь лишь издалека. Артемий уходил от этого гула, оставляя его за собою и приближаясь к знакомой уже решетке проскуровского сада.

Вот наконец и эта решетка. Она стоит так же безмолвно, как стояла и третьего дня, и густые ветки опустились над нею так же.

День был красный, жаркий, и вечер сменил его удивительный, тихий. На небе не было ни облачка, в воздухе ни малейшего движения. И тишина эта, вдали того гама, из которого только что вышел Артемий, еще более оттененная этим гамом, казалась полна чарующей, волшебной прелести.

Артемий огляделся. Хорошо было тут. Пустынный проезд терялся в отдалении. Ни души не было видно тут.

Артемий перескочил канаву и легко, словно его подбросил кто, перебрался через решетку.

Он очутился в саду — в «ее» саду, где «она» гуляла, ходила каждый день, где каждый шаг должен был напоминать о ней.

И он действительно напоминал — такая святая тишина и прелесть, именно прелесть царила кругом!.. Но куда было идти?

Артемий пошел наугад. Нерасчищенная, заросшая травою аллея вела в глубь сада. Артемий выбрал ее.

В конце аллеи оказался розовый цветник; одуряющий, сладкий запах розанов так и обдал Артемия, так и напомнил ему такой же цветник и такие же розы в далеком Проскурове, в далеком и милом Проскурове, где он провел такие счастливые годы.

Вернется ли это счастье вновь?

«Да, вернется»,— словно сказал какой-то голос в сердце Артемия, и он смелее вошел в цветник.

Там на скамейке сидела Ольга.

Она сидела, точно ни о чем не думая, далекая от всех волнений, ото всего, что происходило там, в городе, далекая, как далек казался и этот тихий сад от уличного шума и беспорядка.

Она не испугалась и не вздрогнула при появлении Артемия. Ее глаза остановились на нем, но остановились

бессмысленно, без всякого выражения; в ней, казалось, происходило внутри что-то страшное, но тихое; она точно прислушивалась сама к себе, искала чего-то в себе и не могла найти. Такой взгляд бывает у помешанных.

Но Артемий, глянув ей в глаза, мог заметить только одно — что в них все еще не было того выражения любви, которого он искал. О том, что в них не было никакого выражения, он вовсе и не думал.

— Ольга Андреевна... Оля! — вдруг проговорил он.— Неужели все кончено, все забыто... неужели...— он приблизился к ней.— Боже мой, неужели бесследно прошли те счастливые часы, которыми мы жили в Проскурове? Неужели забыла ты, что моя жизнь в тебе одной, в одной тебе, моя прелесть, моя радость!

Колено его согнулось само собою, и он опустился на него, глядя Ольге прямо в глаза; голос его был нежен, тих; казалось, он не говорил, а дышал только, и это его дыхание была она, Ольга, потому что в ней заключалась вся жизнь его.

Розы струили свой чудный одуряющий аромат, и вдруг, как нарочно, словно он ждал этой минуты, где-то недалеко, вблизи, запел соловей.

Ольга вытянула шею прислушиваясь. Эти розы, этот влюбленный шепот, эта песнь соловья напоминали ей что-то, и это «что-то» было именно то, что она мучительно никак не могла вспомнить, все время не могла и не могла понять, что это и когда это было с нею — здесь ли, в этом ли мире, или когда она еще не родилась и жила, наверно, в ином — более счастливом — мире. Теперь, сегодня это близкое ей, но не разгаданное воспоминание так и жгло ее.

Она внимательно и долго глядела Артемию прямо в глаза, слушая и не отстраняя его, и вдруг... вспомнила ли она или новое чувство охватило ее, но она, всплеснув руками и крикнув, упала на грудь Артемию. Она была спасена — она любила вновь.

XX

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Все участники «действа» 28-го июня получили щедрые награды: Григорий Орлов стал первым лицом. Чины, ордена, деньги и пенсии так и сыпались в первые дни екатерининского царствования.

Государыня награждала всех, со всеми была ласкова. За стариком Бестужевым был уже послан гонец для возвращения его из ссылки. Непосредственные пособники переворота, молодые и старые гвардейцы, получали придворные звания, ленты и звезды.

Один Артемий не знал еще, какая участь ожидает его. Он не шел ни во дворец, ни к своему приятелю Орлову, потому что жил теперь от вечера до вечера — от одного свидания с Ольгой до другого.

Да, они теперь виделись каждый день, счастливые снова, снова любящие и радостные, виделись украдкой в саду, но это не мешало прелести их свиданий.

И эти свидания были для Артемия жизнь, а все, что было вне их и между ними, казалось сном, прозябанием каким-то; он не мог еще прийти в себя, не мог опомниться от своего счастья.

Однако ему готовилось мучительное отрезвление.

Придя, как обыкновенно, на свидание с Ольгой, счастливый и радостный Артемий застал ее в слезах, и, плача, она принялась рассказывать ему, что сегодня прислали за ее отцом во дворец, что его приняла там сама государыня, что она была милостива, обласкала его и вызвалась сама посватать его дочь. Старый князь был в восторге от приема и лишь просил императрицу назвать угодного ей жениха. И императрица назвала маркиза Каулуччи.

Это была старинная итальянская фамилия, но при русском дворе ее слышали еще в первый раз; никого тут не было, кто носил бы это имя. Кто этот маркиз Каулуччи, откуда он?.. Но старый князь не спрашивал заранее и, разумеется, дал свое согласие.

Как сумасшедший вернулся Артемий домой, не помня, как он добрался туда, не помня и не понимая ничего.

Неужели муки его еще не кончились, неужели он не заслужил еще своего счастья и неужели это счастье отнимется вновь от него и тогда, когда оно было снова так близко и возможно?

Мысли Артемия путались, он не мог уже сообразить ничего, он был словно помешанный.

Нужно было пойти к кому-нибудь, нужно было, чтобы другой кто-нибудь помог разобраться, научил, что делать; сам Артемий не мог думать.

Во всяком случае, он решил, что не отдаст Ольги никому; кто бы ни был этот неизвестно откуда взявшийся

маркиз, но он увезет ее силой, потихоньку обвенчается с ней — так решили они уже.

Но нужно действовать скорее, нужно действовать, а сил нет; нужно, чтобы помог кто-нибудь.

Орлов? Конечно, он поможет, но теперь у него все время занято — он что-то делает там, у них там дела какие-то, государственные... перевороты...

«И как они могут заниматься всем этим,— в отчаянии думал Артемий,— когда м ы погибаем?»

Сен-Жермен? Да, он, конечно, должен помочь, он может все сделать, если захочет.

И вдруг, вспомнив о Сен-Жермене, Артемий вскочил, точно его коснулись каленым железом. Его поразила вдруг явившаяся у него мысль:

«А что, если этот неизвестный до сих пор маркиз Каулуччи — не кто иной, как сам граф?»

Остановившись на этой мысли, соображение Артемия стало работать в ее направлении.

Прежде всего Ольга была такою прелестью, что всякий должен был видеть это и не мог не полюбить ее; следовательно, и граф, видевший ее, должен был полюбить. А он не только видел ее, но и бывал у князя. Артемий помнил, как он собственными глазами смотрел, как Сен-Жермен выходил из кареты у дома князя Проскурова.

Потом, что значили эти слова графа о том, что о н почему-то виноват, что Ольга забыла Артемия? Мало того, он послал в день опасности бунта Артемия к Ольге — ясно, потому что ему самому было необходимо быть во дворце, а между тем он беспокоился о ней и послал верного человека.

Потом он просил государыню, как единственную награду за свое участие в деле,— устроить его свадьбу с княжною Проскуровой. Некому и быть другому! Нет сомнения, что он назвался теперь маркизом Каулуччи: он постоянно меняет имена, и, вероятно, устроил как-нибудь, чтобы получить эту фамилию. Все это ясно.

Но неужели граф, этот безупречный до сик пор человек, способен на все это?

А почему нет? Как узнать людей, как влезть в их душу? Наконец, чего не сделает любовь? Ведь любил же он когда-то, значит, мог вновь полюбить.

«О, если так,— решил Артемий,— то сейчас же пойду к нему, узнаю истину и, если только он не сознается мне, убью его на месте! Все равно, другого выхода нет мне».

И весь разгоряченный, словно боявшийся, чтобы не остыл его гнев, Артемий выскочил на крыльцо, бросился на первого попавшегося извозчика и велел везти себя во дворец.

Теперь он вспомнил, где граф велел искать себя, когда понадобится он Артемию. А еще бы теперь не нужен был он ему!

Не помня себя, влетел Артемий в подъезд и крикнул, чтобы его сейчас же провели к графу. Его не поняли... Он вспомнил, что нужно спросить Одара (он готов был уже спросить маркиза Каулуччи), и потребовал Одара. Его повели по коридору.

— Не надо доклада,— крикнул он опять и, оттолкнув лакея от двери, вошел в комнату.

Комната, которую занимал теперь граф, была очень скромною. Тут же была постель, тут же было и бюро, у которого сидел Сен-Жермен.

— Что за тревога, что за шум? — спросил он, поднимаясь навстречу Артемию.— Что с вами? Вы на себя не похожи.

— Сейчас, сейчас вы узнаете, что со мной! — заговорил Проскуровский.— Маркиз... маркиз Каулуччи — вы, вы?

— О, не так сердито и, главное, не будем торопиться! — улыбнулся граф.

— Я вас спрашиваю только, вы ли — этот Каулуччи?.. Я-то знаю, что вы, но, скажите, да или нет?

— Это очень грозно, мой друг! — с новой улыбкой ответил граф.

— Да или нет, говорю вам!

Сен-Жермен, все продолжая улыбаться, со своим невозмутимым спокойствием смотрел на Артемия.

«Какое спокойствие! — бешено подумал тот.— Смотрит точно правый, а сам не говорит!.. Ну, так вот же... это — он... да, вот же?»

И, окончательно не владея собой, Артемий выхватил из кармана короткий финский нож, попавшийся ему под руку пред отъездом из дома, и, не успев опомниться, ударил в грудь графа. В глазах у него потемнело.

Только нанеся удар, он опомнился и сознал, что он сделал, но вместе с тем ощутил страшную физическую боль, с которою сжимали ему вооруженную руку.

Он открыл глаза. Граф, все так же спокойный, целый и невредимый, стоял пред ним и держал его руку. Нож

скользнул по надетой на графе под камзолом кольчуге и не принес никакого вреда.

— Вы хотели убить маркиза Каулуччи,— проговорил граф,— вы хотели убить себя.

Артемий стоял шатаясь.

«Как себя?» — подумал он.

— Да,— продолжал Сен-Жермен,— потому что сегодня утром вы получили имя маркиза Каулуччи.

И, отстранив руку Артемия, он не спеша подошел к бюро, достал оттуда синюю, сложенную вчетверо бумагу и подал ее Артемию.

Эта бумага была та самая, которую граф три года тому назад оставлял в Париже на заботу принцессы Иоганны.

Старый маркиз Каулуччи, умерший тогда в Париже, был отец Торичиоли. Но в бумаге имя Торичиоли не было упомянуто, там было сказано лишь, что маркиз Каулуччи усыновляет воспитанника русского князя Проскурова, Артемия, и передает ему после смерти все его состояние.

Отец Торичиоли получил свой титул и богатство после того, как его сын Джузеппе уехал в Россию, и они потеряли из вида друг друга.

Теперь завещание старика маркиза было признано и утверждено правительствами итальянским и русским.

* * *

В деле о «действе», происшедшем 28 июня в Петербурге, была также заведена переписка «об опасных и противных царствованию ее величества лицах», и в числе их был упомянут иностранец, итальянский подданный Торичиоли, пытавшийся в знаменательный день прорваться чрез петергофскую рогатку, для сообщения подозрительных сведений. На третий же день нового царствования он был выслан из России без права когда-нибудь въехать сюда.

Артемий, получив новый титул и богатство, женился на Ольге и счастливо прожил с нею в деревне, куда уехал немедленно после свадьбы. О своем отце он не узнал никогда, и кто был усыновивший его маркиз Каулуччи, для него осталось тайной.

Из всех участников события 28 июня только он и граф Сен-Жермен отказались от всяких почетных и вообще каких-нибудь наград. У Артемия в лице Ольги были самые

высшие награды, и большего, как жить с нею в тиши и вдали от всякого шума, он не желал.

Сен-Жермен же действовал не ради награды и был человеком, который не нуждался в ней. Он, очевидно, знал нечто такое, что было тоже больше всяких наград, и довольствовался своим знанием.

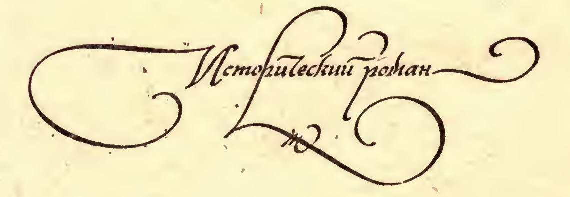
В иностранных источниках сохранилось свидетельство маркграфа д'Анспаха о том, что, когда он в 1772 году встретился вместе с Сен-Жерменом в Нюрнберге с князем Григорием Орловым, последний называл Сен-Жермена «mio caro padre» [1] и говорил маркграфу, что этот человек играл выдающуюся роль в деле 1762 года.

Конец

[1] Дорогим отцом *(ит.)*.



ЗАБЫТЫЕ ХОРОМЫ



I

МУНДИР

— Нет, положительно не годится,— проговорил молодой князь Чагин, рассматривая свой парадный сержантский мундир, который держал пред ним, вытянув руку, старый Захарыч.

— Да отчего ж не годится? — переспросил тот.— Мундир как мундир — в прошлом годе только сделали.

Мундир был сделан действительно в прошлом году, когда с возвращением государыни Екатерины II после коронации в Петербург, вследствие состоявшихся в гвардии повышений, многие были переведены туда из армии и в их числе князь Чагин. Но в этом мундире он отбыл все прошлогодние смотры и парады, и мундир потерял свой щегольский, безупречный вид «с иголочки».

Чагин еще раз внимательно оглядел швы, галун и пуговицы.

— Пуговицы можно почистить,— заметил Захарыч.

— Нет, все-таки не годится,— повторил Чагин,— только на дежурства надевать, а больше никуда. Ведь ты пойми: так он хорош?

— Хорош,— согласился Захарыч.

— Ну, а как я стану в нем рядом с другим, с новым — он никуда и не будет годиться... да еще на балу, где освещение полное!.. Куда ж надеть?.. нет ... нельзя.

Захарыч, казалось, убедился этим доводом и молча, с некоторым уже сомнением посмотрев на мундир, тряхнул его, после чего воскликнул:

— Да что вы там потеряли на этом балу-то, ваше сиятельство? Нешто не будет еще балов?.. Дайте срок,—

пришлют батюшка деньги, тогда новый мундир построите, и дело с концом.

И решив, что его рассуждение вполне основательно, Захарыч свернул старый, признанный негодным, мундир и стал укладывать его в большой комод, где хранился гардероб сержанта.

Чагин был переведен в гвардию из армии, как один из бравых, видных молодых людей и, главное, самых состоятельных среди своих армейских товарищей. Но содержание, которое ему высылал отец из деревни, более чем достаточное в провинции, оказалось весьма незначительным в столице, где велась и требовалась совсем другая жизнь. Однако старый князь не хотел увеличивать выдаваемую сыну сумму и объявил ему, что до производства в офицерский чин пусть он оборачивается этими деньгами, а когда будет произведен, тогда, мол, пойдет другой разговор.

Между тем дальнейшего производства трудно было ожидать в скором времени. По спискам Чагин, как один из младших, стоял далеко, и очередь до него должна была дойти еще не скоро. На отличие надеяться тоже было нельзя, потому что время отличий и внезапных быстрых повышений только что миновало. К тому же такое время выдается не часто, и именно потому, что оно выдалось так недавно, ясно было, что теперь более, чем когда-нибудь, наступит застой. Государыня успела уже выказать себя мудрой правительницей, считавшей необходимым обеспечение мира для устройства внутренних дел, и войны по-видимому еще долго не должно было быть.

Два года тому назад, в июне месяце, произошли те счастливые, из ряда вон выходящие, обстоятельства, когда выделялось столько гвардейцев: государыня Екатерина II взошла на престол; многие получили при этом повышения и отличия, и теперь все места были заняты недавно произведенными новыми людьми, еще довольными своим положением и не мечтающими пока о высшем. Значит, движения не предвиделось. Молодой Чагин опоздал с своим переводом в гвардию. Будь то два года тому назад, он получил бы уже офицерский чин.

А сколько надежд, сколько мечтаний было связано для Чагина с этим чином! Тут не обещание отца, не деньги стояли на первом месте. Дело шло о гораздо более существенном, милом, дорогом и заветном.

До сих пор все улыбалось в жизни Чагина, и главным образом потому, что то, что составляло для него теперь высшую радость счастья, весь, как он думал, смысл жизни, было у него. Те мелкие неприятности, которые приходилось переносить, когда не хватало денег, были чувствительны, только пока не проходили, и миновав, становились незаметными. Они легко забывались; и деньги все-таки были, хотя и не в той мере, как надобно, но были и позволяли жить беззаботно.

И Чагин торопился жить — торопился потому, что счастливые дни, которые он переживал, несомненно служили началом еще более счастливого времени, когда он наконец будет произведен в офицеры и начнет настоящую жизнь.

Эта настоящая жизнь заключалась в женитьбе на давно любимой, с детства знакомой и близкой Соне Арсеньевой. Они детьми играли вместе в Москве, где проводили зиму, и впоследствии дороги их разошлись.

Теперь Соня была уже девушка девятнадцати лет, воображавшая, что она — совсем невеста. В прошлом году вместе с двором привезла ее в Петербург тетка, важная барыня, у которой не было детей и которая, полюбив хорошенькую племянницу, стала заниматься ею и вывозить в свет.

Став светскою барышнею, Соня встретила Чагина, и он, сначала боявшийся за свое счастье, скоро увидел, что бояться ему нечего, что они по-прежнему любили, знали и понимали друг друга. Но «сержанту» неловко было делать предложение, приходилось ждать и торопиться как можно скорее прожить эти годы влюбленности, молодости и ожидания.

Чагин не мог еще узнать по опыту, что именно эти годы, которые, как ему хотелось, должны были бы протечь возможно скорее, в сущности представляли собою самые счастливые, невозвратные годы человеческой жизни. Ему почему-то казалось, что с наступлением страстно ожидаемой настоящей жизни не только заботы не увеличатся, но их вовсе не будет, и начнется бесконечный период непрерывного счастья. Тогда уже никаких задержек ни в чем не окажется: ни в поношенном мундире, ни в деньгах, словом — ни в чем, ни в чем.

«А все-таки мундир не годится,— мысленно уже с отчаянием повторял Чагин, зашагав по комнате и косясь на возившегося у комода Захарыча.— Легко ему говорить,— продолжал он думать,— не ехать... Да разве можно не

ехать, разве это мыслимо? Но ведь т а к не поедешь, а другого мундира нет, да и достать денег на него неоткуда!»

И вдруг Чагину стало чрезвычайно жаль себя. В самом деле положение было почти безвыходно: казалось, лучше умереть, чем не ехать на бал, и вместе с тем было тоже лучше умереть, чем ехать, потому что приходилось надевать мундир, который никак нельзя было надеть.

В первую минуту жалости к себе Чагину захотелось «все» рассказать Захарычу — и почему он непременно должен ехать на бал, и почему ему так тяжело не сделать этого, и главное, чтобы не подумал Захарыч, что ему хочется просто потанцевать, как какому-нибудь молокососу.

Но этот прилив жалости сейчас же пропал, и его сменила бешеная злоба и на себя, и на других.

«И с чего выдумали в сентябре балы назначать! — злобно стиснув зубы, продолжал опять Чагин свои размышления: — подождать не могли!.. нужно очень... И как это все у меня было хорошо рассчитано!»

У него действительно все «очень хорошо было рассчитано», то есть ему казалось это так, потому что он решил заказать себе новый мундир с первою же получкою денег от отца, вполне уверенный, что поспеет к началу сезона. Однако оказалось, что петербургское общество, со смерти императрицы Елизаветы не веселившееся, торопилось пользоваться временем, следуя примеру вдруг ставшего блестящим двора молодой красавицы-государыни. Первый заметный бал был назначен уже в сентябре. На этом балу (Чагин знал это) будет Арсеньева, значит, во что бы то ни стало и ему нужно было быть там.

И вот, не находя выхода из своего «отчаянного» положения, Чагин схватил трость, шляпу и, накинув плащ, вышел на улицу.

У крыльца его ждал его постоянный извозчик, которому он был уже порядочно должен, вследствие чего считал своею обязанностью ездить с ним каждый день и больше, чем это ему было нужно.

— Пошел к Лыскову! — приказал он извозчику, усаживаясь на его почему-то считавшийся удобным в то время колибер [1].

[1] Род извозчичьего экипажа.— *Здесь и далее примеч. автора.*

II

ЛЫСКОВ

Лысков, подпоручик того же полка, в котором служил теперь Чагин, был по отношению юноши, переведенного из армии, чем-то вроде покровителя, друга и приятеля.

Чагин сошелся с ним более, чем с другими, именно потому, что их характеры оказались совершенно различны. Живой от природы, впечатлительный, вспыльчивый и благодаря своей молодости легко увлекающийся, Чагин очень скоро привязался к старшему его годами, невозмутимо спокойному Лыскову, и между ними установилась та неравная, но именно вследствие своей неравности твердая дружба, при которой один позволяет питать к себе преданность, а другой — ищет предмета для выражения этой преданности. Лысков стал для Чагина чем-то высшим, образцом для подражания, и тот, в свою очередь, чувствуя симпатию к молодому, доброму, порядочному малому, опекал его, где нужно, и руководил по возможности в новой для Чагина гвардейской столичной жизни.

Лысков лежал у себя на кровати, закинув за голову руки, без камзола, в одной рубашке и мрачно-сосредоточенно смотрел в потолок, когда явился к нему Чагин.

Тот, уже отлично знавший привычки и обычаи своего друга, сейчас же понял, что это значило.

При его входе Лысков нахмурился, но Чагин и это знал, и знал, что в сущности его друг и ментор очень доволен его приходу. Только нужно было оставить его в покое, и он сам заговорит.

И Чагин, молча поздоровавшись, как давно привычный человек, положил шляпу и трость, достал в углу трубку, закурил ее в печке и сел у окна, поджав ногу. Положение его усложнялось. Лысков видимо находился сам в крайне неприятных обстоятельствах, при которых трудно было ждать от него помощи.

«Скверно, скверно! — повторял себе Чагин, пуская большие клубы дыма. — И чего я пришел сюда?»

Но уйти ему не хотелось, потому что во всяком другом месте ему было бы еще хуже.

Лысков в это время скинул ноги с кровати, прошел тоже к углу с трубками, закурил и стал ходить по комнате.

— Это ни на что не похоже! — вдруг обернулся он к Чагину.

— А что? опять проиграл? — спросил тот.

— Нет, ты представь себе — этакое счастье... ни одного удара... то есть ни одного хорошего удара... Как назло словно — маленькую даст, большую бьет, маленькую даст, большую бьет... И так весь вечер!..

— Где ж это был? у Дрезденши?

— Нет, этак не везти, я тебя спрашиваю! — вскинув плечами, снова подхватил Лысков, не обращая внимания на вопрос.— Этого со мной никогда не бывало, и, как нарочно, совсем незнакомый...

Чагин поднял брови.

— Кто ж такой?

— Поляк какой-то — Демановский, Депановский, что-то в этом роде.

— Невысокого роста, черноглазый? Это — Демпоновский, я его видел у Дрезденши. Он, говорят, в свите Ржевутского приехал.

— Какого Ржевутского?

— Нового посла польского, которого Понятовский прислал,— пояснил Чагин.— Теперь поляки в моде, их всюду зовут... И у Трубецкого на балу они будут...

О приезде Ржевутского Лысков, разумеется, слышал, но забыл о нем — его теперь не интересовали ни бал Трубецкого, ни польское посольство.

— Говорят, много народа будет,— продолжал Чагин, думавший все еще о своем.— И что за охота в сентябре балы назначать!

Лысков снова не ответил; он продолжал мрачно ходить, усиленно затягиваясь, причем переменил уже вторую трубку.

— Нужно денег доставать,— опять вдруг проговорил он.— А где их достанешь?

Чагин понял, что положение приятеля еще более скверно, чем его собственное. Он не ожидал, что в довершение неудовольствия проигрыша у Лыскова не оказалось достаточно денег для расплаты.

— Так ты еще должен остался? — с нескрываемым беспокойством спросил он.

— И прескверно должен. У меня не хватило двухсот рублей, а в кармане было шестьдесят три — пятьдесят раньше спустил... И какую рожу этот поляк скорчил, когда я ему сказал «до завтра»!.. брр...— и Лысков, словно от обдавшего его холода, дрогнул плечами при этом воспоминании.

Чагин не спрашивая понял, что деньги выигравшему сегодня посланы не были и достать их Лысков не мог.

— Скверная история! — процедил он.

— Еще бы не скверная! В таких случаях обыкновенно ничего уж не отвечают,— ведь не украду ж я его денег? А он мне начал читать наставление, что, дескать, пожалуйста, не задержите, потому что я скоро должен обратно ехать в Варшаву... Точно боится, что не отдам... Ужас, что такое!

— Нужно сделать что-нибудь,— согласился Чагин.— Конечно, так нельзя оставлять... Вот и мне деньги нужны...

Лысков обернулся на него.

— А тебе на что?

— Новый мундир к балу. В старом нельзя, потому что, если рядом со мной другой станет, то заметно будет,— поспешил Чагин привести довод, убедивший Захарыча.

— Пустяки! — махнул рукой Лысков с видом человека, ожидавшего сначала действительно чего-нибудь серьезного, но вполне разубедившегося в этом.

— Как пустяки? Все-таки мне **необходимо** быть у Трубецких.

— Ну, призови портного, закажи ему, ничего не говоря, новый мундир, а когда он принесет его,— назначь срок уплаты, когда ждешь получки... Портной тебе за это припишет к счету и останется очень доволен.

«В самом деле, как это просто! — подумал радостно Чагин.— Да, да, конечно, это очень просто!»

— И ты думаешь, что так можно сделать? — спросил он.

До сих пор в армии и здесь, в прошлом году, он должал лишь по мелочам, из которых однако составлялись суммы, но большие расходы делал на наличные.

Лысков, несмотря на свое расположение духа, не мог удержать улыбку от наивного вопроса Чагина. И усмехнувшись в усы, он еще раз махнул рукой на него и медленнее заходил по комнате.

Невольная искренняя радость, осветившая теперь лицо Чагина, старавшегося однако остаться серьезным, особенно успокоительно подействовала на Лыскова.

Пройдясь еще раза два по комнате, он внезапно пришел в свое обыкновенное состояние ленивого покоя и опустился на кровать, опять закинув руки за голову, но только теперь во взгляде его не было ничего мрачного.

— Так ты думаешь, устроится? — почти уже весело спросил Чагин, не столько про свое, сколько про дело приятеля.

Он знал, что при каждой неприятности Лысков обыкновенно сначала ложился на постель очень мрачный, но затем мало-помалу словно махал рукою на все, решив, что оно устроится само собою, и отлеживался до тех пор, пока действительно все выходило так, как ему этого хотелось. И обычно всегда все устраивалось.

— Устроится! — протянул Лысков и, вскинув ноги, поправил ими сбившийся край одеяла.

И, как ни в чем не бывало, они заговорили о предполагавшемся смотре.

III

БАЛ

Оказалось, что, к удивлению Чагина, портной не сделал никакого затруднения относительно мундира. Он принес его в срок, и молодой человек, в назначенный день, разодетый, надушенный и распудренный, явился у Трубецких на балу в числе бесконечной щеголеватой толпы гостей, тесно наполнявшей анфиладу парадных освещенных комнат.

В зале играла музыка не прерываясь, и один танец сменялся другим.

Чагину казалось, что все веселится, все радуется вокруг него, потому что самому ему было весело и радостно на душе.

Несмотря на то, что он по своему маленькому чину и скромному положению в обществе не мог выделяться вперед, ему все-таки казалось, что на первом месте был не кто другой, как он, потому что та, которая была лучше всех — для него по крайней мере никто не мог равняться с нею, — танцевала с ним, улыбалась ему и рада была его близости. Никто, казалось, не попадал так ловко, согласно в такт музыки, как они, и ни ему, ни ей ни с кем не было так весело танцевать, как друг с другом.

Чагин, без устали плясавший все время, вышел освежиться из зала, когда наконец наступил антракт. Беспрестанно давая дорогу другим, пятясь от длинных шлейфов дамских роб и оглядываясь, чтобы не толкнуть кого-нибудь, он старался выбраться из этой тол-

пы, чтобы вздохнуть, оправиться и снова идти искать свою Соню.

Чем дальше он подвигался от зала по ряду роскошно убранных комнат, тем реже становилась толпа в них и тем свободнее дышалось, хотя и здесь жара и духота стояли нестерпимые от горевших в люстрах и бра свечей и от массы толпившегося надушенного и напомаженного народа.

Наконец Чагин мало-помалу выбрался к небольшой проходной диванной, расположенной пред кабинетом хозяина, где мужчины играли в карты. Диванная казалась пустой. Здесь воздух был свежее.

Чагин подошел к двери, стараясь незаметно для других провести платком по разгоряченному мокрому лбу. Отняв платок от глаз, он увидел в глубине диванной знакомую широкую спину Лыскова, разговаривавшего с приземистым, коренастым господином в маскарадно-красивом костюме польского офицера.

Поляк был пан Демпоновский. Чагин узнал его, удивился, зачем приехал сюда Лысков, вообще не любивший балов и почти никогда на них не бывавший, и вспомнил, что с Лысковым и с этим поляком соединено было что-то неприятное, неловкое, совсем идущее вразрез с теперешним его счастливо-радостным настроением. Ему было так хорошо, так весело теперь, он чувствовал себя любимым и сам так любил, что ему хотелось верить, что везде и всюду одна лишь любовь кругом и нигде нет никаких недоразумений и неприятностей.

И, несмотря на то, что, инстинктивно боясь расстроить свое внутреннее состояние радости и довольства, Чагин, по безотчетному эгоизму счастливого человека, хотел пройти мимо, он все-таки остановился, чтобы узнать, чем кончится объяснение.

«И зачем он приехал сюда? Нарываться на неприятности?» — подумал он про Лыскова, с которым еще вчера в сотый раз подробно разбирал все источники, откуда можно было достать деньги, причем они должны были прийти к грустному заключению, что достать их нельзя — он наверное знал, что у Лыскова теперь не могло быть никоим образом двухсот рублей.

— Я вас просил,— говорил между тем пан Демпоновский, сильно жестикулируя и коверкая на русский лад польский язык,— на другой день достать пенендзы затем, что я поспешаю до вояжу, а пан и не помыслил о тэм,— мялэм тэ ж слово паньске и мнил то верно... а выходьзе

кэпска штука... Тэраз на завтра конечно должен ехать и не вем, проше пана, чи буде плата, чи не [1]...

По тону, которым говорил поляк, по его энергическим жестам и по закинутой слегка назад голове видно было, что он ни на минуту не поверил и теперь не верит, что ему заплатят деньги, и потому казался и хотел казаться особенно дерзким и высокомерным.

Чагин знал Лыскова. Он чувствовал, что еще немного и тот, не выходя из обычного своего спокойствия и вероятно совершенно неожиданно для поляка, треснет его наотмашь так, что тому не поздоровится... Выйдет неприятность еще большая.

«Господи,— мысленно повторял себе Чагин,— и отчего у меня нет этих денег, отчего я не могу швырнуть их этому пану Демпоновскому!»

И, казалось, в эту минуту он уже готов был все отдать, всем пожертвовать, чтобы выручить друга из беды, чтобы избавить его от этого оскорбительного унижения выслушивать дерзкие речи поляка.

Теперь он на миг забыл, то есть не забыл, а как-то спрятал, захлопнул внутри себя свое чувство робости и всей душой принимал участие в том, что происходило на противоположном конце комнаты, и каждое слово пана Демпоновского отзывалось в нем так же болезненно, как оно должно было отзываться у Лыскова.

Последний стоял не двигаясь и, казалось, терпеливо ждал, пока поляк выскажет весь запас своих любезностей.

Чагину досадно было, что он не видит лица друга и поэтому не может судить, что произойдет дальше. Но подойти он боялся, чтобы не ускорить развязки.

— Пожичил пан овчину, а вышло тепло его слово [2]! — закончил Демпоновский и развел руками, опустив голову.

В это время Чагин видел, как Лысков, не меняя своей спокойной позы, засунул руку в карман, медленно вытянул ее оттуда, и к несказанной радости и удивлению Чагина в этой руке оказался кошелек, видимо, достаточно тяжеловатый...

---

[1] — Я просил вас добыть на следующий день деньги потому, что я спешу уехать, а вы и не подумали об этом. А так как вы дали честное слово, то я и верил... А выходит плохо дело. Теперь я должен завтра обязательно ехать и не знаю, заплатите вы мне или нет...— *Перевод автора.*

[2] — Пообещали овчину, а оказалось только теплое слово. («Мягко постелили, да жестко спать».)

Лысков, все по-прежнему молча, раздвинул кольца кошелька и стал отсчитывать деньги.

Чагин вздохнул свободно.

«Ну, слава Богу! — мысленно произнес он.— Но откуда он достал их?»

Демпоновский, увидав деньги, сейчас же сконфузился, сделался как будто меньше ростом, и лицо его все съежилось в сладкую-пресладкую улыбку. Он забормотал что-то тихое, непонятное и беспрестаннно повторял:

— Овшем, пане, овшем[1].

Отсчитав, Лысков протянул деньги поляку, и слышно было, как они звякнули в его руку, потом повернулся спиною к нему и направился к двери.

Все это он проделал с таким хладнокровием, с такою величественной невозмутимостью, что Чагину казалось — хоть картину с него пиши.

— Лысков, Лысков! — окликнул он его.— Ты какими судьбами на балу?

— А, брат,— сказал Лысков,— тебя-то мне и нужно. Я давно ищу тебя.

— Я был в зале все время... Послушай, откуда у тебя деньги? — понижая голос, спросил Чагин, как только они отошли от диванной, где остался поляк с своими двумястами рублями в руке.

— Тсс... тише...— остановил его Лысков,— сейчас расскажу все... Мы едем сегодня ночью...

— Кто мы, куда едем? — удивился Чагин.

— Ты и я — должны ехать, а куда, я тебе сейчас расскажу... Только на людях нельзя... Пойдем сюда!

И они, выйдя из парадных комнат в коридор, направились на другую сторону дома, где был выход на террасу и в сад...

IV

СЕКРЕТНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Сентябрьский вечер был настолько свеж, что в комнатах, где окна хотя и не были заделаны на зиму, не решались поднять их, во избежание простуды дам, бывших в открытых робах.

---

[1] — Конечно, конечно!

Но многие из мужчин вышли, как были, освежиться на террасу. Чагин с Лысковым встретили среди них нескольких знакомых и, поздоровавшись с ними, миновали террасу и спустились в сад. Лысков шел впереди большими шагами, мягко ступая по ковру листьев, толстым слоем устлавших дорожку аллеи. Он видимо выбирал место, где бы их никто не мог ни увидеть, ни подслушать.

— В чем же дело? — спросил Чагин, когда они, отойдя в глубь сада, остановились наконец.

— Вот видишь ли,— начал Лысков оглядываясь,— сегодня командир призвал меня утром к себе и объявил, что есть серьезное дело. Завтра польский посланник отправляет с бумагами курьера. Едет один из офицеров его свиты...

— Так,— подтвердил Чагин, силясь уже предугадать и понять, в чем дело, но ничего еще не предугадывая и не понимая.

— Ну, и эти бумаги нужно получить во что бы то ни стало.

Теперь Чагин сразу понял все.

— Лысков, голубчик! — начал он почти задыхаясь от обуявшего его восторга.— Ведь это значит поручение, то есть такое поручение, в случае исполнения которого можно надеяться на... офицерские эполеты!..

— А ты думал как! — подтвердил Лысков, и по голосу его слышно было, как он улыбался в темноте радости своего друга.

— И мы сегодня же едем? — спросил тот.

— Сегодня же ночью. Нужно постараться встретить и поймать поляка на перепутье.

— И как же? — продолжал спрашивать Чагин.— Командир прямо так и назначил меня?

— Он мне сказал, чтобы я взял себе помощников по своему выбору.

— И ты позвал меня?

— И я позвал тебя.

— Ты говоришь, однако, «помощников»; значит, еще с нами поедет кто-нибудь?

— Велено втроем.

— Кто же третий?

— Не знаю еще... нужно будет дурака какого-нибудь сыскать.

— То есть как это дурака? Зачем же дурака?

— А чтобы он не мешал, а слушался. Умный соваться будет, куда его не спрашивают, и дело испортит.

— Послушай, Лысков,— сказал Чагин,— ты — «кладезь неисчерпаемой премудрости».

В это время со стороны дома слабо донеслись призывные звуки оркестра, дававшие знать, что танцы снова начались.

Чагин не выдержал и двинулся.

— Так сегодня ночью... В котором часу? — спросил он, чтобы кончить разговор, потому что Соня Арсеньева, с которою он должен был танцевать, уже наверно ждала его.

— После ужина приезжай прямо ко мне; я распоряжусь насчет лошадей и Захарычу велю все приготовить. Тебе бы, пожалуй, лучше выспаться пред дорогой...

По тону Лыскова ясно было, что он шутит; разве мог Чагин думать о сне теперь, когда действительность была лучше всякого сна?

— Пошел вон! — махнул он рукою на Лыскова, почти бегом направляясь к дому.

— Чагин, только, смотри, никому ни слова! — уже серьезно произнес ему вслед Лысков.

Танцы начались, когда Чагин влетел в зал и, уже ничего не помня от восторга, бесцеремонно расталкивал толпу, пробираясь к месту, где должна была ждать его Арсеньева.

Он уже издали заметил ее. Она стояла, беспокойно помахивая закрытым веером, и оглядывалась по сторонам, видимо с нетерпением ожидая своего кавалера. Для нее, хорошенькой и милой Сони Арсеньевой, непривычно и неловко было стоять так в бездействии, когда кругом все танцевали.

Должно быть, у Чагина было очень испуганное и взволнованное лицо, потому что она не могла сдержать улыбку, когда заметила наконец его неимоверные усилия пробраться к ней сквозь толпу. В этой улыбке было уже прощение за то, что он опоздал.

— Я не мог раньше... я не мог,— силился выговорить он, добравшись наконец до Сони,— я, право, не мог...

Она улыбнулась еще раз и, кивнув ему головой, протянула свою маленькую, тонкую, худую, точеную руку. Он с замиранием сердца, как всегда, коснулся этой руки, и они вошли в круг танцующих.

— Ну, теперь говорите, отчего вы опоздали! — спросила Соня, когда они проделали свои па и до них дошла очередь отдыхать.

Чагин чувствовал, как сильно билось его сердце. Он не пришел еще в себя от той подавляющей массы счастья и радости, выпавшей на его долю сегодня вечером. Он был рядом с Сонею, был один рядом с нею в этой толпе и мог не только наслаждаться сознанием этого одиночества, но испытывал еще другое — еще более счастливое — сознание того, что так недавно казавшиеся отдаленными мечты могут быть близки к осуществлению. Получение офицерского чина, с которым было связано исполнение заветных желаний Чагина, вдруг стало из далекого, неопределенного близким и возможным, до того близким, что стоило лишь достать бумаги курьера — эполеты, а с ними вместе и желанная свадьба становились несомненными.

Как это все будет, то есть как он достанет эти бумаги,— Чагин не знал, но он не сомневался в том, что достанет; такую силу, мощь и энергию чувствовал он в себе теперь. Голова его кружилась, грудь задыхалась от счастья, он готов был выйти один против целой армии теперь. Он не помнил ничего.

— Я не мог прийти раньше,— повторял он Соне,— но если б вы знали, почему я не мог сделать это!

Она взглянула на него, стараясь понять главную причину его восторженного состояния, угадывая инстинктом любви, что не исключительно она, любимая им, была виновницей этого состояния.

— Что с вами? — спросила она опять.

— Что со мною? Да то, что я счастлив так, как только может быть счастлив человек. Я вам не скажу всего, но только теперь вы можете быть спокойны... То есть не спокойны... Господи... словом, все идет очень, очень, очень хорошо!..

— Ничего не понимаю,— сказала Соня.

— Я буду на днях... скоро, скорее, чем можно было этого ожидать,— офицером! — вырвалось у Чагина почти невольно.

Арсеньева с нескрываемым удивлением вскинула на него глаза, не зная, шутит он или нет.

Этот ее неожиданный удивленно-радостный взгляд чуть не заставил Чагина захлебнуться от счастья. Не было уже сомнения, что и Соня ждет его производства и она го-

това радоваться, как и он, вместе с ним, если это — правда.

— Я не шучу,— сказал он,— это — правда.

— Но как же это? как? говорите! И я хочу знать и радоваться,— заговорила Соня не словами, но взглядом и всем существом своим.

— Завтра идет польский курьер с письмами, мне поручено достать эти письма,— сам не зная как, ответил Чагин.

— Нам начинать,— шепнула в это время просиявшая Соня, и, поняв сейчас же всю важность возложенного на ее кавалера поручения, она, гордясь им и собою, победоносно закинув хорошенькую головку, снова вошла рука об руку с ним в круг танцующих.

«Ну, что ж такое, что я сказал ей? — думал Чагин, выделывая свои па.— Ну, что ж такое?.. ведь она же никому не станет рассказывать... Конечно!.. И потом все так идет хорошо, что ничего не может и не должно быть дурно... Да, все хорошо... И хорошо, что я сказал ей».

И, взглянув на оживленное, с блестящими глазами, лицо любимой девушки, он окончательно убедился, что нельзя было, что слишком было жаль не поделиться с нею радостной вестью.

V

НЕОСТОРОЖНОСТЬ

Однако, едва кончили танцевать и Чагин оставил руку Сони, откланявшись ей и отойдя в сторону, как ему пришлось раскаяться в своей неосторожности.

— Вот как, князь? — услышал он за собою знакомый, неприятный голос.— Вы получаете серьезные поручения перехватывать польские бумаги?.. Поздравляю вас...

Чагин обернулся. Сзади него стоял бывший его сослуживец по армии, переведенный почти одновременно с ним, но в другой гвардейский полк, прапорщик Пирквиц.

Чагина точно холодной водой обдало.

— Только послушайте,— продолжал Пирквиц,— когда получают такие поручения, о них не говорят на балу с дамами.

Чагин, побледневший в одно мгновение при первых словах Пирквица, почувствовал, как вдруг вся кровь словно прилила ему к голове.

— Так вы... так вы подслушали? — задыхаясь, едва выговорил он.

Этот Пирквиц давно, всегда, с тех пор как Чагин узнал его, был ему антипатичен. У них еще по прежнему месту служения были контры, и, видимо, Пирквиц не только не забыл этих старых счетов, но находил особенное теперь удовольствие видеть смущение, а может быть, и испуг Чагина, находившегося в данный момент в его руках.

— Я ничего не подслушал,— спокойно, но внушительно строго ответил Пирквиц.— Вольно ж вам было говорить так громко, что я, стоя сзади вас, все слышал... Пеняйте сами на себя...

На этот раз Пирквиц был прав и как бы наслаждался этой правотою, как человек, которому в редкость такое наслаждение.

Чагин чувствовал это, а вместе с тем и все свое бессилие загладить свою непростительную оплошность.

— Послушайте! — сказал он Пирквицу.— Надеюсь, что вы хоть не будете рассказывать это дальше.

Тот пожал плечами.

— С какой же стати я буду хранить ваш секрет, когда вы сами не заботитесь о его сохранении?

«Ток, ток! — стучало, как молот, в голове Чагина.— Он мстит мне за прежнее... Боже мой, что я наделал, что я наделал!»

И ему вспомнилось то время, когда Пирквиц так же вот стоял пред ним растерянный и ждал от него решения своей участи. Было такое время. Чагин тогда пощадил его, и с тех пор Пирквиц возненавидел его. Теперь очередь торжествовать была за Пирквицем, и он видимо не желал поступиться своим торжеством.

«Да и расскажу, непременно всем расскажу! — говорила его насмешливо-задорная улыбка.— И ничего ты со мной не сделаешь!»

— Но ведь это же ужасно, это бесчеловечно! — проговорил в отчаянии Чагин.

— Это было с вашей стороны легкомысленно, и вы ответите за свое легкомыслие!

За разглашенную правительственную тайну действительно можно было ответить. Но не это главным образом было мучительно — для Чагина от успеха предприятия зависело счастье его жизни, оно казалось таким близким, и вдруг он вместо того, чтобы воспользоваться благоприятным случаем, сразу не только пресек себе возмож-

ность к этому, но совершенно испортил доверенное ему дело.

Что было делать? Убить этого Пирквица, убить себя... уничтожить все и всех?.. В голове Чагина мутилось, в глазах заходили зеленые круги, пол шатался под ногами; он хотел что-то сказать, но губы не повиновались ему. Однако он сделал над собою усилие и заставил себя опомниться. Он знал уже, что сказать Пирквицу, он хотел сказать ему, что это — вздор, что он не едет, что он похвастал, и затем пойти к Лыскову, рассказать ему все и отказаться от поездки. Но, когда он открыл глаза, Пирквица уже не было возле него.

Чагин, за минуту еще пред тем бывший на высоте счастья, чувствовал теперь себя самым жалким, самым несчастным человеком.

«Боже мой! — думал он, пробираясь через толпу и терпеливо оглядывая всех, чтобы найти Лыскова.— Какой я ничтожный, пропащий человек! Теперь ведь все погибло — все... все!»

И ему казалось, что не только все погибло, но что и сам он погиб безвозвратно и никогда уже не сделаться ему, как прежде, веселым и счастливым, что он так и останется погибшим навсегда.

— Лысков, Лысков! — заговорил он наконец сдавленным шепотом, завидев приятеля.— Лысков, ты не уехал еще! — и, пробравшись к нему, он теребил его за рукав и все повторял в отчаянии: — Лысков, голубчик, что я наделал!

— Что с тобой? — удивился тот, слегка отстраняясь.

— Поди, пойдем... мне надо сказать тебе.

Они прошли в коридор.

Тут Чагин, прерываясь и погоняя слова, бессвязно рассказал все случившееся.

— Глупо! — задумчиво произнес Лысков, когда приятель кончил.— Что ж теперь делать?

— Одно средство — мне отказаться от поездки, и тогда, если Пирквиц будет рассказывать, все увидят, что он врет...

— Глупо! — повторил Лысков.

— То есть что глупо? — переспросил Чагин, не только подавляя в себе горечь обиды, но готовый сам себя ежеминутно называть глупцом и дураком.

— Средство твое глупо; во-первых, если эта дрянь Пирквиц (я знаю его) станет рассказывать, что ему изве-

стно о посылке за бумагами, то, поезжай я один,— ясно будет, что проболтался я, а главное — отпущено по двести рублей на брата; я думал, что нам двухсот хватит вдвоем, и заплатил свои двести поляку. Теперь кого ни возьми — подай ему деньги, а откуда я их достану?

— Ну вот, я говорил, что все пропало! — упавшим голосом произнес Чагин (ему казалось, что он не только говорил это Лыскову, но даже убедил его в этом).— Я говорил, что все пропало!..

— Слушай! — начал вдруг Лысков помолчав.— Другого, кроме тебя, я все-таки не возьму, потому что другой, кроме всего, может так же, как и ты, сделать еще новую глупость, и тогда уже не вывернешься; ты теперь проучен и, помни это,— теперь слушаться... Понимаешь? Постарайся загладить вину!..

«Да он с ума сошел! — мелькнуло у Чагина.— Он рассуждает, когда на самом деле все пропало, все!»

— Поезжай сейчас домой,— продолжал между тем Лысков,— пошли Захарыча в казармы за лошадьми для нас, для него и для моего денщика Бондаренки, забери вещи, отправляйся ко мне и жди меня там! Когда Захарыч придет с лошадьми, вели ему и Бондаренке вести их в Ямбург и там накормить до нашего приезда. Для нас приедет подвода из полка. До Ямбурга мы поедем на ней, а дальше — верхом. Скажи Захарычу, чтобы не копался. Им нужно часа за четыре быть до нас в Ямбурге, чтобы дать лошадям вздохнуть...

Чагин почувствовал, как его колена и нижняя челюсть задрожали.

— Так ты думаешь, что мы все-таки можем ехать? — проговорил он.

— Ступай, брат, и делай, что тебе велят! — перебил Лысков.— Самому мне теперь нужно здесь остаться... Так помнишь, что нужно сделать?

Серьезный тон и нахмуренное лицо Лыскова подействовали на Чагина.

— Ехать домой,— проговорил он оживляясь,— Захарыча за лошадьми. Отослать его с Бондаренкой в Ямбург. Они должны там быть за четыре часа до нас. Накормить. Мне — быть готовым к отъезду и ждать у тебя... Кажется, все?

— Все. А мазурку ты опять должен танцевать с Арсеньевой?

Чагин весь вспыхнул и потупился.

— Да, с нею,— чуть внятно произнес он.

— Хорошо. Так я предупрежу ее, что ты не можешь, и извинюсь под каким-нибудь предлогом.

«Нет, положительно, этот человек удивительный, из ряда выходящий,— уходя думал Чагин про Лыскова.— Но неужели еще не все погибло и я могу быть счастлив?»

VI

ИСТОРИЯ ПИРКВИЦА

Несмотря на то, что Чагин исполнил с самой тщательной аккуратностью все, что требовал от него Лысков,— отправил лошадей, захватил вещи и ждал его, вполне одетый в дорогу,— ему все-таки казалась подозрительной уверенность приятеля, с которою тот делал ему свои распоряжения.

С тех пор как он оставил освещенный, залитый огнями зал, ему казалось, что действительность перешла в сновидение, что этот бал и испытанное в начале вечера ощущение полного, недостижимого счастья были где-то и когда-то очень давно и прошли, миновали бесследно, невозвратимо.

Он ходил по слабо освещенной одною сальною свечкою комнате Лыскова и напрасно силился привести в порядок свои спутавшиеся, разбросанные мысли.

«Что я наделал? — думал он.— Да, Лысков говорит, что мы все-таки поедем... Неужели это — правда и правда, что я не испортил дела наконец? Господи! если бы все было хорошо, как бы я рад был!.. Но нет, это невозможно... Не забыл ли я чего? Нет, все здесь... Неужели однако это возможно?»

Но оказывалось, что «все это» было, по-видимому, возможно. Захарыч с Бондаренкой уехали. Затем под окнами раздался по бревенчатой мостовой стук колес подъехавшего к крыльцу экипажа. Чагин выглянул в окно. Это была бричка, присланная для них из полка. Наконец явился и сам Лысков.

— Ты готов? — торопливо, на ходу спросил он и, не давая времени Чагину для вопросов, стал быстро в свою очередь переодеваться для дороги.

В этой поспешности Лыскова и в его переодевании заключался главный ответ для Чагина, то есть это значи-

ло, что они все-таки едут, что никакой задержки не встретилось и что Лысков каким-то сверхъестественным образом устроился с Пирквицем, исправив, должно быть, неосторожность Чагина.

— И сапоги смазаны! — говорил Лысков, ловко и умело справляясь при помощи Чагина с довольно сложными подробностями офицерского обмундирования.— Это ты приказал? Отлично! Пистолеты заряжены, а? Натруску давай сюда!.. Трубку, братец, захвати! Как же без трубки?.. Ну, едем... едем, пора!

Однако Чагин успокоился окончательно все-таки лишь тогда, когда они уселись в бричку и она запрыгала по мостовой, встряхивая и вздрагивая на каждом бревне.

— Как же ты устроился? — спросил наконец Чагин, когда они выехали уже за город.

Лысков сидел, закутавшись в плащ, в темном углу брички.

— С чем устроился? — переспросил он не вдруг.

— А с Пирквицем? Он нам не помешает?

— Нет, не помешает.

— Как же ты сделал однако?

— Очень просто. Если кто-нибудь узнал о твоем деле, которого никто не должен знать, то одно средство, чтобы он не разболтал дальше.

— Какое же?

— Сделать его своим сообщником. Нам велено было ехать втроем перехватывать бумаги поляка. Ну, вот, я и позвал этого Пирквица третьим.

— А он не продаст?

— Не думаю. Впрочем, если дело удастся, награда, пожалуй, выпадет слишком значительная, чтобы не польститься на нее. К тому же я доложил командиру, кто едет со мной... Если Пирквиц выдаст, он же должен будет отвечать... Двести рублей я ему вручил.

— Послушай, Лысков,— перебил Чагин,— ты, право,— молодец!.. А Пирквиц не испортит дела? — нерешительно добавил он, помня и мучаясь еще собственной неосторожностью.

— Ну, и испортит! И мы можем испортить... Все зависит от обстоятельств... всего не предусмотришь. Что бы ни случилось — значит, так тому и должно быть.

«Нет, ты вот не испортишь!» — подумал Чагин с некоторым восторгом про Лыскова, но не сказал этого вслух, а только спросил:

— Так ты ему назначил, что делать? Он как же, тоже сегодня выедет?

— Он будет действовать самостоятельно между Петербургом и Нарвой. Мы поедем дальше. Если ему не удастся, тогда наша очередь будет. Всем втроем не имело смысла. Нужно встретиться с курьером поодиночке и попытаться сделать что-нибудь.

— Значит, у Пирквица первое место?

— Значит, у Пирквица первое место! — повторил Лысков.— Нужно же было кому-нибудь уступить его...

— Ну, а мы-то что будем делать?

— Ну, там увидим, смотря по обстоятельствам. Главное, нужно постараться, чтобы встретиться с паном Демпоновским.

— С паном Демпоновским? Так он-то и едет курьером?

— Да.

Чагин почувствовал, что вдруг его начинает душить неудержимый смех.

— Ты чего? — окликнул его Лысков.

— Да как же... деньги-то, которыми ты заплатил ему,— ведь они были выданы по поводу его же поездки?.. Он, значит, сам доставил — как это говорится? — ресурсы тебе для уплаты?

Лысков тоже рассмеялся.

— Как это, однако, все связывается! — продолжал Чагин.— Вот и Пирквиц... Ты знаешь, ведь мы в армии вместе служили: он — прапорщиком, я — сержантом (мы переведены тем же чином). Я имел случай узнать его. Это — такая дрянь... Я знаю, и ты не любишь его, но ты не знаешь еще про него всего...

Чагин не только не сомневался в нелюбви Лыскова к Пирквицу, не раз им выражаемой, но отлично понял, что именно вследствие этой нелюбви Лысков и предложил действовать отдельно и уступил Пирквицу первое место, чтобы не возжаться с ним.

— Что же у вас было? — спросил, зевнув, Лысков, который, видимо, не мог еще настолько освоиться с тряской брички, чтобы заснуть, и потому не прочь был поговорить.

— У нас ничего не было. Боже сохрани, но я невольно был свидетелем этой истории и убедился в его подлости. У нас в полку был солдат из латышей, славный такой, бравый,— Паркулой его звали. Все его знали за отличного солдата, вполне честного.

— Это что же такое — «Паркула»? Прозвище или фамилия?

— Фамилия. Только вот отправился раз я на траву с людьми. Две недели пробыли. Возвращаюсь — и что ж узнаю? Говорят, Паркула попался в воровстве. Я не поверил сначала. Оказалось, что уже и суд над ним был. Его приговорили к шпицрутенам. У воеводши пропала шкатулка с бриллиантами. Кинулись искать. Нашли, что в самый день пропажи видели эту шкатулку в руках у Паркулы. Сам стряпчий наткнулся на него, он и отдал ему шкатулку. Сказал, что с самого раннего утра ходил за город рыбу ловить, потом пробирался потихоньку, чтобы не заметили его отлучки, да на задах воеводского сада и нашел шкатулку сломанную. Сделали у него обыск, никаких бриллиантов не нашли, но все-таки признали, что Паркула был пойман с поличным, и в две недели скрутили дело. Больше всех хлопотал тут Пирквиц. Он и в судебной комиссии участвовал. Я приехал как раз накануне исполнения приговора над Паркулой. Жаль мне было его. И вдруг я вспомнил, что, уезжая на траву (люди вперед ушли, я догонять их), я действительно видел Паркулу у реки с удочкой. Это было так далеко от города, что он мог действительно забраться сюда только с ночи, значит, когда произошла кража, в городе его не было. Я к полковому командиру. «Так и так,— говорю,— сам видел и могу засвидетельствовать». Командир у нас был отличный, справедливый. Всполошился он, велел отложить исполнение приговора. Разобрали дело вторично. Моему свидетельству поверили, а Паркулу хоть от наказания и освободили, но оставили «на всякий случай» в подозрении и перевели в разряд штрафных. Хорошо, что и этого добились...

— При чем же тут Пирквиц? — спросил Лысков.

— Погоди, сейчас... Прошло лето. Осенью послали меня с Пирквицем в командировку за рекрутским набором. В одном местечке остановились мы с ним на постоялом дворе. Проснулся я утром. Смотрю, Пирквиц встал уже. Было довольно рано. Я тоже поднялся, вышел на улицу. У крыльца стоял Пирквиц с проезжим бродячим евреем, знаешь, что торгует и продает разные разности. Они о чем-то разговаривали очень жарко. Торговец размахивал руками и все говорил, что «больше дать никак не может». Меня заинтересовало, что такое может продавать ему Пирквиц. Я подошел сзади. Что ж ты думаешь? Он ему продавал бриллиантовое кольцо, совершенно такое, какое

было у воеводши. Я так и вскрикнул и схватил его за руку. Он до того растерялся, что тут же и признался во всем.

Лысков отклонился из своего угла и почти с ужасом произнес:

— Послушай, Чагин, что ты врешь? Неужели он, офицер, украл эти вещи?

— То есть и да, и нет, если хочешь. Он, видишь ли, был в близких отношениях с воеводшей (она в матери ему годилась), и она подарила ему свои вещи потихоньку от мужа. Ну, а чтобы не открылось этого, они и обставили все так, как будто вещи были украдены. А тут подвернулся Паркула, и Пирквиц имел настолько бесстыдства, что не только не постарался выгородить его, но, наоборот, употребил все усилия, чтобы тот был обвинен.

— Вот негодяй! — вырвалось у Лыскова.— Ну, и что ж ты сделал с ним?

— Да что ж? Он, как пойманный, ужасно струсил, стал плакаться, просил, чтобы не погубили его. Я обещал молчать, если он даст слово, поможет перевести Паркулу из разряда штрафных.

— И удалось это?

— Пока я там был, хлопотали. Кажется, дело на лад шло. Пирквиц оставался несколько дольше меня в полку после перевода. Когда приехал сюда, я его спрашивал. Он сказал, что Паркулу перевели.

Чагин замолчал.

Лысков не расспрашивал его больше. Казалось, этот рассказ неприятно подействовал на него, и он уткнулся в свой угол, потеряв охоту к дальнейшему разговору.

VII

КУРЬЕРСКИЕ БУМАГИ

В октябре 1763 года скончался Август III, курфюрст саксонский и король польский. Польше предстояло избрать себе нового короля. Но это избрание было трудным, замысловатым делом. Внутреннее состояние Польши, разрозненной и разбитой на партии, не только не предвещало ничего доброго, но, напротив, способствовало интригам соседних государств, считавших себя вправе хозяйничать в ослабленной междоусобной борьбою партий стране.

Венский двор выставил своего кандидата на польский престол — саксонского принца, но такой кандидат не мог соответствовать видам другого соседа Польши — Фридриха, короля прусского, который не хотел допустить, чтобы польский престол упрочился за саксонским домом, враждебным ему и тесно связанным с не менее враждебными австрийцами. Поэтому Фридрих Прусский давно уже хлопотал о том, чтобы ограничить право избрания в короли на Пясте, т. е. природном поляке.

Этот план соответствовал и русским интересам. Наши войска под предлогом охраны военных магазинов, устроенных еще в Семилетнюю войну, находились в Польше и могли оказать поддержку тому из Пястов, который будет угоден русскому двору. Наши послы в Варшаве, Кейзерлинг и отправленный ему в подмогу Репнин, действовали при этом еще помощью золота. Таким образом, почти не было сомнения в том, что на польский престол взойдет кандидат, на которого укажет Россия и ради которого будут готовы двинуться наши войска, а Кейзерлинг с Репниным — истратят отпущенное в их распоряжение золото.

И Россия действительно указала на своего кандидата — природного Пяста, Станислава Понятовского.

Это был тот самый Станислав Понятовский, который явился в Россию несколько лет тому назад, когда Екатерина II, ныне могущественная, самодержавная государыня, была еще скромною, почти притесненною великою княгинею, не любимою мужем и казавшеюся почему-то подозрительной самой императрице Елизавете.

Одинокая, преследуемая красавица великая княгиня встретилась с видным, ловким и красивым Станиславом, и между ними начались романические отношения. Вскоре он должен был оставить, против своей воли, Россию. Его заставили сделать это.

Теперь Екатерина была императрицею русскою, могущество которой, казалось, не имело границ; по крайней мере для слабой, разрозненной Польши не было другого выхода, как подчиниться этому могуществу. И она сделала его королем.

В августе 1764 года Станислав Понятовский был избран на польский престол.

Но тут, с момента этого избрания, способного, как казалось, осчастливить смертного, достигшего всего, что может желать лишь он на земле,— достигшего короны,— и началась для Понятовского та страшная нравственная

пытка, которая, не искупив, затмила все прелести власти и почета. Власть оказалась мнимою, почет явился кажущимся.

Женщина, возведшая на престол Понятовского, как друга, должна была стать тотчас же по его восшествии врагом ему, потому что выгоды России заключались в ослаблении Польши. Там, где прежде действовало сердце, приходилось действовать разумом, а разум предписывал противное тому, чего желало сердце.

Помимо всего остального, Понятовский прежде всего, оказалось, любил свою родину, чувствовал ее язвы и горячо принялся за врачевание их. Но ни одну из мер, клонящихся к улучшению внутренних дел страны, ему не позволили провести.

С самого начала, с первого же раза ему связали руки и требовали от него, чтобы он, как ставленник чужой руки, играл только в эту руку и служил интересам не своей, а чужой страны.

Положение было ужасно, ужасно тем более, что чувство, зародившееся несколько лет тому назад, было живо, и, несмотря на это, приходилось все-таки бороться и враждовать разумом там, где сердце искало дружбы.

Благодаря этой двойной игре, благодаря этому исключительному из ряда вон выходящему положению к сентябрю 1764 года развилась и поддерживалась почти безостановочная переписка между русским и польским дворами и шли сношения русского правительства с его посольством в Польше, и правительства польского с его посланником в Петербурге Ржевутским.

Между Петербургом и Варшавой то и дело скакали курьеры с явными и секретными письмами, и содержание этих писем было важно узнать для каждой противной стороны.

Но те бумаги, которые вел пан Демпоновский, были особенно, лично интересны Екатерине II. И вот отчего она, призвав к себе командира одного из гвардейских полков, приказала отрядить трех расторопных молодых людей для того, чтобы во что бы то ни стало перехватить эти бумаги.

Командир, зная Лыскова, остановился на нем в своем выборе, предоставив ему самому найти себе помощников.

VIII
ПАН ДЕМПОНОВСКИЙ

Демпоновский выехал из Петербурга, как и говорил, требуя от Лыскова уплаты денег,— на другой день после бала.

Путь его лежал на Ямбург, Нарву, Дерпт и Ригу. До Ямбурга он добрался не останавливаясь и засветло еще подъехал к крыльцу единственного приличного постоялого двора в Ямбурге. Он думал здесь только поужинать и сейчас же отправиться дальше, с тем, чтобы ночевать в Нарве.

— А будет можно имать цо есть до съеданья [1]? — спросил входя пан Демпоновский у чухонца, содержателя постоялого двора.

— Та все-то можно,— с некоторой гордостью ответил чухонец.

— Ну, так проше супу,— обрадовался Демпоновский, не евший с утра ничего горячего.

— Та вот супа нет? — с сожалением протянул чухонец.

— Ну, мяса?

— Та и мяса нет.

— Ну, куру?

— Та последнюю-то куру продали.

— Ну, яиц?

Чухонец развел руками вроде того, что и яиц не было.

— Отто лайдэк! — рассердился Демпоновский.— Цо ж маешь [2]?..

— Горяча вода на самовар есть — чай та у вас собою — мозно чай варить...

В это время из-за стоявшего в углу горницы стола поднялся русский офицер, которого при входе не заметил Демпоновский, и подошел к нему.

— Вы, очевидно, мало знакомы с нашими порядками,— обратился он к Демпоновскому.— По нашим дорогам нужно всегда ездить с запасом. Позвольте познакомиться; может быть, я могу быть полезен вам.

Офицер проговорил это с учтивым спокойствием и достоинством, произведшим большое впечатление на поляка.

Демпоновский поклонился и назвал себя.

---

[1] А есть у вас что-нибудь поесть?
[2] Вот негодяй! Что же у тебя есть?

— А моя фамилия — Пирквиц,— поклонился в свою очередь офицер.— Так вот, если не побрезгуете, милости просим; я вам могу предложить походный ужин и стакан доброго вина.

И, обратившись к чухонцу, он приказал ему сказать денщику, чтобы тот достал из погребца другой прибор.

Все это было, разумеется, рассчитано у Пирквица, и эта случайная якобы встреча с польским курьером, которого он сейчас же узнал в пане Демпоновском, была обдумана им и подготовлена.

Накануне вечером, на балу, узнав вследствие неосторожности Чагина порученное ему дело, Пирквиц охотно согласился на предложение Лыскова участвовать в перехвате польских бумаг, сейчас же сообразив всю важность этого поручения и выгоды связаться с ним. Он сам намекнул Лыскову, что лучше всего действовать им отдельно. Лысков одобрил этот план и предоставил Пирквицу первое место.

Ввиду этого Пирквиц считал уже бумаги в своих руках. Он именно боялся только одного: чтобы ему не помешал кто-либо.

Он явился в Ямбург заранее, расположился на единственном постоялом дворе, куда неминуемо должен был заехать Демпоновский, и действительно все случилось, как он предполагал. Они встретились, а Пирквицу большего и не нужно было. Он знал уже, что делать дальше.

Демпоновский, по-видимому, очень обрадовался и ужину, и приятной компании русского офицера и с удовольствием принял его предложение, рассыпавшись в любезных выражениях своей благодарности.

У Пирквица были заготовлены холодная курица, ветчина, кусок телятины, а вино, которым он сейчас же стал угощать Демпоновского, оказалось действительно добрым старым вином.

Поляк стал уверять, что он — знаток в вине, понимает и может оценить; что в их «фамильном» замке в Польше хранится такое венгерское, какое нигде нельзя найти, а по соседству в монастыре, у монахов, можно достать старый, густой, как масло, мед, удивительно вкусный.

— Вы пили, проше пани,— блестя глазами, говорил Демпоновский,— стары мед польски — отто бардзо моцна штука[1]! — и он щелкал языком и подмигивал, словно на

[1] Вы пили старый польский мед — вот это очень крепкая штука.

него подействовали два стакана вина, налитые ему Пирквицем.

— Я и мед пил, и «стару вудку» знаю,— ответил Пирквиц, наливая еще вина.— Я ведь бывал в Польше и говорить могу по-польски... Только и пан хорошо муве порусску,— продолжал он, желая, должно быть, доказать этими словами свое знание польского языка.— Да ведь польский язык какой язык? — весь красный уже от вина, кричал Пирквиц, воображая, что он очень мил.— Нужно только называть вещи не своими именами, вот и будешь говорить по-польски; диван, например... это — собственно мебель, а по-польски ковер... Люстра затем; повсюду это для свечей делается, а по-польски люстра — значит зеркало.— И, несмотря на такую филологическую непоследовательность, Пирквиц с искренним убеждением сделал вполне последовательно для себя вывод, что польский язык — славный язык.— Славный, славный язык,— повторял он и смеялся, т. е. старался смеяться по возможности беспричинно, чтобы показать этим, что был пьян более, чем на самом деле.

Демпоновский тоже смеялся и тоже, казалось, порядочно выпил; но Пирквиц, приказав принести новую бутылку, наливал еще ему, и он не отказывался, продолжая шумно разговаривать, не слушая того, что говорили ему, и сам не заботясь о том, слушают его или нет. По временам он неуверенными, дрожащими руками ощупывал лежавшую возле него на столе сумку, как бы не доверяя своим глазам и желая наверное убедиться, что она все еще тут, у него.

Пирквиц давно уже приглядывался к этой сумке, чувствуя, что в ней-то и лежит таинственная переписка...

«Ничего, ничего,— думал он про Демпоновского,— погоди, брат... от меня не уйдешь... не таковский».

Напоить Демпоновского — было еще лишь началом выполнения задуманного Пирквицем плана, вступление так сказать, но он не пускал еще в ход своего главного, надежного и безошибочного средства.

«И как это все просто,— внутренне улыбался уже он.— Неужели они думают (под «ними» он разумел Лыскова и Чагина), что я выпущу его из своих рук и им что-нибудь останется? Нет, я бы ни за что не уступил первого места... ведь тут никаких случайностей не может даже произойти...»

И, пользуясь удобной минутой, потому что пьяный Демпоновский, держа руку на сумке, тянулся в окно, что-

бы разглядеть, поданы ли лошади, Пирквиц высыпал из давно уже развернутой потихоньку под столом бумажки светло-желтый порошок в стакан поляка.

Этот светло-желтый сонный порошок, которым Пирквиц запасся перед отъездом у известного многим грека, торговавшего в гостином дворе разными косметиками и вместе с тем потихоньку продававшего «безвредные», как он говорил, снадобья,— был главным и казавшимся безошибочным средством Пирквица.

— Ну, пан Демпоновский,— весело сказал он, стукнув стакан,— за ваше здоровье!

Поляк поглядел на него мутными глазами и бессмысленно покачал головою.

«Да он и так заснет!» — мелькнуло у Пирквица.

Но Демпоновский продолжал рассказывать что-то заплетающимся языком, и Пирквицу необходимо было поддерживать беседу.

Они выпили остальное вино.

Вдруг Пирквиц почувствовал непреодолимую тяжесть в веках и особенное, свойственное только ему, наслаждение, когда они опускались. Поднять их вновь было тяжело и мучительно.

В это время мысли в голове стали таять, уплывать куда-то; так, прежде были мысли и если исчезали, то потому, что их вытеснили новые, а теперь они исчезли и нет ничего — и Демпоновского нет, и сумки его нет, и все это — вздор, успеется... завтра...

И, не пытаясь даже бороться с одолевавшим его сном, Пирквиц опустил голову на руки и, все более и более склоняясь ею к столу, задышал тяжело и ровно, засопев носом.

Как только он заснул, пан Демпоновский тотчас же протрезвел и, проведя рукой по своим всклоченным волосам, пригладил их и расправил усы.

— Отто лайдэк! — усмехнулся он в сторону Пирквица, произнеся свое обращение с совершенно тем же ударением, с которым обращался к чухонцу, содержателю двора, а вслед за тем, забрав свою сумку и осторожно вылезши из-за стола, вышел на крыльцо, где ждали его уже готовые лошади.

Ржевутский знал, кого послать с важными бумагами, и недаром рекомендовал Демпоновскому осторожность.

Последний, встретясь с русским офицером, который показался ему подозрительным, нарочно представился пьяным и, отворачиваясь, все время следил за Пирквицем.

Он видел, как этот Пирквиц, более пьяный на самом деле, чем он, неловко всыпал в его стакан порошок, и, не подавая вида, в свою очередь улучил момент переменить стаканы, заставив таким образом Пирквица попасться в свою же собственную ловушку.

IX

РАСПУТЬЕ

В то время, когда пан Демпоновский оставлял сонного Пирквица. Чагин с Лысковым были уже далеко за Нарвою.

— Откуда ты знаешь эти места так хорошо? — спросил Чагин приятеля, объяснявшего ему, что они скоро подъедут к трактиру, стоящему на разветвлении дороги надвое, и что этот трактир называется «Корма воздушного корабля».— И какое странное название! — добавил он усмехнувшись.

— Потому-то я и запомнил его,— ответил Лысков.— А впрочем, я бывал в этих местах, возвращаясь с полком после похода.

Лысков произнес свои последние слова «я бывал в этих местах» с таким выражением, что Чагин невольно покосился в его сторону.

«Что это с ним?» — подумал он.

Они ехали от Ямбурга верхом в сопровождении Захарыча и Бондаренко.

Последний, бывший уже несколько лет в школе Лыскова, вполне усвоил привычки своего офицера. Он даже в беседе с другими денщиками на скамейке у ворот не отличался разговорчивостью, в присутствии же Лыскова окончательно затихал, не произнося лишнего слова. Всю дорогу он ехал, к крайнему огорчению старого Захарыча, любившего, наоборот, поговорить, рядом с ним, отмалчиваясь на все его попытки к разговору.

Ехавшие впереди их Чагин с Лысковым тоже молчали почти в продолжение всей дороги. Чем дальше отодвигались от Нарвы, тем серьезнее и задумчивей становился Лысков.

— Так ты говоришь, что этот трактир на распутье? — спросил опять Чагин, немного погодя.

Лошади их, утомленные большим переездом, шли шагом.

— Да, мы должны остановиться в нем, во-первых, для того, чтобы дать лошадям отдохнуть, а во-вторых, потому, что дальше ты поедешь один.

Чагин поморщился.

— Значит,— сказал он,— ты хочешь дожидаться Демпоновского в трактире?

— Да, я дождусь его.

— Послушай, Лысков! Пусти меня прежде попробовать.

Чагину всей душой хотелось показать и доказать на деле, что он все-таки может действовать разумно и осмотрительно, и, главное, загладить этим свою прежнюю оплошность. Теперь, как казалось ему, он будет уже вести себя так, что ни за что не опростоволосится.

Но Лысков сразу остановил его пылкость.

— Ты помнишь уговор? — перебил он.

— Какой уговор?

— Слушаться!

Чагин вздохнул.

— Нет, я хотел только,— начал, было, он, но Лысков так внушительно, почти зло, поглядел на него, что приходилось умолкнуть.

«Что это с ним, однако?» — опять подумал Чагин, снова покосясь на приятеля.

Тот в это время вдруг с размаху ударил лошадь, и она, собрав последние силы, пустилась крупною рысью, так что горячий, не привыкший к долгим переходам жеребец Чагина едва мог следовать за нею.

Когда подъехали к одиноко стоявшему, действительно на распутье, трактиру с пресловутым названием «Корма воздушного корабля», Лысков соскочил с седла, а затем, как бывалый тут человек, поднялся на ступеньки крыльца и стал расспрашивать выбежавшего им навстречу хозяина-немца, можно ли им остановиться и есть ли у него комната.

Чагин еще в начале путешествия имел случай удивиться скрытому для него прежде знанию немецкого языка Лыскова, который, по-видимому, весьма сносно изъяснялся на нем.

Оказалось, что из трех комнат, имевшихся к услугам господ проезжающих, две были заняты и одна только оставалась свободною.

— Нам больше и не нужно,— пояснил Лысков.

Он велел людям вести лошадей на конюшню, но, прежде чем войти в дом, долго разговаривал с трактирщиком относительно того, куда и как идут дороги и в каком месте они вновь сходятся на тракте в Риге. Говорил больше он сам. Трактирщик только поддакивал ему. Очевидно, Лысков знаком был с местностью и дальше и желал проверить себя.

Пока они разговаривали, вечерние сумерки окончательно потемнели, и в безоблачном осеннем небе зажглись яркие звезды. Ночной холодок начинал уже прохватывать стоявшего тут же без дела Чагина, которому давно хотелось в комнаты.

Наконец Лысков, словно нарочно тянувший расспросы, толкнул ногою дверь и вошел в сени. Чагин последовал за ним.

Трактирщик повел их по узкой деревянной лестнице наверх, сняв со стены зажженный фонарь. Лысков был впереди. Поднявшись на лестницу, он миновал, было, первую маленькую дверь направо, но трактирщик остановил его и, отворив дверь, сказал, что эта комната свободна. Лысков остановился.

— Ах, только не эта! — вырвалось у него.

Чагин с удивлением глянул в лицо приятеля, освещенное фонарем, который приподнял трактирщик, видимо, тоже пораженный.

— Отчего же не эта? — заговорил он.— Это — самая лучшая моя комната; тут и комод, и часы. Отличная комната. Да, кажется, господин здесь жил когда-то,— добавил вдруг трактирщик, точно внезапно узнав Лыскова и обрадовавшись, что усилия воспоминания, с которыми он все время вглядывался в гостя, увенчались успехом.

Незнакомая до сих пор Чагину складка на лбу Лыскова между бровей, появившаяся у него, стала еще заметнее; он явно с трудом сделал над собою усилие и, не дав распространиться трактирщику, решительно шагнул через порог комнаты.

— Хорошо, хорошо,— проговорил он,— мы берем эту комнату.

Через несколько минут комната приняла жилой вид и, как всегда это бывает, сейчас же получила какой-то неуловимый отпечаток лиц, остановившихся в ней.

Принесли вьюки с лошадей, потребовали у трактирщика вина и ужин. Солдаты достали таз и кувшин с водою для умыванья. Хлопотал один Чагин. Лысков, как вошел,

так опустился у окна и сидел, следя безучастным взглядом за хлопотами приятеля. Он не хотел ни умыться, ни переодеться и только, чтобы не обидеть Чагина, придвинулся к столу, накрытому уже скатертью и уставленному тарелками и стаканами. Однако, когда принесли шипевшую на сковороде яичницу и блюдо говядины с луковым соусом, Лысков отказался от того и другого. Он, точно не замечая, что делает, налил лишь себе полный стакан вина, выпил его залпом и снова сейчас же наполнил опять.

— А какая разница тут и у нас! — заговорил Чагин, принимаясь за ужин.— Ведь вот после Нарвы совсем все другое пошло. Как же можно сравнить их трактиры с нашими постоялыми дворами: и чисто, и все достать можно. Да отчего ты не ешь? Право, эта яичница очень хороша.

Но Лысков не отвечал: он выпил свой второй стакан, подумал и налил третий.

Чагин никогда не видал, чтобы Лысков столько пил и, главное, пил с таким тупым, упорным озлоблением, как делал это теперь.

Это необычное питье, да и вообще расположение духа Лыскова после Нарвы, потом нежелание останавливаться в комнате, в которой они сидели теперь, весьма естественно давали понять Чагину, что у его приятеля, по-видимому, знакомого довольно хорошо с этими местами, есть здесь какие-то воспоминания, по всей вероятности неприятные, которые теперь поднялись в нем и проснулись.

Чагин знал, что самое лучшее в таких случаях оставить человека в покое, и так и сделал.

X

КОМНАТА «КОРМЫ ВОЗДУШНОГО КОРАБЛЯ»

Лысков один выпил около двух с половиною бутылок. Чагин, давно уже насытившийся, отодвинулся от стола, облокотившись на спинку стула, и усталыми, слипающимися глазами смотрел пред собою, ощущая одно лишь желание поскорее уснуть. Но он медлил встать из-за стола, потому что ему лень было двинуться, и еще потому, что Лысков, как казалось, и не думал о сне. Он сидел, подперев щеку кулаком, и, рассеянно-молчаливый в начале ужина, стал теперь разговорчивее и рассказывал о походе, сделанном им с полком. Язык его слегка заплетался, но речь была все-таки довольно связна.

Чагин слушал, и его удивляло лишь одно — отчего Лысков, всегда такой спокойный, ровный, редко произносивший одно слово громче другого, теперь вдруг, говоря о походе, о котором прежде всегда вспоминал с удовольствием, сделался неумолимо едким и рассказывал, приправляя свою речь злобно-насмешливыми выходками против всех и вся, как будто презирал и ненавидел все человечество. Это было в особенности странно слушать Чагину, готовому, благодаря своей счастливой любви, наоборот, везде видеть только милых и хороших людей.

«И чего он, право? — думал он про Лыскова.— Ведь на самом деле он славный и все хорошие... вот только Пирквиц... А ведь он должен уже встретиться с Демпоновским».

— А что, как ты думаешь,— перебил он совершенно непоследовательно в отношении рассказа Лыскова,— как ты думаешь, Пирквиц устроился или нет? Может быть, мы сидим тут, пьем, а он, может быть, получил уже бумаги и везет, торжествующий, их в Петербург.

Лысков прищурился и улыбнулся.

— Не воробьиному носу пшеницу клевать,— сказал он.

— Ну, однако, ведь все может случиться!

— Да, да... все может случиться,— задумчиво повторил Лысков.— Ну, что ж, может быть, он и везет теперь бумаги в Петербург.

— Положим, тебе все равно,— начал опять Чагин, вдруг оживляясь,— но мне это было бы по многим причинам неприятно, чрезвычайно неприятно.

— По многим причинам?

— Да. От этой командировки зависит все счастье моей жизни.

— О-о! — воскликнул Лысков.— Этим много сказано.

— Нет, не много. Для меня это очень-очень важно.

— Что ж, опять мундира нового нет или что-нибудь в этом роде? — улыбнулся Лысков.

— Нет, тут не в мундире дело,— заговорил Чагин, глаза которого вспыхнули и сонливость как рукой сняло.

Редкий человек имел способность так быстро и неожиданно воодушевляться, как Чагин, и за это-то воодушевление особенно и любил его Лысков.

— Ты знаешь,— продолжал, понижая голос, Чагин с особенною серьезностью влюбленных молодых людей,— ты знаешь, я теперь так счастлив... я люблю; ну, и кажется...

— Тебя тоже любят.

Чагин кивнул головой с восторженной улыбкой.

— Если бы ты знал, она — прелесть как хороша!

— Соня Арсеньева?

— Ты почем знаешь? — невольно вырвалось у Чагина.

— Ну, как же не знать, ты постоянно с нею!.. Неужели ты думал от меня-то скрыть?

— Нет, я не хотел скрывать. Но, понимаешь, об этом говорить как-то неловко, совсем неловко. Ну, вот, теперь так к слову пришлось... и потом в дороге, при совсем необыкновенных условиях. А то как же я приду вдруг и скажу?

— К тому же оно и без того было ясно,— вставил Лысков.

— Неужели ясно? Ты заметил,— значит, и другие?

— Я заметил, другие — не знаю. Но дело не в этом. Я тебе советую — брось!

— То есть, что «брось»? как «брось»? — почти с ужасом спросил Чагин.

— А вот всю эту историю и любовь и прочее... глупость одна,— пустое.

— То есть как пустое?

— А так: всем это нам кажется, когда вот влюблены, что и счастливы мы, что и недостойны «ее» и что лучше «ее» нет никого. А посмотришь, все вздор выходит: и «она» так же, как все, и все это — одно воображение.

— Это оттого, что ты никогда не любил! — с уверенностью решил Чагин.

— Нет, мой друг, именно потому, что я говорю по опыту. Кто из нас не прошел через это? Все прошли...

— И ты прошел... Вот как?! — удивился Чагин. Он удивился потому, что представление о влюбленности и о Лыскове казалось для него совершенно противоположным.— Нет, этого не может быть,— добавил он.

— Отчего ж не может быть? И не так давно и очень недавно даже все это было вот здесь, в этой самой комнате. А между тем как кажется все уж отдаленным — будто много-много времени прошло.

— Неужели в этой комнате? — переспросил Чагин, чтобы вызвать этим Лыскова на дальнейший рассказ.

— Да, это было здесь, в этом трактире с его нелепым названием,— сказал Лысков помолчав.— Вот видишь ли...

Началось это, когда мы возвращались походом через Польшу. Полк наш был уже на мирном положении, мы шли домой. Я исполнял тогда временно обязанности квартирмейстера. Раз въезжаю в местечко; это — не город, не деревня,— так что-то среднее в Польше; евреев пропасть. Большинство разбежалось при виде нас. Я послал людей разузнать местность, а сам стал объезжать лучшие дома, чтобы выбрать помещение для полкового командира и офицеров. Только в одном доме застаю удивительную картину. Представь себе, молоденькая девушка в восточном костюме сидит одна, в углу, поджавши ноги. Пред нею мертвая старуха, мать ее, как после оказалось. Турчанки они были. Зачем, как они попали сюда — никто не знал. Хозяева дома — поляки — рассказывали, что якобы остановились они проездом в их местечке; тут старуха заболела, промучалась недели три и умерла в тот день, когда я приехал.

Девушку звали Фатьмой, ее мать — Алиме; вот все, что было известно про них. Как ни старался я расспрашивать эту Фатьму, как ласково ни заговаривал с нею — она упорно молчала,— оттого ли, что действительно не понимала, что ей говорили, или смерть матери так на нее подействовала и она боялась меня.

Когда пришли наши, я рассказал про турчанку. Заинтересовались. Сначала хотели всем гуртом к ней идти, но потом решили, что это ее окончательно испугает. Было решено, чтобы пошли я и старик Смотрев. Знаешь Смотрева? Он бывал в Турции, в сороковом туда ходил, он умеет по-ихнему.

Приходим. Фатьма сидит все в том же положении: лицо наполовину закрыто, только два глаза исподлобья смотрят. Мы поклонились. Она словно и не видит нас. Только как заговорил Смотрев на ее языке — она так и вздрогнула; повела плечами, хотела ответить, да как заплачет. После слез ей стало как будто легче.

Оказалось, она — дочь знатного, как она говорила, паши. И действительно породы в ней было много: стройная, ножка маленькая, пальцы на руках тонкие, сквозные, а глаза, как у газели. Ты никогда не видал, как газель смотрит? Ну, вот случится — поймешь тогда.

Про отца она сказала только, что нет его. Когда Смотрев спросил про родных, она ответила, что и их нет. Была у нее одна «родная» — мать, но и той не стало... и опять слезы.

Главное, что ее мучило,— это как мать похоронить. Мало того, что некому было магометанский обряд над нею совершить, но не на что ей было даже саван купить. Не только деньги, какие были у них, истрачены во время болезни матери, но и все ее ценные вещи взяты хозяевами в уплату долга за квартиру и стол.

Когда мне перевел это Смотрев, я попросил сказать ей, чтобы насчет этого она, конечно, не беспокоилась. Уж с самого нашего прихода и в особенности, как один из нас заговорил с Фатьмой на ее языке, у хозяев произошло некоторое замешательство. Видно было, что что-то неладно. Я вышел в комнату хозяина и потребовал, чтобы он возвратил вещи. Он исполнил это беспрекословно, поняв, должно быть, что всякое сопротивление только испортит дело, и объяснил, что он-де эти вещи взял только на сохранение, чтобы кто-нибудь не обобрал молодой девушки. Я сделал вид, что поверил ему. Стоимости вещей хватило бы не на несколько недель в захолустье, а на несколько лет жизни в столице. Я велел передать вещи самой Фатьме.

Она стала говорить, что ей не надо ничего, что хозяева — добрые люди и чтобы их не обижали из-за нее, но и успокоилась лишь тогда, когда я при ней заплатил хозяину все, что он потребовал по счету.

Этого она не ожидала и спросила, кто мы такие? Узнав, что мы русские, она ответила только: «Отец мой всегда уважал русских!» После этого она стала спокойнее.

Старуху Алиме мы похоронили. Начали спрашивать Фатьму, что она намерена дальше делать. Она ничего не знала; даже куда они ехали — ей не было известно. Когда ей предложили отправиться на родину, она с ужасом стала отнекиваться. Про отца она повторяла, что нет его. И больше ничего от нее нельзя было добиться.

Думали мы, думали, что делать с красавицей-турчанкой? Решили предложить ей остаться с нами до тех пор, пока она пожелает, а мы, офицеры, будем беречь ее, как сестру родную.

Долго она расспрашивала, кто мы собственно такие? Русские, но все-таки вольные мы люди или служим полякам, или завоевали их? Как ей ни объясняли, что мы служим только своему государю и что ходили воевать не с поляками, а с другими, с немцами, она долго не могла понять. Наконец она увидела весь наш полк в строю, и когда ей сказали, что все эти люди берут ее под свою защиту, вдруг почувствовала доверие к нам.

С этих пор она осталась у нас. Чаще других с ней виделся Смотрев. Он учил ее по-русски говорить. Мало-помалу она перестала дичиться. Впрочем, ее старались не беспокоить. Так прошли всю Польшу.

Во время одной стоянки у меня открылась рана, должно быть, плохо залеченная. Я слег. Узнав о моей болезни, неожиданно явилась Фатьма, ухаживать за мной...

Лысков приостановился и глубоко вздохнул.

— Ну? — произнес Чагин.

— Ну, что ж... тут как тебе сказать? Когда я выздоровел, мне она с первого же раза понравилась... глаза одни чего стоили. Ну, когда я выздоровел, мы, что называется, оказались влюбленными. Я был счастлив не менее, чем ты теперь, и говорил, и думал такие же глупости, как ты...

— Отчего же глупости? — не утерпел Чагин.

— Разумеется. Иначе и назвать нельзя. Считал я себя счастливейшим человеком и все такое и жениться собирался по приходе в Петербург. И знаешь, чем это кончилось? Эта самая Фатьма, произносившая клятвы в верности мне — да какие, брат, клятвы: по-восточному — и луна померкни, и земля расступись. Так эта самая Фатьма в один прекрасный вечер сбежала с каким-то мужчиной. Вот тебе и вся история!

— Быть не может! — удивился Чагин.

— Да уж верно говорю. Я тотчас же взял отпуск и пустился за ними. Зло меня взяло. Я попал на их след и гнался за ними по пятам вплоть до этого вот трактира. Они, вероятно, в Россию направлялись. И догнал их здесь. То есть я узнал, что они были здесь на другой день утром, потому что приехал поздно сюда, а они на рассвете выехали дальше; она, должно быть, через людей узнала, что я здесь, и оставила мне молитвенник, который я подарил ей (единственный мой подарок!), чтобы она училась читать по нем. На переплете было написано печатными буквами (она не умела иначе): «Не ищи меня — я тебя обманула».

XI

МОЛИТВЕННИК ФАТЬМЫ

Чагин выслушал рассказ приятеля с тою особенною, слегка как будто тщеславною улыбкою, с которою слушают счастливые люди рассказы несчастливых. Измена Фатьмы

и история обманутой любви Лыскова ни в чем не разубедили его. Ну что ж из того, что какая-то там Фатьма изменила, что Лыскову пришлось разочароваться? Да разве это может касаться его, Чагина? Разве Соня Арсеньева, эта прелесть, эта из ряда вон выходящая девушка, непохожая на обыкновенных смертных, может быть приравнена к этим обыкновенным смертным? Да, если бы все девушки в мире оказались недостойными — это значило бы лишь, что они — земные, простые существа, разумеется, неспособные стать рядом с тем высшим, прекрасным созданием, каким была Соня.

Так думал Чагин, потому что все влюбленные думают так, но вслух он не сказал этого Лыскову. Он не сказал этого потому, что ему все-таки хотелось еще верить в любовь своего приятеля. Он так бы желал бы видеть его счастливым!

К тому же, несмотря на то, что Лысков называл Фатьму, говоря о ней, «э т о ю Фатьмой» и вообще старался казаться равнодушным, видно было именно вследствие этого старания, что его чувство к молодой турчанке далеко не угасло в нем.

«Но неужели она так-таки грубо, ни с того, ни с сего, изменила ему? — рассуждал Чагин.— Или она раньше лгала, лгала в любви? Но разве можно лгать в этом? Нет, тут что-нибудь да не так!»

— Этот молитвенник у тебя цел? — спросил он наконец у Лыскова.

Тот ответил, что когда получил молитвенник и прочел сделанную надпись, то последняя так подействовала на него, что он сунул молитвенник в ящик комода и больше не открывал ящика до своего отъезда.

— Значит, он остался здесь? — спросил опять Чагин.— Ведь ты говоришь, что в этой комнате останавливался тогда?

— Вероятно, остался, потому что я не трогал его больше. Верно, кто-нибудь нашел его потом! — добавил Лысков с холодною, горькою улыбкою.

— А, может быть, сам хозяин трактира взял его и спрятал, и он до сих пор у него?

— Может быть. Но тебе-то зачем это? Не все ли равно?

— Нет, не все равно. Вот видишь ли, мне хотелось бы взглянуть. Мне все кажется, что тут что-нибудь да не так: не может быть этого!

Лысков вдруг поднял голову и пристально взглянул на приятеля.

— То есть чего не может быть? — проговорил он.— Я же тебе говорю, там ясно было написано: «Не ищи меня — я тебя обманула»; кажется, определеннее этого быть ничего не может.

— Да, но уверен ли ты, что это она сама писала?

На один миг, словно молнией, осветилось лицо Лыскова: в нем промелькнула надежда; но это был один только миг.

— Кому ж было писать? — сейчас же сказал он, снова опуская голову.— Нет, и говорить об этом не стоит больше.

Но Чагин чувствовал, что, напротив, его другу хотелось говорить именно об этом, и промелькнувшая надежда оставила в его душе след. И, видя, что тот сам не прочь еще раз перебрать все, что могло бы служить в оправдание любимой им девушки, он постарался придумать, было, такое оправдание. Однако, несмотря на полное напряжение всех умственных его способностей, из его старания ничего не вышло.

Тогда он все-таки решился хоть попытаться достать молитвенник и, выйдя под случайным предлогом из комнаты, направился вниз к хозяину.

«Вот если молитвенник сохранился у хозяина, тогда все устроится к лучшему и польские бумаги мы получим!» — пришло ему почему-то в голову.

Хозяин оказался очень разговорчивым старым немцем. Чагин, хоть плохо, но все-таки настолько говорил по-немецки, что мог спросить у него, хорошо ли помнит он то время, когда останавливался у него Лысков, и затем в свою очередь понять объяснения немца, что тот отлично помнит это время, потому что «Herr fon Liskoff [1]» внезапно заболел тогда у него и долго пролежал (эту подробность Лысков опустил в своем рассказе), так долго пролежал, что счет на него достиг очень большой суммы и нужно было бояться, что ему нечем будет заплатить.

— Ну, да это неинтересно! — поспешил перебить Ча-

---

[1] Господин Лысков.

гин.— Но, когда он уехал, не помните ли вы, не оставил он в комоде книги какой-нибудь?

— Оставил, оставил! — радостно подхватил немец.— О, в моем доме ничего не пропадет, ничего! И я совсем забыл об этой книге сначала, но, когда вы приехали, я говорю моей жене: «Знаешь, Амалия, к нам опять приехал тот благородный господин, русский офицер, который около двух с половиной лет тому назад так долго болел у нас и мы боялись, заплатит ли он нам».

— Ну, да, а книга-то? — опять перебил Чагин.

— Тогда жена моя Амалия и говорит: «Послушай, Карл, у меня цела книга, которую этот благородный господин оставил в комоде». И тогда я вспомнил об этой книге и хотел завтра сообщить о ней. Но только господин фон Тисков, кажется, насколько я заметил, не любит, когда ему говорят, что он стоял у нас,— добавил немец, понижая голос и перевирая уж фамилию Лысков в Тисков.

Чагин попросил хозяина показать книгу.

Это был обыкновенный молитвенник московского издания, в кожаном переплете. Отвернув верхнюю крышку переплета, Чагин действительно увидел на обратной стороне ее надпись, про которую говорил Лысков. Надпись была слишком ясна. Сомнение казалось неуместно.

Чагин повертел в нерешимости книгу в руках. И вдруг, когда он хотел уже вернуть эту книгу обратно немцу, с тем чтобы тот уничтожил ее, он случайно развернул ее на том месте, где была заложена тоненькая-тоненькая тесемочка, какие делали в то время для заметок.

На развернувшейся странице одно место поразило Чагина. Под одним из слов текста (это слово было «терпение») бумага оказалась зашершавленной, точно слово было подчеркнуто и потом черта стерта.

Чагин невольно посмотрел страницу на свет. И что же? Более светлые, сквозящие места, то есть, очевидно, стертые, выступили не только под словом «терпение», но и еще под несколькими. Если можно было прочесть отмеченные таким образом слова, то выходило:

«Терпение, скоро, твое, твоя, любит, всегда, будем, вины, нет».

Положение сразу круто изменялось. Для Чагина по крайней мере сейчас же все стало ясно: кто бы ни была эта таинственная Фатьма, но, очевидно, она любила Лыскова. Если она уехала, бежала, что ли, то сделала это, видимо, в силу совершенно других причин, а не измены.

Она, узнав, что Лысков вслед за нею явился в придорожном трактире, оставила ему его подарок с подчеркнутыми краткими, но тем не менее красноречивыми словами. Вероятно, книга была перехвачена, подскоблена и затем сделана надпись на переплете. Так представилось дело Чагину в первую минуту.

Но сейчас же вслед за этим явилось у него другое соображение: а что, если эта Фатьма сначала решилась продолжать свой обман и ради обмана подчеркнула милые слова, а потом ее взяло раскаяние, и она, стерев свое подчеркивание, сама сделала надпись, выразив ею правду?

Если бы можно было узнать хоть какие-нибудь подробности о том, как был передан молитвенник Лыскову!

И Чагин, словно его собственное благополучие зависело от этого, начал расспрашивать у немца, не помнил ли он, как и когда была передана эта книга Лыскову.

Немец все помнил. О том, собственно, эта ли книга была или другая — он не помнил, но мог ручаться наверное за то, что какую-то книгу просила его передать господину Лыскову девушка в восточном одеянии. У него именно потому врезались в памяти все эти обстоятельства, что девушка была не обыкновенная, а в восточном одеянии. Но после того, как она дала книгу для передачи господину Лыскову, к нему, хозяину, приходил ехавший с девушкою господин и спрашивал, что было передано ему. Когда он узнал, что это была книга, то просил показать ему и унес ее, а потом принес и велел непременно передать господину Лыскову, как только они уедут, а уехали они очень быстро, рано и поспешно. Вот все, что мог рассказать трактирщик, но этого было более чем довольно.

XII

ДВЕ СЛУЖБЫ

На другой день, рано утром, Лысков разбудил Чагина, крепко и сладко спавшего безмятежным, здоровым сном после дороги.

— Э-э, брат, ты уже проснулся, встал и оделся? — проговорил Чагин, с трудом раскрывая слипавшиеся глаза и видя Лыскова действительно одетым.

— Я вовсе не раздевался,— пояснил тот.— Да и спалось плохо: боялся, как бы не упустить нашего курьера, если он подъедет. Ну, вставай, пора!

Несмотря на то, что Лысков говорил, что «ему спалось плохо», Чагин, очнувшись от сна, сейчас же увидел, что он не только не спал всю ночь, но и не пробовал ложиться.

Когда Чагин пришел вчера к нему с молитвенником Фатьмы, показал выскобленные места, передал полученные от хозяина сведения, нельзя было не заметить, как подействовало все это на Лыскова. Впрочем, внешним образом он ничем не выразил обуявшего его волнения — такова была уж у него натура. Но именно, чем сдержаннее человек, чем менее высказывает он то, что происходит у него на душе, тем сильнее чувствует он и тем сильнее действует на него нравственное потрясение.

Лысков не стал приходить в отчаяние, пенять на себя, зачем не пришло ему в голову тогда же просмотреть внимательней молитвенник; он ничего не сказал, только нахмурился, и лицо его дернулось несколько раз невольной судорогой, которую он уже не в силах был сдержать.

Видя, что происходит с ним, Чагин не знал, как лучше было сделать — сказать ли Лыскову всю правду, то есть поступить так, как он поступил, или скрыть и оставить его в заблуждении, что турчанка изменила ему. Правда, полученная теперь уверенность в любви Фатьмы служила утешением прежнему горю, но это горе было именно прежнее, выболевшее и пережитое, а теперь явилось новое, потому что приходилось убедиться в потере не только любимой, но и л ю б я щ е й женщины. Рассказав все Лыскову, Чагин видел, что дальше он ничего не мог сделать. Ни помочь, ни утешить нельзя было. В самом деле — даже говорить, что можно искать Фатьму, казалось смешно. Где она теперь, что она? Ответа на этот вопрос невозможно было найти.

Лысков и не хотел, и не ждал утешения. Чагин видел, что он желал лишь одного, чтобы оставили его в покое, и тогда он сам в себе переработает поднявшуюся в нем душевную тревогу.

Так и вышло. К утру, не сомкнув глаз в продолжение ночи, Лысков пришел — хотя, может быть, только наружно, кажущимся образом — в свое обыкновенное ровное настроение. По крайней мере теперь ничего нельзя было заметить, что происходит у него внутри. Он по-видимому спокойно будил Чагина и говорил с ним о деле службы, по которому они ехали теперь, словно боясь заговорить о чем-нибудь другом, чтобы это другое как-нибудь случайно не затронуло большей в нем раны.

Мы всегда как будто получаем некоторое превосходство над человеком, когда узнаем в его прошлом какую-нибудь особенно близкую ему тайну, и Чагин невольно чувствовал теперь это превосходство над Лысковым, как тот ни старался делать вид, что, собственно, не произошло ничего особенного и все остается по-прежнему.

Лысков казался теперь очень занят польским курьером и старался думать исключительно об этом деле. Он рассчитывал, когда может поспеть Демпоновский сюда, и по его расчету у него и Чагина оставалось довольно еще времени, чтобы дать лошадям отдохнуть хорошенько.

— Я был на конюшне,— сказал он.— Лошади довольно свежи, но все-таки лучше, если они постоят еще. И твоя, и моя ели очень исправно.

О Пирквице не было речи, как будто его вовсе не существовало. Чагину так хотелось самому завладеть польскими бумагами, что он давно уже убедил себя, что никто и не завладеет ими, кроме него.

— Так ты видел лошадей? Это очень хорошо,— ответил он Лыскову, чтобы ответить что-нибудь.— Но как же все-таки ты думаешь поступить? Ну, приедет сюда Демпоновский, ну, хорошо, а дальше что?

— Дальше? Я говорю тебе, нужно ждать случая: в таких делах только случай и может помочь.

— Однако все же нужно сговориться, составить хоть какой-нибудь план, самое важное-то. Ну, как же? Неужели у него придется вынуть из сумки?

— Это, братец, скверно будет; на воровство похоже.

— Я и говорю... Я тоже думаю. Но как же иначе?

Лысков задумался.

— Э... э... все равно, как-нибудь да устроим,— махнул он рукою, вдруг раздражаясь, но вовсе не потому, что не знал, как поступит с Демпоновским, а потому, что его мысли снова невольно свернули на то, о чем ему хотелось совсем забыть.

Чагин, чтобы скрыть появившуюся у него на губах улыбку, отвернулся к окну.

Утро было солнечное, ясное. Из окна виднелось широкое пространство, покрытое обросшими лесом холмами, между которыми вилась, пробегавшая под окнами, дорога. Чагин невольно проследил глазами эту дорогу, по которой они ехали вчера, и мысленно перенесся в Петербург, где была его Соня Арсеньева. Но в это время его развлекла пыль, поднятая на дороге приближавшимся к трактиру экипажем. Вот он придвигается ближе... ближе. Можно

уже различить пару сытых лошадок, бодро семенящих шибкою рысью. Кучер-латыш, ни фигурою, ни ухватками не похожий на русских ямщиков, машет длинным кнутом. Еще немножко — и экипаж оказывается бричкой, в которой сидит кто-то.

«Это — Демпоновский!» — отдалось у Чагина, словно толкнул его кто.

— Посмотри,— позвал он Лыскова,— едет кто-то. Уж не Демпоновский ли?

— Нет, не может быть. Ему рано еще приехать,— проговорил Лысков, тоже подойдя к окну.

— Ну, как же нет,— радостно перебил Чагин,— посмотри!

Бричка приблизилась настолько, что можно было узнать сидевшего в ней.

— В самом деле он! — решил Лысков.— Это — нехорошо.

— Как нехорошо? Напротив, это значит, что Пирквиц ничего не мог сделать и бумаг не достал! — воскликнул Чагин и только теперь, при виде подъезжавшего Демпоновского, по вдруг охватившей его радости, понял, что он все время не переставал бояться в глубине души, что Пирквиц сумеет устроиться.

— Это значит,— пояснил в свою очередь Лысков, уже тоном своего обычного спокойствия,— что Демпоновский едет на переменных, заготовленных для него, лошадях и что, несмотря на то, что мы верхом, мы его не догоним потом, если дело не обделается сегодня. Ну, а это почти невозможно... так сразу...

— Послушай, Лысков! Я его задушу и отберу бумаги! — проговорил совершенно неожиданно сам для себя Чагин.

Глаза его блестели, и сам он испытывал то необъяснимое сладостное волнение, которое чувствуешь на охоте, при виде приближающегося зверя.

— Не говори глупостей! Теперь нужно полное хладнокровие. Слушай! От этого трактира идут две дороги: та, которая направо,— это главный тракт; по нем всегда ездят, вероятно, и Демпоновский поедет тут. Дальше, налево,— малая дорога, которая сходится через тридцать верст снова с трактом. Последний делает в этом месте заворот и верст на пятнадцать длиннее. Ну, так вот — садись сейчас на лошадь и отправляйся по короткой дороге к такому же, как этот, трактиру. Он называется

«Тихая долина»,— будешь помнить? — и стоит также вот на распутье, где тракт сходится снова с дорогой, по которой ты поедешь. Ты выиграешь довольно времени, чтобы поспеть задолго до Демпоновского. И если он от меня уйдет отсюда, тогда будет твоя очередь. Понял?

— Понял,— ответил Чагин, которому хотелось остаться.

— Ну, так с Богом! Только выйди отсюда так, чтобы Демпоновский не видел тебя, через заднее крыльцо. Захарыча с вещами оставь здесь, а то, пока он соберется, времени много уйдет.

С улицы послышался стук подкатившей к крыльцу брички.

— Ну, вот он! Действуй! — проговорил Лысков и чуть не насильно вытолкнул Чагина из комнаты.

XIII

ЛАНДСКНЕХТ

Едва успел удалиться Чагин, как на крыльце пан Демпоновский поднял шум. Сначала он требовал трактирщика, потом, когда тот явился, стал настаивать на том, чтобы ему отвели отдельную комнату, потому что он ни за что не хочет идти в общий зал, где может быть всякий встречный. Трактирщик почтительно докладывал ему, что последняя свободная комната, к сожалению, была занята еще вчера с вечера, и, при всем своем желании, он не может отвести отдельное помещение. Но, чем почтительнее был трактирщик, тем более горячился Демпоновский.

Лысков поднял окно и, облокотившись на подоконник, высунулся, с самым равнодушным видом следя за происходящею внизу на крыльце сценою.

Трактирщик сильно жестикулировал и беспрестанно ворочал головою, как бы ища свидетелей своей невинности пред паном Демпоновским. Не найдя, вероятно, никого достойным свидетельства вокруг себя, немец поднял глаза, вероятно, чтобы призвать небеса для своей защиты, и увидел выставившегося в окно Лыскова.

— Вот что! — обрадовался тогда он.— Может быть, кто-нибудь из господ постояльцев примет вас к себе. Вот, господин, благородный русский офицер,— и он указал кверху, на Лыскова.

Демпоновский поднял в свою очередь голову, и не то насмешка, не то удивление выразилось на его лице, когда он увидел и узнал Лыскова.

«Еще один! — подумал он.— Ну, однако, на меня серьезная охота!»

Тем не менее он очень радостно, даже более, чем это было необходимо, закивал Лыскову, как будто был наверху счастья встретиться с ним.

Лысков ответил на поклоны Демпоновского с таким видом, как будто вовсе не был рад увидеть здесь кого-нибудь из знакомых.

«Шутишь! — опять подумал поляк.— Сейчас станешь звать к себе в комнату! »

— Ну, вот,— продолжал между тем трактирщик,— кажется, господа и знакомы к тому же. Ну, вот и отлично! — и он обратился к Лыскову с просьбою пустить к себе нового приезжего.

— Но я не один,— ответил, не изменяя своему спокойствию, Лысков.— Я бы с удовольствием, но, к сожалению, не могу служить...

На этот раз Демпоновский прямо уже с удивлением поглядел наверх. Он никак не ожидал, что Лысков станет отказываться, и решил ни за что не идти к нему, если бы тот предложил ему воспользоваться комнатой; но на случай отказа он не был готов и потому не знал, что сказать.

Для Лыскова более ничего не было нужно. Ему было важно узнать — как повлияла на Демпоновского встреча с Пирквицем, то есть действовал ли Пирквиц настолько неумело, что дал заметить польскому курьеру цель своей встречи с ним, или же поляк ничего не подозревает. Замешательство поляка служило признаком его подозрений.

«Пирквиц — совсем дурак!» — решил Лысков.

— Но ваш товарищ,— заговорил опять трактирщик, обращаясь к нему,— только что уехал; я видел, как он сел на лошадь.

— Он вернется! — ответил Лысков.

— Нет, он сказал, что по счету следует получить с вас,— значит, не вернется. Вы можете оказать любезность вашему знакомому. И потом ведь на самое короткое время.

— Мой знакомый,— перебил Лысков,— извинит меня и поймет, что если бы я мог, я с удовольствием бы... Но, право, не могу...— и, поклонившись с любезной улыбкой в сторону Демпоновского, он опустил окно.

Он знал, что единственно отказ заставит поляка быть настойчивым и убедит его не бояться встречи с русским офицером, и расчет его сейчас же оправдался.

Трактирщик не замедлил явиться к нему с просьбою уже от самого пана Демпоновского: позволить ему не остановиться в его комнате, а только переодеться и умыться, чтобы затем ехать дальше.

Этого и ждал Лысков и поспешил дать свое согласие.

Демпоновский, казалось, несколько разуверился в намерениях Лыскова, но все-таки, войдя, начал разговор с того, что, по его мнению, довольно странно, как это Лысков, которого он видел только третьего дня на балу, вдруг очутился здесь в трактире, далеко от Петербурга.

— Отчего же странно? — ответил тот.— Я вас тоже видел на балу и тоже нахожу сегодня здесь, далеко от Петербурга, и вовсе не поражен этим. У всякого свои дела.

Но Демпоновский не успокоился и этим; он пожелал узнать, какое же дело могло привести сюда Лыскова.

Тот прищурился. Чем больше допытывался поляк, тем яснее становилось, как следовало держать себя с ним.

— Дело — любовное,— ответил он, не смущаясь.

— А, а! — засмеялся Демпоновский.— Кто щенстлив в амуре — не щенстлив в карты[1].

Этот смех поляка и, главное, то, что сказал он, вдруг больно кольнуло Лыскова. Он отвернулся и замолчал.

Когда Демпоновский вымылся — ему принесли завтракать. Он пригласил Лыскова, но тот отказался.

Вообще, к вящему спокойствию поляка, этот офицер казался не в духе и не выказывал ни малейшего желания заводить беседу.

— Вот что разве,— вдруг сказал он, когда Демпоновский, поев и выпив вина, пришел в благодушное состояние насытившегося после голода человека,— вот что: не попробовать ли нам счастья,— и он, подмигнув, жестом показал, как мечут карты.

В течение злополучного вечера у Дрезденши, когда Лысков проиграл Демпоновскому, он не мог не заметить его страсти к игре.

Поляк поджал губы. Соблазн был слишком велик.

«А что — может быть, опять повезет!» — мелькнуло у него, и он проговорил вслух:

— Это, значит,— реванш?

— У меня карты с собою есть,— ответил на это Лысков и действительно достал карты.

При виде их Демпоновский не вытерпел окончательно, и игра началась.

---

[1] Кто счастлив в любви — несчастлив в картах.

XIV
ЗАМОК БАРОНА КНАФТБУРГА

Чем дальше ехал Чагин по дороге, указанной ему Лысковым, тем она становилась пустыннее и неприглядыее. Лес, сначала попадавшийся островками с прогалинами, мало-помалу сделался гуще; то и дело приходилось спускаться под гору и вновь подыматься, переправляясь вброд через ручьи, на которых не было и признака моста. Но Чагин ехал в первое время скорее с удовольствием, хотя ему и хотелось бы лучше начать действовать непосредственно и жаль было, что пришлось оставить с Демпоновским Лыскова.

Однако свежесть утра, молодость, здоровье и главное — сознание любви и счастья делали свое, и Чагин с застывшею на губах блаженною улыбкою, весело поглядывая по сторонам, подвигался вперед, не обращая внимания на пустынность местности.

Добрая лошадь шла бодро, то есть, вернее, Чагину казалось только, что она идет бодро и что ей так же очень хорошо и приятно, как и ему, но на самом деле, сделав несколько верст по отвратительной дороге, она, вероятно не отдохнув после вчерашнего перехода, вдруг потеряла эту свою напускную бодрость и, несмотря на понуждение, стала, притворяясь, прихрамывать и вяло, еле передвигала ногами.

Чагин напоил ее, переправляясь через один из ручьев, но и это мало помогло.

Заметив состояние лошади, он решил остановиться где-нибудь, тем более что порядочный конец пути был уже сделан.

Впрочем, выезжая Чагин не предполагал ехать все тридцать верст без отдыха, но, как на грех, до сих пор он не встретил мало-мальски сносного приюта, где бы можно было остановиться. Те немногие убогие лачужки под соломенными крышами, которые несколько раз попадались ему на пути, были до того невзрачны, что он не решался подъехать к ним. Народа почти не было видно, а если и попадался навстречу кто-нибудь, то пугливо глядел на русского офицера и ускорял шаг, боясь, чтобы его не остановили. С тех же пор, как погустел лес, и лачужки перестали попадаться.

Но вот деревья начали редеть, дорога пошла ровнее, и

Чагин снова выехал на открытое, холмистое место и к своему удовольствию увидел невдалеке внушительный, обнесенный каменною стеною замок.

«И кому пришла охота строиться здесь?» — подумал Чагин и повернул лошадь наперекоски прямо к замку, в сущности очень довольный тем, «кому пришла охота строиться здесь».

Замок казался довольно обширным и, судя по его старым, обросшим мохом, стенам, башням и бойницам, видимо, служил памятником давних времен. По мере приближения к нему Чагин, к своему удивлению, вместо того, чтобы легче понять расположение замка, все более и более терялся. Странно было, отчего тут, вблизи, очевидно, помещичьего жилья, не виднелось не только деревни, но ни одного домика, ни одной лачужки. Стены, выдвигавшиеся и ломившиеся неправильными углами, казалось, вовсе не имели ворот. Напрасно также Чагин оглядывался и искал наезженной или проложенной дороги, которая указала бы, куда ехать.

Наконец он набрел на след, похожий на дорогу и приведший его к воротам. Они были заперты.

Над аркою ворот на среднем камне был вырезан герб, изображавший голову козла, которая составляла со своими расходящимися в стороны рогами треугольник, опущенный вершиною вниз. Под гербом была лаконическая надпись: «Кнауфтбург».

Чагину пришлось довольно долго стучать, пока он добился какого-нибудь признака жизни по ту сторону ворот. Наконец чей-то грубый голос ответил ему, чтобы он проезжал мимо.

— Давно ли получают такой ответ здесь путешественники? — спросил вспыхнувший Чагин, но ему еще грубее ответили, что тут не гостиница и что для всяких проходимцев нет тут места.

Казалось, Чагин пустил бы в ход свои пистолеты, не будь между ним и говорившим преграды в виде толстых дубовых ворот; но в том положении, в котором находился он, оставалось лишь повернуть лошадь и уехать. И он, стараясь заглушить свою бессильную злобу невольно вырвавшейся у него бранью, повернул назад.

Лошадь нехотя поплелась шагом, Чагин не погонял ее. Ему не хотелось удаляться от места, где была нанесена ему обида, словно он ждал кого-нибудь, на ком можно было выместить эту обиду.

И, как нарочно, он вдруг увидел приближающегося к замку, ему навстречу, человека; тот шел с непокрытою головою и держал в руках небольшую книгу, которую читал на ходу.

«Это еще что?» — подумал Чагин, придержав лошадь и вглядываясь в совсем особенное, черное, длинное одеяние шедшего к нему навстречу.

Он дал ему приблизиться к себе и, когда тот подошел, окликнул его и спросил по-немецки, возвышая голос:

— Вы, вероятно, из замка?

Черный человек вздрогнул и, приостановившись, поднял голову от книги. Лицо его было поразительно странно, в нем не было ни кровинки; но эта бледность не имела ничего общего с той сквозною, жалкою бледностью, какая бывает у изнуренных болезнью или горем людей. Напротив, толстые, словно распухшие щеки свидетельствовали скорее об излишестве, чем об изнурении, и бледность их казалась какою-то иссиня-белою, какая бывает у трупа, готового уже разложиться. Чувственные, совсем синие губы сжимались отвратительною складкою. Но всего неприятнее были глаза. Один из них казался меньше другого. Взгляд беспокойный, блуждающий, отталкивающий поражал своими мутными, беспокойными зрачками, которые не могли как будто сразу остановиться на предмете, привлекшем их внимание.

— Вы из замка? — отрывисто переспросил еще раз Чагин, на которого неприятное лицо подействовало окончательно раздражающе.

Черный человек, сдвинув брови, ответил:

— Я — барон Кнафтбург, владетель замка.

Голос его, хриплый, глухой, был так же неприятен, как и все остальное.

— Так это вы даете приказание вашим людям обращаться так грубо с проезжими? — снова вспыхнул Чагин и тронул лошадь слегка вперед.

— Кто вы такой? — спросил в свою очередь барон, но бесстрашно и спокойно.

— Я русский офицер. Моя фамилия — князь Чагин.

Барон вдруг весь съежился, втянул голову в плечи, руки его опустились и книга упала из них. Все тело его в каждом суставе задрожало.

— Вы — военный, вы — русский! — изменившимся, не своим голосом, совсем перешедшим в хрипоту, проговорил он.— Так... так... Сегодня Марс в созвездии моем в вось-

мом доме... Так говорят звезды... Они никогда не ошибаются... Но только напрасно вы думаете, что я погибну нынче от вашей руки, напрасно вы явились сюда; на то и знания, чтобы предвидеть... Нет, вы ничего не сделаете со мною! — и он, вытянув вперед обе руки и соединив их, направил прямо против Чагина.— Слышите,— продолжал он,— вы не убьете меня, потому что я сейчас велю схватить вас... Я знаю, что иначе погибну от вас... Звезды никогда не ошибаются...

Первым впечатлением, которое произвели на Чагина эти нелепые слова, было удивление, смешанное с любопытством. Он никогда до сих пор не видел сумасшедших, но по бессвязной речи, по глазам и по всему выражению барона ясно было, что тот не в своем уме. И что-то жуткое, неприятное захватило сердце Чагина.

— Я вовсе не хочу убивать вас,— попробовал он, было, сказать барону.

Но тот выкатил глаза, отчего они стали у него действительно страшны, и тряхнул несколько раз руками, делая ими, очевидно, таинственный знак.

— Молчи!.. Молчи! — задыхаясь, повторял он и, отклонившись в сторону, вдруг кинулся к лошади Чагина, причем в руке его блеснуло острие выхваченного им из-за пояса ножа или кинжала.

Чагин выдернул пистолет и выстрелил в воздух.

XIV

В ЛЕСУ

Когда рассеялся дым выстрела, барона уже не было пред Чагиным. Последний оглянулся по направлению к замку и увидел барона, бегущего туда со всех ног, с смешно развевающимися волосами и одеждой. Кнафтбург бежал без оглядки, и Чагин с улыбкою глядел ему вслед и видел, как он добежал наконец до ворот замка, постучал, очевидно, условленным стуком и как отворилась и сейчас же захлопнулась небольшая, проделанная в воротах, дверца. После этого барон исчез и Чагин остался снова один среди поляны.

«И бывают же люди на свете! — пришло ему в голову.— Рассказать, так никто не поверит».

Он посмотрел еще раз назад все с тою же улыбкой и хотел двинуться дальше, но тут на глаза ему попалась брошенная Кнафтбургом книга.

Чем мог заниматься этот сумасшедший человек, какую книгу мог читать он, гуляя с непокрытой головой возле своего замка? Чагин не утерпел, чтобы не слезть с лошади и не поднять книги.

Она оказалась старинною, писанною на пергаменте по-латыни. Чагин, не знавший этого языка, ничего не мог разобрать тут. Он перелистал несколько страниц и вдруг наткнулся на сделанную на полях, очевидно недавно, свежими чернилами, заметку по-немецки:

«Клад зарыт всего на одну голову!»

«Так вот оно что! — сообразил Чагин.— Нет, это — положительно безумие. И как не обратят внимания!.. Впрочем, кому же здесь? Некому... Нужно будет дать знать в Риге или в Петербурге кому-нибудь».

И, бросив книгу на прежнее ее место, он вскочил на лошадь.

Он, давно, еще в детстве, слыхал, что клад, «зарытый на одну или несколько голов», значит, что для того, чтобы достать его, нужно было ни более, ни менее, как произвести на месте, где зарыт он, столько убийств, на сколько голов зарыт клад, и тогда он дастся.

«Да что же можно ожидать от сумасшедшего? — продолжал рассуждать Чагин.— Но неужели он и в самом деле задумал отыскивать какие-нибудь клады с убийством? А почем знать? Нет, верно, кто-нибудь есть при нем... За ним смотрят».

Но вскоре он заметил, что едет, не управляя лошадью, по ее произволу, и она уже завезла его в опушку леса и ему пришлось нагнуться, чтобы не задеть головою за сучья. И тут он только понял, что потерял дорогу и что нужно вернуться назад.

Он повернул. Из-за деревьев виднелся ему замок Кнафтбург. И вдруг Чагин увидел, что ворота его снова раскрылись и оттуда выехало несколько человек верхом. Впереди ясно выделялась черная фигура самого барона.

Очевидно, в замке его не считали сумасшедшим и не смотрели за ним, как предполагал Чагин, а, напротив, слушались его и повиновались ему. По крайней мере с того места, где стоял Чагин, видно было, как выехавший вперед барон отдавал приказания, кому куда ехать, и показывал рукою в разные стороны.

Через несколько секунд вся кучка всадников разъехалась по разным направлениям.

«Что ж, это — погоня за мной? — решил Чагин.— Как это глупо, ах, как это глупо все! Но что же делать? Ехать самому к ним и убедить их, что я никому не хотел зла? Но разве тут мыслимы убеждения? А силою мне не одолеть их».

По счастью, в сторону леса, где был Чагин, никто не направился. Он постарался припомнить расположение местности: откуда приехал он и где находилась дорога. Ему показалось, что, если повернуть направо лесом, можно будет выбраться на нее. Он слез с лошади и, взяв ее в повод, начал осторожно пробираться между деревьями.

Сначала он думал, что очень скоро должен попасть на открытое место, но, чем дальше шел, тем гуще становился лес и тем труднее, казалось, было держаться какого-нибудь определенного направления. Деревья были так похожи одно на другое, кустарник, наоборот, беспрестанно менял свой абрис, и трудно было узнать тот же самый куст с двух противоположных сторон. Все это ужасно путало и сбивало.

Вскоре Чагин потерял всякое представление о местности, сбился окончательно и пошел совсем наугад. Он начинал чувствовать голод; ноги устали, руки были исцарапаны ветками; лошадь с трудом пробиралась за ним и нужно было понукать ее.

Чагин выбивался из сил, но все-таки шел вследствие какого-то дикого, глупого упорства, вместо того чтобы отдохнуть и сообразить, что делать. Он только повторял себе, что все это глупо, и сердился на себя, зачем ему было сворачивать с дороги к проклятому замку.

Главное, его бесила мысль, что как бы все хорошо было, если б он не свернул: ведь он давно добрался бы до трактира и сидел бы себе в ожидании Демпоновского.

Ужас охватил Чагина при этом воспоминании. А что, как он уже опоздал? Что, как Демпоновский давно приехал, и Лысков, понадеясь на него, Чагина, спокоен теперь и думает, что все обстоит благополучно.

«И этого не мог сделать! — бесился на себя Чагин.— И с чего я наткнулся на этого барона?.. Ах, как глупо, глупо и глупо! »

И вдруг последний запас энергии оставил его.

Судя по поломанным сучьям и по примятому кустарнику, он попал на собственный свой след — ясно было, что он кружит на одном и том же месте. Этого только недоставало!

Чагин остановился в отчаянии. Голова его горела, в виски стучало, ноги подкашивались и отказывались повиноваться. Он бессильно опустился на землю.

Сесть на мягкий слой палого листа было очень приятно. Но эта чисто физическая приятность оказалась непродолжительною. Нужно было все-таки дать ответ на мучительный вопрос: «Что же делать?» — а ответа на него не находилось. Чагин стал думать, но мысли его путались и голова болела.

Между тем почувствовавшая свободу лошадь, потому что Чагин, сев, выпустил ее, подняла голову, раздула ноздри и оглянулась умными, словно понимающими положение, глазами. Чагин посмотрел на нее и вспомнил, что даже в метель, во время снега полагаются на чутье лошадей и они выводят всегда к жилью.

«И как этого не пришло мне в голову раньше?» — подумал он и, вскочив на ноги, остановился, ожидая, куда повернет сама лошадь, готовый следовать за нею.

Та точно действительно поняла его намерение и двинулась.

Через несколько времени они очутились в странной части леса. Деревья и здесь были похожи на прежние, но бросалась в глаза одна особенность: среди неправильно и беспорядочно растущих дерев определенно выделились два параллельных ряда берез, словно недавно еще была тут просека, обсаженная этими березами и заросшая затем поднявшимися, как бы по чьему-то мановению, капризно изломанными стволами, не саженного человеческою рукою леса. Чем-то сказочным, небывалым веяло от этого места.

Чагин огляделся, соображая, что он попал на очевидно забытую, давнишнюю, заброшенную аллею, и направился вдоль по ней.

Но в это время вдруг раздался свист, перекатился по лесу, ему ответил другой, кусты зашевелились, кто-то кинулся на Чагина, и он почувствовал сильный удар в голову, ошеломивший его.

XVI

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

Чагин очнулся, решительно не имея понятия, сколько прошло времени с тех пор, как он упал в лесу, ошеломленный неожиданным ударом. Теперь он лежал

навзничь в подвале, на соломе, с крепко связанными назад руками, неловко придавливая их тяжестью своего тела.

О том, что он лежит в подвале, он догадывался лишь по особенному, свойственному только подземелью, запаху и холоду сырости, но видеть ничего не мог, потому что кругом стоял мрак.

Первое усилие, которое он сделал, было, разумеется, высвободить руки, но они оказались слишком крепко прикрученными. Тогда Чагин попробовал повернуться на бок, но и это удалось ему не сразу. На боку было так же неловко, как и на спине, но зато можно было увидать небольшое отверстие справа, наверху в стене, почти под самым сводом. Это отверстие очевидно служило когда-то окном, но теперь казалось просто дырой, пробитой между полуразрушенными кирпичами. Через него глянуло темное небо с маленькой блестящей звездочкой. На дворе стояла ночь или во всяком случае поздний вечер.

Чагин никак не мог представить себе, что все то, что произошло, случилось именно с ним, Чагиным, который так недавно еще в новом мундире танцевал на балу у Трубецких со своей Соней и так безумно был счастлив. Неужели в самом деле это он сам лежит почему-то здесь, в темноте, со связанными руками? Как попал он сюда, зачем, кто его схватил и что с ним будут делать дальше? И неужели посмеют оставить его так?

«Ну, это им даром не пройдет... не пройдет! — стискивая зубы, думал Чагин, уверенный, что захвачен слугами барона и находится теперь в подвале его замка.— Не дадут же так пропасть офицеру... Я им скажу, что у меня есть поручение, что они могу ответить... Ну, хорошо же!.. посмотрим! — и он сделал новое усилие пошевелиться и, двинув случайно головой, почувствовал боль в шее.— Ну, хорошо же!» — снова повторил он себе. Наверху, на земле, послышался шум, словно от топота лошадиных подков; кто-то подъехал и соскочил. Через секунду послышались голоса.

Чагин старался прислушаться, но говорили на непонятном ему языке, судя по звукам,— латышском. Сначала один голос рассказывал что-то, потом другой переспросил несколько испуганно и удивленно, затем опять заговорил первый, будто оправдываясь и снова начиная рассказывать.

Чагин не сомневался, что это говорят про него. Так как сам он не мог теперь ни о ком думать, кроме себя, то невольно переносил это и на других людей, которые долж-

ны были, разумеется, заниматься его исключительным, из ряда вон выходящим, положением. Но говорили действительно вероятно про него. По крайней мере разговаривавшие голоса стали приближаться, и вслед за тем где-то сзади, в головах, послышались шаги, потом шорох отодвигаемой доски, и в подвал влез кто-то.

Чагин увидел наклонившуюся к нему бородатую, нечесаную голову и проговорил слова, вертевшиеся у него на языке:

— Вы ответите за то, что сделали со мною; я — русский офицер.

Несмотря на то, что эти слова были сказаны по-немецки, латыш не обратил на них внимания и обернувшись сказал что-то по-своему назад громко, тоном, по которому можно было догадаться, что он дает знать о том, что Чагин очнулся. Снаружи ответили в виде приказания. Тогда латыш на ломаном немецком языке сказал, чтобы Чагин встал, и помог ему сделать это.

Молодой офицер с трудом поднялся, и его вывели наверх, на воздух, по развалившейся лестнице.

Все еще воображая, что он имеет дело с людьми барона Кнафтбурга, Чагин думал, что очутился на дворе замка, но, когда его вывели, он сразу не мог ни понять, ни сообразить. Вместо стен и башен замка кругом стояли деревья леса.

Чагин оглянулся в недоумении, не сон ли это, не во сне ли видит он эти деревья, покачивающие свои, как темное кружево, ветки, чернеющие причудливым узором на фоне звездного неба, а внизу — развалины старого дома, превратившегося в груды кирпичей и мусора. Он стоял среди этих развалин, от которых, по-видимому, уцелели одни только подвалы, и чувствовал, как по-прежнему жала ему руки веревка; значит, он не грезил, и все это было наяву.

Бородатый латыш, выведший его наружу, был совершенно незнакомый, но зато другой, к которому его вывели, удивительно был похож на кого-то, кого знал Чагин. Казалось, вот только заговорит он, и Чагин узнает его сейчас.

И латыш действительно заговорил и назвал Чагина по имени.

— Паркула! — вырвалось у того в свою очередь.— Ты как сюда попал?

Но Паркула, которого, благодаря его отросшей бороде,

трудно было узнать, сразу, вместо ответа, бросился развязывать руки Чагина. Узлы веревок не поддавались. Паркула перерезал их и, путаясь и торопясь, все повторял только: «Пожалуйте, ваше высокоблагородие, пожалуйте сейчас... сюда... сюда...» Затем, указывая дорогу, он свел Чагина вниз, но не в прежний подвал, а в другой, совершенно непохожий на прежний.

Здесь было два окна со стеклами. Паркула тщательно закрыл их и зажег свечку; она была восковая, в тяжелом, бронзовом подсвечнике. Эта свечка и обстановка, которую она осветила, представляла странную смесь роскоши с самым жалким убожеством. На полу, у дверей, лежала рогожа, но тут же на стене висел дорогой ковер с целым арсеналом оружия, размещенным в полном беспорядке. Простая дощатая кровать была покрыта шелковым стеганым одеялом; у кровати стоял стол карельской березы, с сломанною и замененною простым чурбаном ножкою. На столе виднелись стаканы, бутылки и серебряная миска с крышкой.

— Простите, ваше высокоблагородие,— не переставая говорил Паркула,— меня целый день не было, а это вот мои молодцы все сделали. Я не виноват; если б я только был сам, ничего такого не было бы. Я только вот приехал сейчас... Да вы присядьте, ваше высокоблагородие!

И, говоря это, он суетился и хлопотал, наскоро прибирая лишние вещи и стараясь главным образом посредством этой суетни прийти, хотя несколько, в себя от обуявшего все существо его смущения.

Сорвавшееся у него выражение «мои молодцы» сразу объяснило все Чагину, понявшему многое уже и по обстановке, в которой жил Паркула.

— Как же это ты живешь тут? — спросил он, наконец, опускаясь на скамейку и чувствуя особенное удовольствие, что может двигать свободно руками.— Как же это ты? Каким делом занимаешься?

Дело, которым очевидно занимался Паркула, беглый, беспаспортный солдат,— было в то время далеко не из ряда вон выходящим. Под самым Петербургом, под боком центра власти, и там «шалили», как говорилось, и преспокойно орудовали целые шайки, так что об остальной России и говорить было нечего.

— Никак невозможно было, ваше высокоблагородие,— начал Паркула, не давая прямого ответа на вопрос Чагина,— никак невозможно. Как вы изволили уезжать тогда из нашего полка, то говорили, что меня непременно пере-

ведут из штрафных. Оно и точно, пока вы были — все легко жилось, ну, а зато как уехали, просто жисти не стало, прапорщик Пирквиц прохода не стали давать... Драли сильно... походя драли... Да и сами уезжая такую рекомендацию дали обо мне новому офицеру, что выправиться и думать нечего. Они, видно, только вас и боялись... Ну, а потом: «Не только,— говорит,— я тебя из штрафных не переведу, а за твои все дела быть тебе сослану».

— Неужели? — невольно перебил Чагин.

— Как пред Богом, истинную правду вам говорю, а сами знаете, ваше высокоблагородие, я ни в чем виноват не был... ни в чем...

Чагин был вполне уверен, что Паркула не был виноват, и, зная Пирквица, должен был почувствовать, что и то, что рассказал про него Паркула, была истинная правда. И первое чувство отталкивающей брезгливости, которое он ощутил к бывшему солдату, увидя его теперешнее ремесло, смягчилось в нем.

— И что же, ты начальствуешь здесь? — спросил он опять.

— Думал я, думал,— продолжал Паркула, стараясь не говорить о настоящем и снова сводя речь к прошлому.— Что мне делать? Все равно не жилец я. Ну, и убег. А тут места знакомые... Здесь вот так и случилось все...

И не договорив, Паркула опустил голову и потупился.

— А как же тебе не боязно грех на душу брать? — проговорил Чагин.

— Все мы грешны,— вздохнул Паркула.— А, может, без меня-то тут куда хуже было бы... вот хоть бы ваше высокоблагородие теперь...

— А может, и я у тебя не в безопасности?

— Нет-с, уж это будьте покойны! Во всю свою жизнь я только и видел добра, что от вас, только и видел,— волнуясь, повторил он.— Век не забуду, что от шпицрутенов вы меня избавили... Жизнь свою положу за вас, а не то, что так. Позвольте, ваше высокоблагородие,— добавил вдруг Паркула, видя, что Чагин оглядывает себя и ощупывает свои карманы,— позвольте я сейчас...

И он выбежал за дверь.

У Чагина, оказалось, все было отобрано, но не прошло и нескольких минут, как Паркула вернулся со всеми его

вещами. Они все были в целости; даже в кошельке все деньги оказались налицо.

— Все ли здесь? — спросил только Паркула.

Чагин кивнул головою.

Паркула отошел в сторону, к двери, и замялся. Видимо, он еще хотел что-то сказать или сделать.

— Ваше высокоблагородие,— наконец нерешительно произнес он,— может быть, вам угодно покушать что?

Чагин улыбнулся этой нерешительности; вспомнил, что он в течение всего дня ничего не ел, и сообразил, что слабость, которую он ощущал теперь во всем теле, вероятно была следствием голода.

Паркула принял эту улыбку за согласие, снова захлопотал, и в этих его хлопотах проглянула странная смесь прежней солдатской его выправки, пробудившейся в присутствии бывшего его офицера, и привычки к властвованию и сознания собственного значения, приобретенных вероятно впоследствии. Он всеми силами старался услужить Чагину, как бы силясь загладить пред ним то свое положение, в котором застали его.

XVII

ВЫСТРЕЛ

Ехать немедленно дальше, как предполагал Чагин, оказалось невозможным — его лошадь была в таком состоянии, что нельзя было и подумать двинуться сейчас.

Паркула не предложил своей и на вопрос, нельзя ли достать, сказал, что хотя и можно, но опасно для самого Чагина, потому что лошадь, которую дадут ему, наверное, будет узнана в околотке, и тогда могут выйти для него неприятности. Волей-неволей приходилось ждать. Чагин решился остаться еще на несколько часов в притоне, в который завела его судьба. Делать было нечего.

Паркула очистил для него свое собственное подземелье, сказал, чтобы о нем не беспокоились и что он придет повидаться пред рассветом, и посоветовал Чагину уснуть.

Но тот не мог и подумать о сне. Все, что с ним произошло, было до такой степени неожиданно, несуразно, что трудно казалось сразу разобраться во всем этом. Сначала встреча с бароном, затем боязнь погони, потом это приключение с Паркулой...

«Одно хорошо,— подумал почему-то Чагин, и это его успокоило на минуту,— что у него тут образ висит...»

У Паркулы действительно висел образ в углу.

«Боже мой! — продолжал думать Чагин.— Только бы выбраться отсюда! И, если Лыскову удалось задержать Демпоновского, тогда все хорошо будет».

И его мысли беспрестанно стали перескакивать с одного испытанного им в течение дня впечатления на другое, и каждый миг находился новый предмет — этих впечатлений было слишком много.

К тому же голова Чагина горела, как в огне, и болела.

Было ли это последствием усталости или удара, который он получил днем, или подействовал на него так стакан вина, которым угостил его Паркула, или наконец просто в этом завешанном коврами подвале было душно, Чагин не мог отдать себе отчета, но, чтобы отделаться от этой боли, он решил выйти на воздух и открыл дверь.

Оказалось, подземелье Паркулы не непосредственно сообщалось с выходом наружу. Нужно было миновать темный проход, которого Чагин не заметил, когда входил сюда, и затем уже начиналась лесенка наверх. Чагин, поднявшись на ступени, остановился и сел.

Тихая, осенняя ночь стояла над лесом. Вверху безмятежно и приветливо сияло ясное, усыпанное звездами, небо. Темный, непроницаемый пояс деревьев, еще не оголенных дыханием осени, как рамой, окружал поляну, где, тушуясь в ночном сумраке, виднелись остатки фундамента развалившегося до основания дома. Видно было, что это место давно заброшено, потому что и березовая аллея, очевидно, ведшая сюда, и сами развалины успели зарасти деревьями и кустарником.

Кругом было тихо и как-то таинственно жутко, и странно было думать Чагину, что здесь, в этом одинокопустынном месте, где он сидел теперь и где, по-видимому, никого и ничего не было, есть люди, есть его лошадь, спрятанная куда-то, и что эти развалины не немые, не неподвижные, а что под ними в земле гнездится жизнь, и стоит только свистнуть — как кругом, словно мертвецы из могил, вырастут «молодцы» Паркулы. Но, несмотря на это, звезды с своей беспредельной высоты мигали так ласково и разгорались так спокойно, словно отсюда не мог их подстеречь глаз человека.

Ночной холодок пронимал порядочно, но Чагину нравилось это. И ни шороха, ни звука, обличающего чье-нибудь присутствие.

Пространство, занятое фундаментом развалин, было настолько велико, что, если под ним сохранились подвалы, в них могло поместиться достаточное количество людей.

Углубление лестницы, где сидел Чагин, приходилось вблизи одного из углов основного квадрата разрушенного здания, и от него можно было видеть всю площадь, покрытую фигурно-причудливыми кучами мусора, камней и кирпичей, в немногих местах сохранивших подобие остатков стен. По самой средине росло большое развесистое дерево.

Кажется, Чагин занят был соображением, каким образом держалось это дерево корнями, если под ним был камень, когда вблизи дерева тихо, неслышно — должно быть, из-под земли — показались две фигуры, которые можно было лишь по их движениям отличить от остальных черных пятен, темневших кругом. Эти две фигуры несли что-то длинное, завернутое, но живое, тоже двигавшееся. Казалось, это был человек, сопротивляющийся слабо, через силу против того, что намеревались делать с ним.

Чагин, не дыша, вытянул шею и с сильно забившимся сердцем следил за происходящим пред его глазами. Фигуры отошли от дерева несколько в сторону, и их стало видно яснее. Это были два человека, и несомненно они несли завернутого третьего. Они огляделись и, словно ища определенного места, отодвинулись еще правее.

Рука Чагина бессознательно ухватилась за пистолет.

«Что бы ни было,— мелькнуло у него,— если они... в самом деле... Я не дам им...»

Люди опустили свою ношу на землю. Один из них стал спиною к Чагину, другой — лицом (но лица их нельзя было разобрать), и затем послышался мерный, негромкий голос, начавший говорить нараспев.

Почему-то Чагину ни на минуту не пришло в голову, что, может быть, он имеет дело с видением,— он был както странно уверен, что это — настоящие, живые люди, и потому спокоен, но это спокойствие было страшно и от него захватило дух и билось сердце.

Тот, кто стоял лицом к Чагину, был виден лучше.

«Так и есть...» — чуть не вслух проговорил Чагин, увидав, что в руке этого человека блеснуло лезвие.

— Что вы делаете, бросьте! — не узнавая своего голоса, крикнул он, то есть не крикнул, а как-то сразу, точно в один звук, слились эти слова.

Вслед за тем один из людей кинулся в сторону, но другой, словно боясь упустить минуту, взмахнул рукой с тем самым движением, с которым бросился барон при сегодняшней встрече, и Чагин, сам не сознавая, что делает, не целясь выстрелил пред собою.

Удар выстрела оглушил его и раскатился по лесу.

XVIII

КЛАД

По выстрелу Чагина, словно по волшебству, ожили безмолвные груды пустыря и наполнились народом. Смутный говор раздался кругом и слился в шипящий гул шепота — тот гул, который слышится больному в бреду. Говорили вполголоса, шептали, двигались и мало-помалу толпой стягивались к тому месту, где стояли люди, в которых стрелял Чагин.

А тот все еще держался на своей лестнице, не зная, что он сделал. Идти туда, к остальным, он почему-то не шел и даже старался не посмотреть в ту сторону, но все-таки видел все, что там происходило. Он видел, что подходившие наклонялись, размахивали руками, и говор их усиливался.

«Неужели я убил человека? — как молотом, стучало в его ушах.— Неужели там лежит он и они видят и сейчас подойдут ко мне, и я им должен буду отвечать... и они спросят?.. Кто они?.. Боже мой... где я, и что я сделал!.. Что я сделал!»

И ему казалось, словно он теряет сознание действительности, и это не он уже, а другой кто-то, и оба они стояли где-то высоко, но все рухнуло, и они летят вниз — в мрак, в бездну, откуда выхода нет... И ужас, беспредельный ужас охватил его.

Но вот Чагин разглядел, что пред ним стоит Паркула и растерянно говорит что-то, Чагин с трудом силится понять его.

— Там барона убили,— прерываясь сказал Паркула.— Как он явился здесь?.. Кто стрелял в него?..

«Да, да,— подумал Чагин.— Я тоже стрелял в барона, но это было там, в поле у замка, а здесь... Боже мой!..»

— Ваше благородие, это вы стреляли? — спросил опять Паркула.

Чагин увидел в своей руке пистолет, из которого выстрелил, и ответил:

— Да... я стрелял.

— Так как же он прошел сюда?

— Кто «он»?..

— Барон из замка, барон...

— Барон? Какой барон? — протянул вдруг Чагин, приходя в себя и начиная сознавать то, что ему говорили.

Паркула объяснил, что там только что скончался убитый наповал барон Кнафтбург и что он упал рядом с закутанной в черную материю женщиной, у которой ноги и руки связаны и в рот заткнут платок.

— А у него в руках есть что-нибудь — нож, кинжал? — спросил Чагин, не отдавая себе еще отчета, сам ли это он спрашивает, или кто-нибудь другой говорит за него.

Паркула сказал, что есть.

«Клад закрыт всего на одну голову!» — вдруг вспомнилась Чагину надпись, сделанная на книге барона, и снова ему показалось, что это не он, а другой кто-то вспомнил за него.

— Да, пойдем,— решительно сказал он Паркуле.— Я все расскажу, как было.

И, подойдя к месту, он с удивительным, неизвестно как и откуда взявшимся у него хладнокровием, подробно рассказал, как он сидел, как увидел вышедших двух людей (он показал место, откуда они вышли), как они потом тащили свою ношу, положили ее и... но то, что было потом, он не мог уже рассказывать.

— Ну да, я выстрелил,— сказал он,— но не хотел убить его. Он сумасшедший был, я его встретил сегодня...

И опять хладнокровно Чагин передал все относительно своей встречи с бароном и надписи в его книге.

Понять остальное было нетрудно: очевидно, между замком и старыми, принадлежавшими к нему, развалинами существовал ход под землей. Развалины считались нечистым местом, может быть, по вине компании Паркулы. Барон пришел в эту ночь добывать клад, по преданию зарытый здесь, пришел не один и хотел выполнить безумное требование, поставленное условием для добывания клада.

Подземный ход был известен Паркуле. Посланные туда люди нашли там лежавшего ничком человека. Это был один из старых слуг барона. Но добиться связной речи от

него не могли. Рассудок окончательно оставил его под влиянием испытанного испуга.

Все это придавало естественное объяснение случившемуся, однако Чагин успокоился, или — вернее — не успокоился, а хотя несколько примирился с происшедшим, когда поближе рассмотрел ту, «головою» или жизнью которой барон хотел купить себе золото клада.

Ее развязали, вынули платок изо рта и отнесли в землянку, предоставленную Паркулой Чагину. Ее черные, густые волосы рассыпались волнами, когда ее уложили в постель, и еще резче выказали бледность ее неподвижного, красивого личика. Тяжелые бархатные ресницы не поднимались, девственно-нежные губы так и оставались полуоткрыты.

Чагин, никогда не видевший обморока, сначала подумал, что спасенная от барона женщина умерла, но вскоре сумел распознать слабое биение ее сердца. Он остался с нею и, как умел, пробовал привести ее в чувство.

Пока он возился у ее кровати, Паркула несколько раз входил к себе и выходил снова, видимо занятый распоряжениями там снаружи и, приняв как бы деятельный вид, при котором потерял прежнее свое смущение пред Чагиным,— короткими фразами, урывками между делом, сказал, что ход под землею к замку будет завален, барона вынесут на дорогу или к замку и оставят его там, всунув ему в руку пистолет, чтобы было похоже на самоубийство. Потерявшего рассудок старика, сообщника Кнафтбурга, выгонят тоже к замку.

— А что с нею делать,— кивком головы показал он между прочим на девушку.

— Прежде всего нужно ее привести в чувство,— ответил Чагин.— Дай воды еще... Да уксуса нет ли?

Паркула подошел к кровати, поправил руку девушки и приложил руку к груди ее.

— Очнется,— протянул он,— сейчас сюда приведут женщину, которая знает, она и устроит все... я послал... А то вам несподручно...

Чагин с удивлением поглядел на Паркулу, распорядительность которого поистине казалась поразительной. Тот действительно преобразился весь, когда пришло время ему показать себя.

«Ого, я и не знал тебя таким!» — невольно подумал Чагин.

И все делалось у Паркулы живо и проворно.

Женщина-латышка явилась почти сейчас же и принялась по слову Паркулы ухаживать за больной...

Глядя, как она умело и ловко принялась за это дело, Чагин не стал сомневаться в благополучном исходе ее стараний.

Но самому ему тоже хотелось двигаться и действовать. Под влиянием всего случившегося он находился в том неудержимом подъеме сил, который всегда следует за большим нравственным потрясением. И, не зная, куда еще приложить эти силы, он, стараясь, если не делом, то хоть словами заглушить свою внутреннюю тревогу, стал говорить Паркуле, что девушку он берет под свое покровительство, что теперь ему нужно ехать, но что он завтра же пришлет за нею или через несколько дней, а может быть и завтра сам приедет.

— А это что у тебя? — спросил он вдруг Паркулу, видя, что тот бросил на стол какие-то бумаги и пакеты, только что принесенные им.

— А это вот молодцы на дороге курьера схватили, только что привели... Я его самого потом посмотрю — теперь хлопот много... А это — его бумаги.

Паркула, видимо, не стеснялся теперь с Чагиным. Но это отсутствие стеснения не покоробило последнего, потому что он не успел заметить его. Он вздрогнул при слове «курьера», схватил пакеты и стал разглядывать их.

— Послушай, Паркула,— заговорил он,— это — польский курьер? Это — его бумаги?

— Не знаю, кто он... Бумаги его...

— Да, да... это — польский курьер — тот самый, которого я ищу... то есть... ну да, это все равно... Послушай, Паркула, ты отдашь мне эти бумаги?..

По ясно обозначенным адресам на пакетах нельзя было сомневаться, что эти пакеты те самые, которые должен был везти Демпоновский.

При виде их Чагин все забыл — и свой выстрел в барона, и спасенную им девушку, и все тревоги минувшего дня. Он даже не вспомнил, каким путем попали бумаги сюда на стол пред ним. Впрочем, ему было в данный момент решительно безразлично, каков был этот путь, раз цель, ради которой он ехал с Лысковым, была достигнута.

Недаром говорил Лысков, что случай должен их выручить. Более случайного обстоятельства нарочно придумать казалось невозможно. И как это все вышло! В ту самую минуту, когда Чагин менее всего ожидал, что дело их увен-

чается успехом, когда он готов был даже считать все погибшим, потерянным,— тут-то, как нарочно, и вышло все к лучшему.

— Ну, если лошадь мало-мальски в исправном виде, я еду сейчас,— сказал он Паркуле.

XIX

ПАРКУЛА

Лошадь оказалась настолько отдохнувшею, что без всякого опасения на нее можно было садиться и ехать. Когда Чагин вышел из подземелья, она стояла оседланная и вычищенная, с тщательно обернутыми нижними суставами передних ног.

— Будьте покойны — лошадь поправлена,— сказал Паркула, провожая Чагина.

Развалины опять приняли свой прежний безмолвный тихий вид, снова ни души тут не было человеческой. Опять небо безмятежно смотрело сверху, и деревья, и камни чернели внизу. Но Чагин инстинктивно отвернулся от той стороны, где было развесистое дерево; для него этот пустырь не казался уже таким, как прежде. Он оставлял здесь тяжелое, неприятное воспоминание.

Лошадь держал под уздцы тот самый человек, бородатое лицо которого наклонилось над Чагиным, когда он связанный лежал в подвале. Чагин улыбнулся и кивнул ему, как знакомому.

— Так насчет девушки вы изволите озаботиться? — продолжал Паркула, так спокойно, как будто давным-давно привык к происшествиям, подобным случившемуся сегодня ночью.— Скоро светать станет,— добавил он, взглянув на восток, где небо заметно посветлело.

— Да, да, я распоряжусь, как сказал,— ответил Чагин.— Только как найти тебя?

— У ручья при въезде в лес есть лачужка; пусть остановятся у нее и скажут, что от вас; там будет человек ждать.

— А что, девушка очнулась, кажется?

— Как мы уходили, так глаза открыла... Ничего! Перепугали ее вот и только, а то что ж ей сделается?

— А собой она — красавица? Кажется, очень хороша?

— Ничего! — протянул Паркула и зевнул.

— Послушай, Паркула,— не совсем твердо спросил Чагин,— а она тут будет в безопасности?

— Никто не тронет! — серьезно ответил тот.

— Я про тебя не говорю, ну, а молодцы?

— И молодцы не тронут.

Чагин расспрашивал и медлил садиться на лошадь главным образом потому, что у него все время вертелся на языке другой, беспокоивший его, вопрос, который он и хотел выяснить, и боялся, и не знал, как это сделать.

Все время, с тех пор, как он узнал, что находился в руках «своего», то есть бывшего своего, подчиненного Паркулы,— ему и в голову не приходило, что тот его не выпустит. Он знал, что может уехать, когда лишь пожелает и когда лошадь оправится. Но теперь, уезжая, он в первый раз подумал о том, что должен был испытывать Паркула, отпуская его.

Судя по виду, тот отпускал и не боялся, что его выдадут.

Правда, залогом к молчанию со стороны Чагина должны были между прочим служить пакеты, которые он увозил с собою, вследствие чего становился до некоторой степени причастным в деле, составлявшем ремесло Паркулы. Это было, может быть, даже более, чем неприятно, но так слагались обстоятельства и казались неизбежным, неустрашимым злом.

С отталкивающим чувством к этому «неизбежному злу» еще можно было совладать, потому что другой выход, то есть донос — казался еще большим злом, невозможным, бесчестным предательством. А других выходов не было и выбирать было не из чего. Приходилось стать или укрывателем, или доносчиком.

В этом отношении Чагин не колебался ни минуты, но ему все-таки хотелось узнать, к о г о он укроет и насколько нравственный облик Паркулы способен извинить или оправдать такое укрывательство.

Он увозил с собою бумаги польского курьера, но судьба самого Демпоновского, который находился, вероятно, поблизости тут, беспокоила его. И вот именно поэтому Чагин медлил садиться на лошадь и вместе с тем не решался спросить, так как боялся получить ответ, услышать который ему не хотелось.

— А ты знаешь,— занося ногу в стремя, сказал он,— ведь этот курьер — довольно важный человек, бумаги его очень важные. Ты что с ним намерен сделать?

— Да что? То, что всегда,— усмехнулся Паркула.

Чагин быстро опустил ногу снова на землю.

— То есть как, что всегда? Это что же?

Холодная дрожь пробежала у него по спине.

— Уж конечно, ребята разберут все у него, ну, а потом, к утру, вынесут на дорогу и положат.

— Живого? — через силу выговорил Чагин.

— Кто ж его убивать станет?

Чагин почувствовал облегчение.

— И ты не врешь? Всегда так делаешь?

Паркула пристально посмотрел прямо в глаза Чагину. Губы его слегка улыбнулись.

— Всегда,— сказал он.

Не так самый ответ, как выражение и, главное, пристальный, открытый взгляд убедили Чагина.

— Ну, а если они станут жаловаться?

— И жалуются!

— Ну, и тогда как же?

— Ну, тогда... ищи ветра в поле!..

— Так разве трудно найти вас? Ведь дорога отсюда близко?

— Верст пять будет, лесом.

— Однако ведь вот хоть бы э т о т,— Чагин ударением и кивком головы дал понять, что он говорит про Демпоновского,— ведь он тут у вас, он может показать.

— Вот вы сейчас поедете отсюда,— твердо проговорил Паркула и указал на одного из своих людей,— он вот вас провожать пойдет; поедете с открытыми глазами, а назад захотите вернуться, так запутаетесь.

Чагин вскочил на лошадь.

— Слушай, Паркула,— обернулся он в последний раз к нему,— неужели вы и с бедным народом так поступаете?

Паркула нахмурился еще больше, но, словно понимая тайный смысл расспросов Чагина и необходимость отвечать ему, все-таки произнес:

— Мы своих не трогаем.

— Да я не про «своих» говорю, а про бедный народ.

— Здесь только латыш и беден.

XX

СЧАСТЬЕ ОБМАНЧИВО

Проводник Чагина, несмотря на сумерки зарождающегося утра, благополучно вывел его на дорогу и, показав рукою направление, по которому следовало ехать дальше, снял

шапку и отвесил низкий поклон, на прощание, дабы дать этим понять, что возложенные на него по отношению к Чагину обязанности окончены. Чагин кинул ему рубль и в самом отличном настроении поехал дальше.

Это отличное настроение появилось теперь в нем потому, что, расставшись с Паркулой и, главное, оставив его притон, он перестал думать о случившемся и мысли его направились в будущее.

А будущее сулило одно только благополучие. В самом деле цель путешествия была достигнута — польские бумаги лежали в кармане Чагина — и достигнута, благодаря ему лично; недаром он надеялся так на это и ждал этого.

И о чем теперь ни думал Чагин в будущем — все казалось хорошо и обо всем было приятно подумать. Он приедет сейчас в трактир «Корма корабля», и Лысков, встретив его, удивится, когда узнает, что бумаги тут — вот они! Они отправятся в Петербург... Или нет, Лысков должен будет один везти эти бумаги и там сказать, что главным образом действовал Чагин, а самому ему нужно будет озаботиться об этой девушке.

А потом, в Петербурге, когда он наконец снова увидится с Соней Арсеньевой, как хорошо и как весело будет!

«Теперь офицерский чин уже нет сомнения,— думал Чагин,— он тут вот, в кармане!»

И сознание довольства и удачи не покидало его.

Солнце вставало уже, когда он подъехал к распутью, где стоял трактир.

Жизнь здесь только что просыпалась. Окна были еще закрыты, но деятельный немец-хозяин поднялся уже и стоял на крыльце в холстинном своем халате и ночном колпаке.

Чагин издали заметил его, и толстая фигура немца показалась ему особенно симпатичной, главным образом потому, что помимо всех радостей явилось еще новое сознание, что наконец сейчас можно будет хорошенько вымыться и лечь отдохнуть после бессонной ночи.

— Вот как? Вы уже встали? И не боитесь утреннего холода? — спросил Чагин, подъезжая к крыльцу.

Немец ответил приветствием и добродушной улыбкой и сказал, что не боится холода, так как привык.

«Будить Лыскова или не будить?» — рассуждал Чагин между тем, слезая с лошади, и, несмотря на знакомую

ему любовь Лыскова ко сну, все-таки решил разбудить его.

— А что, мой товарищ спит еще? — спросил он.

Трактирщик приподнял колпак и, видимо не расслышав, расплылся только своею широкою улыбкой.

Чагин повторил вопрос.

— Ваш товарищ? — удивился трактирщик.— Да он давно уехал.

— Как? Давно уехал?

— Да-а, и все заплатили по счету очень щедро.

— А люди, которые были с нами?

— И люди уехали.

«Экая досада! — подумал Чагин.— Неужели придется мне ехать за ними?»

— Ну, а тут,— проговорил он снова,— приехал к вам один польский господин. Что, он виделся с моим товарищем? Они говорили?

— О, да, они виделись! Не знаю только, много ли говорили они?

— Вот как? Отчего же не знаете?

— Потому что они целый день играли в карты.

— Ну, а потом что?

— Потом польский господин уехал очень сердитый и очень торопился. Я думаю, он проиграл... А после него почти сейчас же уехал ваш товарищ.

«Так и есть,— сообразил Чагин,— ведь так мы и условились. Какую ж я, однако, глупость сделал! Нужно было ехать прямо в другой трактир».

И, досадуя на себя за эту нерасчетливость, он, чувствуя однако, что не способен теперь же ехать дальше, попросил трактирщика прислать кого-нибудь взять его лошадь, потому что ему хочется скорее пойти в комнату, чтобы вымыться и лечь спать.

— Но у меня комнаты нет,— ответил трактирщик с, видимо, давно сделавшейся ему привычной интонацией сожаления, с которой он обращался в таких случаях к проезжающим.

— Как нет? А та комната, где мы стояли?

— Занята; еще вчера вечером ее занял тоже господин русский офицер. Он приехал и занял. У меня очень трудно занять отдельную комнату, потому что мое заведение известно по всей дороге.

— Но что ж я буду делать? — перебил Чагин, которого нисколько не интересовала известность заведения трактирщика.

«И как все только что хорошо было,— мелькнуло у него,— и вдруг пошли какие-то задержки!»

И ему невольно вспомнилось, как тогда, на балу, тоже сначала все хорошо было, а потом вдруг чуть не погибло дело.

«Нет, не сметь думать так! — сейчас же остановил он себя.— Что ж теперь может случиться? Все хорошо и нечего беспокоиться; жаль только, что отдохнуть негде».

— Пока пожалуйте в общую комнату,— предложил трактирщик,— а там, может быть, устроим что-нибудь.

Делать было нечего — пришлось идти в общую комнату и, вместо отдыха, мытья и завтрака удовольствоваться одним только завтраком.

Чагин спросил себе яиц всмятку, масла, сыру, холодную жареную курицу, вообще все, что было под рукою, и расположился завтракать, не столько потому, что ему хотелось есть, сколько для того, чтобы занять едою время.

Яйца были съедены и от половины курицы остались уже одни кости, как вдруг дверь отворилась и в комнату вошел быстрыми, поспешными шагами Пирквиц. Оказалось, что он-то вчера и занял комнату после отъезда Лыскова.

Чагин, менее всего думавший о нем теперь и менее всего желавший встретиться именно с ним, не сумел даже скрыть при его входе невольный жест неудовольствия.

— Ну, как же вы не послали разбудить меня? — заговорил Пирквиц, улыбаясь, протягивая обе руки и будто не замечая движения Чагина.— Сейчас встаю, ко мне приходит трактирщик и говорит, что здесь внизу офицер, который желал бы отдохнуть. Я спрашиваю, какой офицер, и он мне называет вас... Ну, я сейчас оделся и пошел. Ну, как же вам не совестно?

— Во-первых, я не счел бы себя вправе беспокоить вас,— ответил Чагин, хмурясь и довольно откровенно выказывая, что вовсе не желает разделять фамильярно-дружеское общение Пирквица,— и, во-вторых, я и подозревать не мог, что вы здесь. Насколько я помню, мы строго разграничили места нашей деятельности. Вы, кажется, до Нарвы согласились действовать?

Эта отповедь была нелюбезна, но Чагин вовсе и не хотел казаться любезным. Он и прежде не мог симпатизировать Пирквицу, а теперь после рассказа Паркулы тот окончательно стал ему противен.

Но Пирквиц ничуть не стеснился холодностью Чагина. Он преспокойно уселся против него за стол и заговорил с видом доброго товарища, который понимает, что между своими не должно быть церемоний.

— Конечно, мы условились, что я буду действовать до Нарвы, но, надеюсь, это не значило, что мы все пойдем врозь: ведь все-таки наше дело — дело общее. Ну, мне не удалось,— я на всякий случай и поехал! Что ж, думаю, может быть, догоню еще вас или встречу на возвратном пути, если уж вам посчастливилось достать бумаги... Все-таки нам неловко вернуться в Петербург отдельно; нужно всем вместе.

— Зачем же всем вместе? — переспросил Чагин.

— Ну, как же? Я говорю — дело общее... Ну, рассказывайте, однако, почему вы здесь и усталый, и голодный? Вы ночь не спали? Что ж, дело устроено? Где Лысков?

— Да, я не спал ночь,— проговорил Чагин, тоном и выражением давая понять, что не хочет отвечать на остальные вопросы.

«Ну, брат, от меня так легко не отделаешься!» — сказал взглядом Пирквиц и продолжал расспрашивать.

— Однако я не понимаю, с какой стати мы должны вам давать отчет — сказал, наконец, Чагин, видя, что его односложные ответы не действуют.— Ведь вы действовали самостоятельно, и мы не мешали вам. У вас к тому же было первое место. Вы упустили, теперь оставьте нас.

— То есть как «оставьте»? Я повторяю, что все-таки дело общее.

— Как? Даже если б мы достали бумаги без вашей помощи, совсем помимо вас, вы все-таки имели бы претензию на то, чтобы разделить наш успех?

— Я надеюсь,— пожав плечами, протянул Пирквиц с уверенностью.

Чагин в особенности потому так настаивал на своем, что бумаги польского курьера лежали у него в кармане.

— Ну, нет,— возразил он,— если б вы успели перехватить, я никогда не претендовал бы.

— Да что вы так спорите? — перебил снова Пирквиц.— Вы-то достали или нет эти бумаги?

— Я уже сказал вам, что не считаю вас вправе требовать у меня отчета,— почти дерзко ответил Чагин.

«Ну, тут есть что-нибудь! — опять подумал Пирквиц.— Ты, брат, недаром запираешься — это мы выясним».

— Ну, я вижу,— как ни в чем не бывало заметил он,— что вы после бессонной ночи не в духе. Знаете, вам лучше всего пойти и лечь теперь. Пойдемте наверх — там вы отдохнете.

Чагин сначала стал было отговариваться, но глаза его совсем слипались, и, чувствуя необходимость подкрепить себя сном, он согласился подняться наверх. К тому же он думал этим отделаться от докучливого Пирквица.

XXI

ПРОБУЖДЕНИЕ

Чагин спал тем крепким, хорошим сном, который и может быть только в молодости, как вдруг почувствовал, что кто-то осторожно, но настойчиво трясет его за плечи. Он отмахнулся, приоткрыл глаза и тут же, повернувшись на другую сторону, хотел снова заснуть. Но его не оставили в покое, продолжая трясти.

— Господи, и заснуть не дадут! — с неимоверною жалостью к себе промычал он, все-таки не делая усилия очнуться, так как ему казалось, что он только что лег.

— Вам письмо... спешное,— говорил, между тем, трактирщик, не оставляя плеча Чагина,— говорят, сейчас нужно.

— Письмо, какое письмо?.. Что нужно? — произнес, наконец, Чагин, открывая глаза.— Разве я давно сплю?

— Часа три будет.

— А-а... Я думал, что и получаса не прошло... Какое же письмо?

Молодой человек сел на кровать и взял из рук трактирщика сложенную пакетом бумагу.

Адрес был на его имя, но рука оказалась совсем не знакомою и притом довольно не твердою.

— Кто пришел? — спросил он трактирщика.

— Крестьянин-латыш.

«Неужели от Паркулы?» — подумал Чагин и принялся за чтение письма.

Там говорилось, что необходимо по делу, касающемуся Чагина, чтобы тот немедля ехал обратно в лес, на условленное место, к лачужке у ручья.

Чагин прочел, перечел, повертел письмо, ничего не понимая, и спросил, где посланный. Трактирщик ответил, что тот как отдал письмо, сказал, что оно важное очень, чтобы передали его сейчас же, и ушел.

— Да, да,— рассеянно повторил Чагин,— конечно, важное. Я сейчас встану. Велите седлать лошадь; я поеду сейчас.

Трактирщик ушел, и Чагин, не теряя времени, принялся одеваться. Он не стал раздумывать о том, какое это было дело, по которому звал его Паркула, но рассчитал, что ему все равно надо ехать обратно к Лыскову и по дороге он может остановиться в лесу.

Одеваясь, он сунул руку под подушку, чтобы достать бумаги, которые он положил туда пред сном, и не нашел их.

— Что за штука! — воскликнул он, напрасно шаря под подушкою,— никаких бумаг там не было.

Чагин скинул подушки на пол — кроме кошелька, под ними ничего не оказалось. Он перерыл всю постель, но бумаг нигде не было.

— Хозяин, трактирщик, — как вас? — крикнул он, выскакивая, как был, без камзола, из комнаты на лестницу.— Хозяин!

— Ну, я здесь... я здесь,— послышался откуда-то снизу голос немца, и его толстая фигура показалась затем, переваливаясь, на лестнице.— Ну, зачем же кричать так?

— Где тот офицер, который был со мною в комнате? Где он? Позовите его! — продолжал, не помня себя, кричать Чагин.

— Его нет — он уехал два часа тому назад. Как вы легли спать, он почти сейчас же заплатил все по счету и уехал.

Чагин сразу подумал, что бумаги похитил Пирквиц, но все-таки ему не хотелось верить этому; теперь же, когда стал известен отъезд Пирквица, приходилось убедиться.

«Что же это? Воровство! — повторял себе Чагин, возвращаясь в комнату,— это — уже прямое воровство... грабеж, разбой... Положим, я его достану живого или мертвого... Это так ему не пройдет, я весь Петербург переверну, а докажу, что вовсе не Пирквиц раздобыл у поляка бумаги».

Так думал он сгоряча, решив, что сейчас же отправится в догоню Пирквицу, и если не догонит его, то, во всяком случае, настигнет в Петербурге и там хоть силою отымет бумаги.

Но, по мере того как проходила горячность первого впечатления, Чагин стал делать усилия прийти в себя, потому что именно теперь нужно было призвать на помощь все свое хладнокровие, чтобы действовать разумно.

Вдруг ему попалось на глаза письмо Паркулы. Он пробежал его еще раз и решил, что теперь ему не до латыша и не до его дел. Но Лысков? Как быть с ним? Оставить его ждать и самому гнаться за Пирквицем или ехать к нему и затем вместе явиться в Петербург? Собственно, поручение было дано Лыскову, и потому без него в Петербурге труднее будет орудовать. Пирквиц, вероятно, будет скакать день и ночь и догнать его на дороге будет немыслимо. Следовательно, все равно придется действовать уже в Петербурге. А там одному не справиться... Привези бумаги сам Чагин — никто не потребовал бы подробных объяснений о том, как он достал их, но теперь, чтобы доказать, что они незаконно попали в руки Пирквица, требовалось рассказать все, а это, ввиду участия в деле Паркулы, оказывалось невозможно сделать.

«Как же тут быть?» — в сотый раз спрашивал себя Чагин и не находил ответа.

Время, между тем, шло. Нужно было предпринять что-нибудь.

Чагину в душе хотелось одному сейчас ехать за Пирквицем, но, будучи научен уже опытом действовать осмотрительнее, он постарался представить себе, что выйдет из того, что он догонит Пирквица. И его охватила при этом такая злоба, такая ненависть, что он почувствовал, что попадись ему теперь только Пирквиц, он способен убить его. Дуэль между ними казалась для Чагина теперь неизбежною, но он боялся убить Пирквица просто без дуэли, «как собаку». И эти злобные слова «как собаку» он повторял с особым наслаждением.

«Нет, один я наделаю глупостей,— старался он успокоить себя,— нет, нужно будет повидаться с Лысковым и затем вместе ехать в Петербург. Да и это не составит большой разницы во времени. Конечно, так будет лучше, благоразумнее»...

И, заметив, что он становится спокойнее, когда начинает думать о Лыскове, Чагин решил ехать к нему с тем,

чтобы передать, какую гадкую штуку устроил с ним Пирквиц, и, сообща обсудив дело, вместе отправится в Петербург.

XXII

У РУЧЬЯ

Несмотря на то, что Чагину теперь вторично приходилось испытывать внезапный переход от самых радужных надежд почти к полному отчаянию, он все-таки не мог еще основательно сознать, как сознал это впоследствии, когда понял, что в серьезных делах в жизни такие переходы встречаются чаще, чем можно этого ожидать.

И, главное, он ехал теперь по той же самой дороге, по которой так недавно еще направлялся к трактиру, счастливый своей удачею. Теперь он ехал назад и все словно обернулось. Дело было то же, сам он оставался тем же, и дорога была та же самая, и все-таки все выходило обратно, как отражение в воде, и прежние светлые грезы и ожидания заменились мрачными черными мыслями.

Злоба, пока еще бессильная, душила Чагина. Он думал только о Пирквице, о пропаже бумаг и о том, как будет лучше вывести на свежую воду, наказать этого Пирквица и отмстить ему.

Он торопился, чтобы с нерастраченным запасом своей злобы рассказать обо всем Лыскову и услышать его вразумляющий, вечно спокойный голос. Однако он вскоре же подумал: «Нет, при этакой штуке и сам Лысков выйдет из себя... Ведь это же переходит всякую меру, всякие границы!»

И он волновался, торопился и не узнавал дороги, по которой ехал. Сегодня утром она казалась ему преисполненной живописной прелести, теперь же была пустынна и невзрачна.

При въезде в лес, у старой лачужки, стоявшей у ручья, Чагин ясно услыхал, что его окликнули.

Занятый теперь всецело своим делом и своими мыслями, он совершенно забыл о письме Паркулы и о том, что ждет его, и лишь услышанный им оклик навел его на мысль о письме.

«Ах, да, здесь еще нужно зачем-то остановиться!» — мелькнуло у него, и он с нескрываемой досадой повернул лошадь к лачужке.

У дверей ее стоял Паркула, но не такой, каким увидел его Чагин при первых минутах свидания вчера, а такой, каким он был впоследствии, когда пришла очередь ему действовать.

Паркула ждал, видимо, с нетерпением, как человек, которому каждый миг дорог. Глаза его горели, грудь дышала неровно, и все лицо выражало тревогу и беспокойство.

— Ваше высокородие,— оглядываясь, заговорил он,— дело вышло серьезное,— теперь все кругом на ногах. Убийство барона за наш счет пошло.

При этом напоминании Чагин невольно понял самую суть, так сказать, причину причин своей досады, которая охватила его, когда пришлось подъехать к Паркуле.

— Нельзя же было дать зарезать эту девушку,— резко ответил он.— Тогда вышло бы худшее еще убийство.

— Да это-то ничего,— перебил Паркула,— за это-то дай Бог вам здоровья; теперь вся округа вздохнет спокойнее — от злого человека избавили ее...

Чагин не знал округи, но почувствовал, что самому ему вздохнулось действительно легче при этих словах Паркулы.

— Нет, я к тому говорю,— продолжал тот,— что теперь нам долго разговаривать нельзя; теперь кругом всякого латыша без разбора хватают — говорят, что барона латыши убили, а я попадусь — много со мной народа пропадет, потому что без меня...— Но Паркула не договорил.— Вона, уж едут,— показал он головой на дорогу и, добавив скороговоркой: — Скажите, что у крестьянина-латыша дорогу спрашивали,— быстро повернулся и исчез в лесу.

По дороге из леса действительно выезжало трое всадников, вооруженных с ног до головы. Один из них, тот, что был впереди, завидя разговаривающих, крикнул что-то и пустил лошадь. Чагин расслышал, что ему кричали: «Держи его». Но Паркула успел уже скрыться.

«Это, вероятно,— люди барона»,— сообразил Чагин и стал дожидаться, пока приблизится скакавший теперь к нему всадник.

Тот подъехал и, круто осадив лошадь, спросил довольно грубо, о чем Чагин разговаривал и с кем.

Это был рослый человек лет сорока, с мускулистым, сухим бритым лицом, одетый в черный камзол и кафтан. Его тонкие губы и маленькие, быстро бегающие глазки показались Чагину очень неприятны. Говорил он по-немецки.

Чагин спокойно оглядел его и, не отвечая на грубый вопрос, в свою очередь спросил, кто он такой.

— Я — управляющий барона Кнафтбурга, убитого нынче ночью,— ответил подъехавший, произнося последние слова таким шепотом, как будто обстоятельство убийства барона позволяло ему, управляющему, быть грубым.

— Ну, а я — русский офицер, князь Чагин,— ответил Чагин и тронул лошадь вперед шагом.

Гордый вид молодого русского офицера, его титул и, главное, спокойствие произвели свое действие на управляющего. Он склонил слегка голову и повернул лошадь за Чагиным, не смея, однако, поравняться с ним, а держась несколько вдали и говоря:

— Я все-таки должен знать, что говорил вам этот крестьянин. Мы их подозреваем...

«Знает он или не знает, что они вчера гнались за мною?» — думал между тем Чагин и спросил опять, не отвечая на вопрос:

— Вы говорите, что сегодня убили вашего господина?

— Да, сегодня утром его нашли на дороге застреленным. Пуля попала в самое сердце.

«Ага! В самое сердце... Значит, не мучился»,— невольно мелькнуло у Чагина, и он спросил:

— Зачем же он выходил ночью один, если здесь так опасно?

— Он был не один — с ним был старый слуга, но тот вернулся сегодня в замок помешанным. И никто не знает, как и когда они вышли.

— Как вышли? Вероятно, просто через ворота!

— В том-то и дело, что у нас все выходы очень тщательно охраняются. Все сторожа показывают, что барон не проходил мимо них. Одно предположить можно, что в этом замке есть много разных тайных ходов.

— Ну, а этот вернувшийся помешанным слуга рассказывает что-нибудь? Может быть, по его словам можно догадаться о чем-нибудь?

Расспросы Чагина не могли показаться никоим образом подозрительными, потому что весьма естественно, что проезжий, которому сообщили об убийстве, интересуется подробностями.

— Нет, по его речам ни о чем нельзя догадаться: он окончательно потерял всякую способность говорить связно.

Такое сумасшествие бывает вследствие большого потрясения — испуга; вероятно, он очень испугался.

— Ну, а ваш господин сам не мог застрелиться?

— О, нет! Он слишком любил жизнь или, вернее, ненавидел смерть, потому что «любить», кажется, он ничего не мог.

— Вот как?

— Да. Его кругом терпеть не могли. Оттого и ясно, что это латыши... Вот мы к приезду властей и забираем, но до сих пор еще ничего дознаться не могли. Есть подозрения...

— Есть подозрения?

— Да. Вчера днем тут проезжал один русский офицер — он стрелял в барона. Потом мы гнались за ним, но он успел скрыться.

Эти слова управляющий произнес раздельно и рассчитанно внушительно. Два его спутника давно уже присоединились и ехали сзади.

Чагин медленно обернулся и взглянул прямо в глаза этому человеку. Потом, впоследствии, вспоминая этот свой разговор, он сам себе удивлялся: откуда взялись у него то самообладание и хладнокровие, с которыми он говорил тогда.

— При чем же тут тогда латыши? — спросил он так же раздельно и внятно.

— Может быть, они были подкуплены и из ненависти согласились на этот подкуп.

«От этой истории, пожалуй, так просто не отделаешься! — опять подумал Чагин.— Ну, что ж? Пускай, у меня есть свидетельница. Вероятно, о ней и хотел со мной переговорить Паркула... Нужно будет еще повидаться с ним».

И он опять обернулся и опять удивительно спокойно продолжал:

— Может быть, тут, то есть в этом деле, замешана женщина? Любовь?

Управляющий отрицательно покачал головой.

— Нет, этого быть не может! Барон Кнафтбург жил у себя в замке безвыездно.

— Но разве в замке не могла быть... в самом замке?

— Вот уже десять лет я служу барону, и ни разу ни одна благородная дама или девушка не входила в ворота замка.

— И вы наверно знаете это?

— Наверно. Но отчего вы спрашиваете?

— Так! — коротко ответил Чагин и замолчал.

Лгать управляющий не лгал. В этом нельзя было сомневаться, судя по его тону. Но в таком случае, кто же была та девушка, которую спас сегодня ночью Чагин?

«И очень нужно было ввязываться в эту историю!» — вот единственный вывод, который он сделал пока из всех своих догадок.

XXIII

ЛЫСКОВ БРЕЕТСЯ

Между тем, Лысков сидел в комнате трактира — условленном месте свидания с Чагиным.

Он сидел с намыленной щекой пред зеркалом и тщательно водил бритвою, снимая ею белую, тающую пену мыла и изредка поглядывая в окно, видимо, поджидая запоздавшего товарища. Но по дороге, на далекое пространство видимой из окна, не было заметно никакого движения, и Лысков снова принимался за свое дело с тем особенным, невозмутимым спокойствием, которое было ему свойственно.

Медленно, не торопясь, он соскоблил правую щеку, потом левую и, проведя рукой по подбородку и найдя, должно быть, что выбрито не чисто, намылил еще раз. В это время на дороге показался верховой. Лысков приостановился, пристально поглядел в окно и, убедившись, что это был Чагин, улыбнулся, а затем, по-прежнему не торопясь, принялся за бритву.

Через несколько времени в комнату не вошел, но почти влетел Чагин.

— Лысков, ты жив, здоров? — заговорил он. — Ну, здравствуй! Ну, я тебе скажу, и был же я в переделке... Ты понимаешь, Пирквиц — такой подлец!

Лысков, положивший бритву, чтобы поздороваться, и снова взявший ее, остановил руку на полудороге и, оглянувшись, спросил:

— При чем же тут Пирквиц?

— Как при чем?.. Да брось ты бриться, слушай!

— Не могу ж я с намыленной щекой...

— Ну, все равно, слушай только! Я достал польские бумаги!..

Это было первое, чем хотел поразить Чагин Лыскова, и потому, произнеся эти слова взволнованно-торжественно,

он замолчал, ожидая, какое впечатление произведут они. Но его друг и глазом не повел. Подперев щеку языком, он очень усердно скоблил по ней бритвой, наклонясь к зеркалу, как будто и не замечая волнения, в котором находился Чагин.

Будь эти бумаги теперь в кармане последнего, не пропади они у него — это переходящее всякую меру терпения равнодушие Лыскова непременно взорвало бы его; но теперь он чувствовал себя виноватым, и потому, стараясь сдержать себя (у него в груди так и клокотало, так и билось, а зубы стискивались, и кулаки сжимались), он только глянул на Лыскова и обиженно отвернулся.

«Ну, не хочешь слушать — так очень мне это нужно!»— говорил обиженный вид Чагина, с которым он, отвернувшись, вдруг решительно растянулся на кровати и, перекинув ноги, уставился бессмысленно в потолок.

— Ну, ты достал польские бумаги? — переспросил Лысков, высвободив наконец язык из-под щеки.

— Ну, и у меня их самым бессовестным образом украл Пирквиц,— подхватил Чагин, вскочив с постели и снова оживляясь, как будто он ждал лишь вопроса, чтобы снова заговорить.

Его друг отклонился на своем стуле и затрясся от тихого, но неудержимого смеха.

Этого уж никак не ожидал Чагин.

— Послушай, Лысков! — заговорил он.— Что же это?.. Чего же ты смеешься! Что смешного тут, скажи, пожалуйста? а? Я тебе говорю, что бумаги были в моих руках, и Пирквиц у меня стащил их...

— Постой, погоди! — остановил его Лысков.— Как же вы встретились?

Чагин рассказал, как они встретились и как он, проснувшись, не нашел бумаг у себя под подушкой.

Но Лысков, вместо того чтобы возмутиться, рассердиться, выйти из себя, снова рассмеялся.

Чагин вспыхнул окончательно и быстрым, прорвавшимся потоком ненужных и обидных слов наговорил Лыскову самых неприятных вещей. Он говорил, чувствуя, что не следует делать это, и потому раздражался только еще больше и, словно покатясь с горы, говорил, говорил и говорил, ничего не желая — ни слушать, ни знать, кроме собственного голоса, горячась все более и более от звуков этого голоса. Это был какой-то припадок бешенства,— припадок, которым разрешилось наконец пережитое в последние сутки Чагиным волнение.

Лысков, как бы понимая состояние, в котором находился его приятель, все по-прежнему спокойно продолжал бриться, давая Чагину выговориться и, главное, устать.

— Помилуй! — кричал тот.— У меня такой случай, со мною делают такую подлость, я лечу, сломя голову, к тебе — к кому же мне и приехать? — и потом ведь это же — общее наше дело,— а ты находишь в этом удовольствие и причину для потехи, смеешься! Да, если бы я знал, то для смеха в комедию поехал бы, а не к тебе! Тебе хорошо тут — расположился пред зеркалом, как дома, а побывал бы в моей шкуре!..

Обе щеки Лыскова были уже тщательно выбриты и вымыты.

— Ну, вот видишь ли,— ответил он наконец,— в твоей шкуре, разумеется, я не был, зато в положении, одинаковом с твоим, не только находился, но и нахожусь.

— Как так? — удивился Чагин.

— А так! Ты говоришь: бумаги у тебя отнял Пирквиц.

— То есть не отнял, а стащил, пока я спал... стащил...

— Ну, а у меня их отняли!

Чагин приложил руку ко лбу, ничего не понимая и как бы желая убедиться: во сне он это слышит или наяву?

— Постой! Как же у тебя их отняли? Значит, ты добыл их у Демпоновского?

— Да.

— И он их отнял у тебя?

— Нет, не он.

— Так кто же?

— Ты.

— Я? Я отнял у тебя польские бумаги?

— Ну, разумеется, только не сам, а при посредстве господина Паркулы — нынче ночью я имел честь познакомиться с маркизом Паркулой: un pariait gentilh omme[1].

Чагин как был, так и сел. Ноги у него подкосились и в глазах потемнело.

— Этого только недоставало! — выговорил он.— Как же это ты... как же это ты раньше не сказал мне этого?..

— Да ведь ты не давал мне рот раскрыть...

— Ах, какая ж я дура! — вдруг, всплеснув руками, воскликнул Чагин.— Что ж я теперь наделал, что я наделал!.. Да как же ты попал к этому Паркуле?

---

[1] Настоящий джентльмен *(фр.)*.

— Вероятно, так же, как и ты. Меня схватили. Когда ты оставил меня с поляком, то есть ты только что уехал — явился Демпоновский, стал требовать комнату, и я пустил его к себе. Он сел завтракать, потом мы принялись за карты... этому поляку страшно везет...

— Как? Разве опять он выиграл? — не удержался Чагин.— А я думал, хоть деньги-то у нас есть. Мне сегодня утром там трактирщик сказал, что Демпоновский уехал мрачный.

— Это оттого, что он мало выиграл: я по маленькой ставке делал, чтобы время протянуть — ведь я не для удовольствия, а для дела играл. Ну, так и продержал его до позднего вечера, а потом отпустил.

— Ну, а бумаги-то, бумаги-то как?

— А когда Демпоновский, вдруг спохватившись, что замешкался со мною, стал собираться и торопиться, то впопыхах забыл на столе свою сумку. Потом он сейчас же снова вбежал за нею наверх, но этого времени было для меня достаточно... понимаешь? Как только Демпоновский уехал, я Захарыча и Бондаренку с вещами отправил сюда длинной дорогой, а сам поехал по короткой и... наткнулся на компанию Паркулы. Ну, там сначала приняли меня нелюбезно, но потом выяснилось, что я имею честь служить с тобою в одном полку, и это сразу изменило дело. Оказывается, что твой Паркула явился ко мне, как ты только что уехал, и очень удивился, когда узнал во мне русского офицера, носящего с тобою один и тот же мундир. Толковый парень — этот Паркула: сообразил все сразу... Да разве ты виделся с ним сегодня? Он должен был выехать к тебе навстречу.

— Я виделся с ним, но не мог переговорить; на нас наехали люди этого барона Кнафтбурга. Ведь это — целая еще история...

— Знаю ее, знаю.

— Нет; но мог ли я думать, что это был ты!..— вспомнил опять Чагин.— Ведь это действительно и смешно, и глупо вышло!.. Но все-таки что же нам делать с Пирквицем? Ты отдохнул, я готов хоть сейчас ехать.

— Да, ехать нужно будет скоро,— протянул Лысков.

— Ну, вот, и я тоже говорю: если мы сейчас выедем, то приедем в Петербург...

— Ну, в Петербург мы долго еще не приедем! — сказал вдруг Лысков.

— Как долго не приедем? А Пирквиц?..

— Бог с ним! — махнул рукою Лысков.

XXIV

КЛАДЕЗЬ УМА И СООБРАЗИТЕЛЬНОСТИ

— То есть ничего не понимаю, решительно ничего не понимаю! — повторял Чагин, ходя из угла в угол, как зверь в клетке, по маленькой комнате, в которой они сидели с Лысковым.— Как же ты говоришь не ехать в Петербург, когда Пирквиц, без сомнения, направился туда, наверное даже туда?.. Я спрашивал.

— Бог с ним! — повторил опять Лысков.— Нам до него дела нет.

— Ну, уж это извини! Нет, у меня есть до него дело: я не знаю, как там будет относительно бумаг, но уж я его при первом же свидании или вызову на дуэль, или скажу ему открыто, при всех «подлеца». Так ты и знай это!

Лысков пожал плечами.

— Ты погоди,— перебил он, улучив минуту, когда Чагин переводил дух.— Ты мне скажи одно: способен ты теперь внимательно слушать и ясно рассуждать или нет еще. Если способен, я буду говорить, а нет — дам тебе вылиться. Только предупреждаю, что мы лишь время потеряем в таком случае.

— Да нет, я хочу только сказать,— начал было Чагин, но видя, что Лысков отвернулся, вдруг добавил: — Ну, хорошо, хорошо, я слушаю! Ну, что ты хотел сказать?

— Прежде всего садись! Вот так! Теперь слушай внимательно! Когда Демпоновский подъехал к трактиру, то с первых же его слов было ясно, что Пирквиц распорядился очень глупо, то есть не только выпустил поляка из своих рук, но и дал ему заметить, что послан по его следу, очевидно, не для того, чтобы поддерживать только приятную компанию с ним. Таким образом, Демпоновский был уже настороже, то есть знал, что за ним следят. Я, со своей стороны, сделал все возможное, чтобы отклонить его подозрения относительно меня.

— Ну, и он поверил?

— Не совсем, кажется.

— Как же он вошел к тебе? Очевидно, поверил.

— В этом-то вся и штука! Заметь это. Оказался он куда хитрее, чем можно было этого ожидать. Войдя ко мне, он очень стал основательно расспрашивать меня, почему это мы встретились. Я отвечал, как следует. Он успокоился или сделал вид, что успокоился. Стали мы играть. Только, смотрю я, мой Демпоновский роль начинает

разыгрывать — пьет и пьянеет уж слишком скоро, впрочем, очень искусно. Не играй мы, пожалуй, можно было и действительно подумать, что он пьянеет; ну, а тут игрок-то, игрок все-таки в нем сказался: разговаривал он, как пьяный, а играл, как трезвый; в игре есть эти неуловимые оттенки: трезвый или пьяный — сейчас скажется. Ну, заметив это, и я в свою очередь начал роль играть, чтобы дать ему понять, что и я — одна из гончих по его следу.

— Зачем же это? — поинтересовался Чагин, который видел уже, что рассудительность его друга должна привести к какому-нибудь неожиданному, но логически верному результату.

— А вот погоди. Ты слушай!.. Я тебе говорю, в конце концов Демпоновский убедился, что я встретился с ним с теми же целями, как и Пирквиц, и, несмотря на это, все-таки забыл свою сумку... Соображаешь?

— То есть что же именно ты хочешь сказать? — неопределенно переспросил Чагин.

— А то, что будь у него в сумке настоящие документы,— он, Демпоновский, таков, каков он есть, — стреляный гусь,— ни за что на свете не позабыл бы этой сумки. Понял? У него там лежали на всякий случай пакеты пустые.

— Однако на них ясно были обозначены и адреса и печати к ним были приложены. Я ведь видел эти пакеты,— заметил Чагин.

— Ну, а внутри-то, внутри они были пустые.

— Ты разве вскрывал их?

— Да это и без того ясно. Ясно, что это — ловушка, в которую могли попасться ваше сиятельство и в которую с головою влез наш добрый Пирквиц. Вот отчего я и смеялся, когда узнал, что он везет эти пакеты в Петербург. Воображаю его рожу, когда ему скажут, что он привез!

— Лысков! Лысков! — заговорил Чагин, заметно повеселея и сам уже готовый рассмеяться.— А ты наверное знаешь, что эти пакеты пустые? То есть ты убежден в этом?

— В этом не может быть сомнения; я тебе повторяю, что это ясно, как Божий день. Не таков человек Демпоновский, чтобы забыть письма, а именно ловушку устроить — это похоже на него... Расчет верный. Он знал, что за ним будет погоня, и заготовил эти пустые пакеты. От Пирквица он отделался, ну, а встретившись со мною, может быть, увидал, что от меня труднее отделаться, а по-

тому и пустил свое крайнее средство... К тому же оно могло быть весьма действительно — я мог обрадоваться, поскакать в Петербург, а тем временем он успел бы добраться до границы.

— Да, да! — пораженный, повторял Чагин.— Торжественно признаю еще раз, что ты — «кладезь мудрости и предупредительности». И с чего я тебе тут говорил разных разностей? Глупо!.. Ну, да ведь ты понимаешь, в каком я состоянии явился сюда. Нет,— вдруг подхватил он, как будто теперь только впервые представив себе фигуру Пирквица, везущего пустые письма,— нет, Пирквиц-то хорош будет! а? — и он в свою очередь расхохотался. Только что разрешившийся припадок злобы у него перешел теперь в припадок неудержимой веселости. Он вскочил с кровати, на которую уселся, сам не зная когда, начал тормошить Лыскова и уговаривать его выпить бутылку.— Ты понимаешь ли? — твердил он.— Ведь ты снова из меня человека сделал!.. Ведь ты мне бодрость вернул, а то я... Что ж я думал, ни на что уж я не годен — достал ты бумаги, попали они в мои руки, а я их и прозевал... Так ты на меня не сердишься, нет?

— Не только не сержусь, но скажу тебе, что если бы ты и в самом деле прозевал настоящие бумаги, то и тогда я не мог бы сердиться на тебя.

— Ну, тогда бы другой разговор был.

— Может быть; но я говорю то, что говорю. Ты знаешь, та девушка, которую ты спас нынче ночью...

— Ну?

— Ну, она здесь вот, рядом, в комнате. Это — Фатьма!

XXV

ОПЯТЬ ВМЕСТЕ

— Да, брат, бывают в жизни обстоятельства,— заговорил Лысков через несколько времени (теперь он ходил, а Чагин сел),— такие обстоятельства, что нарочно не придумаешь. Уж на что хитро это в романах описывают, ну, а как правда-то пойдет, так всякие людские хитрости заткнет за пояс. Вот тут и суди... Да, да, эта самая девушка, которую ты спас,— не кто иная, как Фатьма, о которой я тебе рассказывал.

Чагин был так поражен происшедшей на его глазах действительностью, что счастливому Лыскову (Лысков

был тихо, спокойно, уверенно счастлив теперь) приходилось убеждать его в том, что действительность — это не призрак.

— Как же это так? — повторял все Чагин.— Неужели же это — правда и так все сошлось? Нет, знаешь, это поразительно... Ведь если рассказать это или описать, то просто не поверят.

— Уж там поверят или не поверят — мне это все равно, но я знаю, что не попади ты случайно в эти «забытые хоромы»,— так, кажется, это место называется? — то не была бы она в живых. Знаешь, при одной мысли об этом кровь стынет. Я вот сижу, сижу — и теперь с тобой — да нет, нет и вспомню, так просто мороз по коже пробирает.

— Ну, как вы встретились? — спросил, улыбаясь, Чагин.

С тех пор как Лысков сказал ему о Фатьме, он, не переставая, улыбался.

— Да, как это вышло? Я так в подробностях не могу передать, то есть не то, что забыл или не помню, нет, что чувствовал — все помню, сказать только, выразить не смогу; ну, а уж отдельные подробности сливаются у меня... Паркула окончательно уверился, что я — свой человек, когда я ему рассказал его же историю (вышло кстати, что ты сообщил мне ее). Ну, и мне все вещи вернули. Затем он мне объяснил, что пошлет за тобой, а пока провел к себе. Тут мы и встретились...

— Отчего же не ты сам написал мне?

— Ну, уж где тут было писать?.. Ну, потом — я не знаю, сколько времени прошло,— только прибегает Паркула и говорит, что видел тебя, что ты едешь сюда и что нам нельзя терять ни минуты. Он живо отправил нас, дал проводника, и мы выбрались по лесу очень скоро к самому трактиру. Вот и все.

— Удивительно! Но послушай, ты... ты очень счастлив?.. Скажи!.. И она не забыла, любит?

Лысков только улыбнулся в ответ, но эта улыбка сказала гораздо более слов.

— Я одного только еще не понимаю,— заговорил опять Чагин,— каким образом она попала к барону? Мне его управляющий совершенно определенно сказал, что в замке женщин не было, а он служил у Кнафтбурга в продолжение десяти лет.

— Ну, это ты узнаешь от нее самой; увидишь вот ее, она расскажет. Так ты говоришь, что едва отделался сегодня от этого управляющего?

— Да. Я уверен, будь этот барон жив, они не постеснялись бы захватить меня прямо силой; ну, а управляющий побоялся. Все-таки офицер. Но едва ли нам отвертеться от этой истории. Меня очень усердно приглашали в замок заехать — хотели задержать меня до приезда властей. Однако я поблагодарил и, разумеется, не поехал...

Они разговаривали и, сами себя обманывая, тянули этот разговор, чтобы отложить неловкость встречи Фатьмы с Чагиным. Несмотря на то, что последнему хотелось поскорей увидеть турчанку, а Лыскову показать ее, оба они чувствовали, что непременно все трое сконфузятся, когда сойдутся вместе. Положим, эта конфузливость будет радостная, хорошая, но все-таки нужно побороть ее.

И теперь, когда дело коснулось Фатьмы, даже Лысков ощутил нечто, похожее на волнение, и потому говорил с Чагиным, в свою очередь взволнованным, как говорят люди, когда думают о чем-нибудь другом и не хотят высказать это другое, надеясь, что все должно устроиться само собою.

Так вышло и на этот раз. Захарыч под руководством трактирщика явился накрывать на стол к обеду и принес два прибора. Лысков велел принести ему третий.

Когда стол был накрыт (они все по-прежнему продолжали говорить о другом), Лысков ушел в соседнюю комнату и вернулся оттуда с Фатьмой.

Она была бледна и казалась очень усталою. Но ни бледность, ни усталость не могли затмить в ней красоту, которою поразился Чагин еще в развалинах, когда ночью увидел ее в обмороке.

Она вышла с опущенными веками и только два раза подняла их, чтобы глянуть на человека, спасшего ей жизнь. Чагину казалось, что сам он не смотрел в это время на нее, по крайней мере, глаза их не встретились, но он видел ее быстрый взгляд, сверкнувший огнем из-за миндалевидных разрезов ее опушенных черными ресницами глаз. Хороши были, очень хороши эти глаза.

При виде красавицы Фатьмы, оживленной счастьем свидания с любимым человеком после долгой и тяжелой разлуки, Чагин невольно любовался ею; но странное дело: он любовался ею, как любуются картиной или статуей, точно лишь сам он и Соня Арсеньева были во всем мире

одни настоящие люди, а все остальные так, только «нарочно».

Подали обедать, и все принялись за еду. Фатьма сидела почти все время молча и от застенчивости, и оттого что ей, видимо, трудно было говорить по-русски. Она всеми силами старалась показать, что не забыла русского языка, но по тем нескольким словам, которые были произнесены ею, ясно было, что у нее русская речь смешалась с немецкой и польскою; но эта смесь выходила у нее все-таки чрезвычайно милою.

«Прелесть, как мила!» — думал про нее Чагин несколько раз во время обеда.

Лысков старался хмуриться более обыкновенного, но это ему никак не удавалось. Не только Чагин, отлично знавший своего друга, но и всякий, кто поглядел бы теперь на Лыскова, должен был бы заметить, что под его с усилием сдвинутыми бровями блестели радостно-веселые глаза, а губы улыбались под усами.

За столом говорил больше других Чагин, вспомнивший про Пирквица, везущего в Петербург пустые пакеты. О прошедшей ночи не было сказано ни слова.

Начав о Пирквице, невольно перешли на Демпоновского, и Лысков предложил следующий план дальнейших действий. Так как Демпоновский едет, очевидно, на заранее заготовленных переменных лошадях, то нечего и думать догнать его ранее Риги. В Риге же ему придется, во всяком случае, остановиться на два или три дня, чтобы получить заграничный пропуск. На эти-то дни и рассчитывал Лысков. Он предложил, что сам немедля отправится с Бондаренкой в Ригу, взяв всех четырех лошадей с тем, чтобы двух вести в поводу для смены и запаса, а Чагин с Захарычем на наемных лошадях в экипаже поедут с Фатьмой.

Чагин, конечно, предпочитал ехать в Ригу верхом вместо Лыскова или, по крайней мере, вместо Бондаренки, но понял, что если его друг решается оставить Фатьму, то именно потому, что в этом отношении надеется на него, Чагина, и, наоборот, боится доверить ему все дело. И он чувствовал, что Лысков, во всяком случае, имел если не право на такую боязнь, то серьезные основания для нее, и согласился на его предложение.

Лысков уехал в тот же вечер. На другой день на заре выехал и Чагин с Фатьмою.

В этот казавшийся ему бесконечным переезд от «Тихой Долины» до Риги он узнал историю и прошлое Фатьмы.

XXVI
ГУССЕЙН-ПАША

Лысков был прав, когда, рассказывая Чагину о Фатьме, говорил, что «этой самой породы в ней пропасть». Она была дочь Гуссейна-паши, который считал своих предков в родстве с Магометом и принадлежал к исстари богатому роду. Все поколения этого рода проводили жизнь в довольстве и роскоши, будучи окружены почетом и пользуясь властью. Таким образом Фатьме нетрудно было унаследовать от своих предков ту породистость, которую приобрели они долгими годами изнеженной, окруженной великолепием жизни.

Отец ее пользовался почти неограниченной властью. В его ведении находился сравнительно далекий от Константинополя удел, и он управлял им вполне самовластно, представлял собою маленького владыку, державшего в страхе всю округу и смотревшего на ее население, как на своих подданных.

Все его сношения с Константинополем заключались в посылке туда податей султану и подарков его сановникам, а затем, исполнив свои обязанности по отношению главного властелина, он мог в свою очередь являться властелином у себя дома. Звание паши он приобрел как вследствие своей личной храбрости, так и благодаря своему богатству и знатности своего рода.

Он жил во дворце, имел свою свиту и войско, и в Константинополе знали, что, перейди Гуссейн-паша в число непокорных пашей, это стоило бы многих хлопот, и Бог весть, чем могло кончиться. Но Гуссейн вел себя безупречно, никогда не задерживал податей, никогда не забывал одарить великого визиря и всех, кого следовало, и всегда был готов явиться по первому призыву в рядах султанских войск для борьбы с неверными. Все это заставляло уважать его и бояться. Боялись его и уважали также и те, которых он считал своими подданными.

Фатьма была дочерью любимой жены Гуссейна Алише, обладанием которой мог бы гордиться и султанский гарем. Свою красоту Алише передала своей единственной дочери; других детей у нее не было. Грозному паше сильно хотелось иметь от Алише сына, однако, несмотря на то, что это желание не осуществлялось, и несмотря на все гаремные интриги и происки, она все-таки оставалась любимой женой Гуссейна и властительницею его сердца.

По мере того как подрастала Фатьма, любовь ее отца и к ней, и к ее матери только увеличивалась. Для них были отведены в гареме отдельные роскошные комнаты, убранные зеленым штофом и дорогими коврами. Для них другие женщины пели песни и играли, когда Фатьме хотелось веселиться. Когда же она засыпала — все кругом не только ходило на цыпочках, но боялось дохнуть, и даже закрывали фонтаны в саду, чтобы они как-нибудь случайно не разбудили своим плеском любимицы Гуссейна. У нее были служанки, которым в свою очередь прислуживали люди. Для каждого дня в году у нее было новое платье. Все, чего только ни желала она, являлось у нее как по волшебству.

Фатьма отлично помнила отца, его строгие серые глаза, его длинную, с проседью бороду, пахнувшую дымом кальяна, и мягкий, приятный голос, рассказывающий ей сказки. Ей часто приходилось слышать от окружающих, что он — строгий и грозный паша, пред которым трепещут все; но для нее он оставался всегда тихим и добрым, и она не могла себе представить его таким, каким он был по отзыву других.

Так прошло ее детство.

И только впоследствии, когда из ребенка она начала становиться взрослою девушкой, ей пришлось убедиться, что отец может быть и хмурым, и угрюмым, и строгим.

Прежде, бывало, не проходило дня, чтобы он раза два не зашел на ту половину гарема, где жила она с матерью, но мало-помалу он стал пропускать свой обычный час послеобеденного кейфа, который всегда проводил у них. Фатьма реже видела у него на лице ту добрую, ясную улыбку, к которой привыкла и которую любила, и чаще и чаще начала замечать, как ее мать потихоньку плакала ночью. Она советовала Фатьме быть ласковою с отцом, и Фатьма старалась, как умела только, приласкать его; но чем более старалась она, тем нахмуреннее делался Гуссейн.

Раз она услыхала, как ее мать в разговоре с отцом (они точно спорили о чем-то) назвала себя старухой.

Фатьма знала, что быть старухой для женщины — большое несчастье, но никогда не могла предположить, чтобы ее милая, любимая мать стала старухою; это могло случиться с кем угодно, но только не с нею. И вдруг она сама себя называет так!..

После этого разговора отец целую неделю не был у них.

Тогда Фатьма поняла, что дни их прежнего благополучия и счастья едва ли вернутся, что отец изменился к ним и что хотя окружающие и относятся к ним пока по-прежнему с почтением, но это ненадолго и скоро наступит время, когда ненависть, скрываемая этим внешним почтением, выйдет наружу, потому что вместе с любовью отца исчезнет и страх пред теми, кого он любил. Но неужели он, добрый и любящий отец, мог разлюбить свою верную Алише и маленькую Фатьму?

Фатьма не могла поверить этому. Она не могла поверить, чтобы, раз полюбив ее мать, можно было разлюбить ее добровольно. Это было бы слишком дурно со стороны отца; а он ведь был тоже хороший и казался неспособным на что-нибудь дурное. Фатьма решила, что тут виноват кто-нибудь третий и что этот третий — дурной человек.

Она начала прислушиваться, наблюдать и вскоре поняла, в чем было дело. Приблизительно к тому времени, когда отец изменился к ним, в свите его появилось новое лицо, быстро забравшее верх над остальными. На службу к Гуссейну поступил принявший мусульманскую веру христианин, получивший имя Тимбека. Как звали его прежде — Фатьма не могла узнать, но по тому трепету и понижению голоса, с которыми произносилось имя Тимбека, она поняла, какою силою он уже пользуется у ее отца. Говорили, что во всех делах он стал первым его помощником и советчиком, что никто, как он, не умел обращаться так с Гуссейном и никто, как он, не может придумать такие забавы и потехи, какие затевает Тимбек. Сегодня он увозит Гуссейна на охоту, завтра задает пир, потом устраивает смешную комедию. И, радуясь этим потехам, забывает Гуссейн свою Алише и заставляет плакать ее и грустить.

И задумала Фатьма помочь матери в ее горе.

XXVII

ПЕСНЯ ФАТЬМЫ

В первый же раз, как Гуссейн после долгого перерыва пришел на забытую теперь половину гарема, Фатьма сама повела его к мягкому дивану, у которого на низеньком столике были приготовлены столько дней напрасно ждавшие его кальян и кофе, сваренный самою Алише. Прежде, бывало, Гуссейн говаривал, что никто не умеет так варить кофе, как Алише.

Подействовала ли на этот раз ласка Фатьмы, вспомнил ли Гуссейн те тихие минуты счастья, которые он испытывал здесь когда-то, но только он улыбнулся, и морщины его разгладились.

Фатьма видела, как блеснули радостью при этом глаза ее матери, и сердце ее забилось сильнее. Она чувствовала, что решительная минута близится. Однако ни отец, ни мать не знали, что она намерена сделать. Мать опустилась на диван в стороне, а Фатьма на ковер, на свое обычное место возле отца.

Гуссейн молчал. Алише не решалась заговорить. Видно было, что его улыбка Фатьме явилась лишь мимолетным отблеском прошлого, и лицо его снова покрылось тенью. Казалось, он, прежде такой счастливый в эти часы, теперь не знал уже, зачем он пришел сюда, и не мог найти слова для разговора и не знал, что ему делать тут, словно и кальян казался ему не крепок, и кофе не вкусен, и шербет не сладок.

Бывало, прежде Алише не стеснялась его задумчивостью и смело спрашивала о причинах этой задумчивости, чтобы разговором разгладить у него морщины. Но теперь она лишь изредка поглядывала на него, не решаясь заговорить.

Фатьма сидела, поджав ноги, и перебирала струны гитары. Вдруг она начала робким, нетвердым голосом, в такт своей игре, чуть слышно подпевать слова новой, сочиненной ею самой песни. Не оборачивая головы в сторону отца, она искоса следила за ним, слушает он или нет. Казалось, он прислушивался.

«Отец,— пела она,— не выдавай меня замуж. Да благословит тебя Аллах, если ты не выдашь замуж своей бедной дочери! Аллах, Аллах, вложи в сердце моего отца жалость к его дочери,— чтобы был он справедлив.

Муж возьмет меня и увезет к себе. Он полюбит меня, потому что маленькую Фатьму нельзя не полюбить. Он станет называть меня властительницей своего сердца; но, Аллах, вложи в сердце отца моего жалость!..

Придет время, и любовь его, дававшая радость, обратится в печаль. Ах, лучше бы не давала она радости вовсе, потому что сменившая ее печаль еще чувствительней от этого! Придет время, и забудет он жену, которую любил. Отец, не отымай меня у матери, она одна не разлюбит меня!»

Фатьма пела и увлекалась своею песней; голос ее звучал смелей и смелей, рука тверже ходила по струнам.

Гуссейн поднял голову и впился в нее глазами, забыв в стиснутой руке свой янтарь кальяна. Он никогда не слыхал этой песни.

«Будет время,— продолжала, между тем, Фатьма,— и придется назвать меня старухой. А разве виновата я, что муж мой возьмет мою красоту и молодость? Разве виновата я, что забудет он ласки мои и счастье, которыми закреплял когда-то свои клятвы?»

В это время Фатьма подняла глаза и ужаснулась тому, что она сделала. Мать ее сидела бледная, как полотно, и, опустив глаза, боялась поднять их, боялась шелохнуться. Гуссейн тяжело дышал, вне себя от гнева; он, казалось, не перебил песни дочери оттого только, что припадок гнева судорогой сжал ему горло, и слова замерли у него. Но взгляд — такого грозного взгляда Фатьма даже в последнее время никогда не видела у него — яснее слов говорил.

— Фатьма, откуда взяла ты эту песню? Кто научил тебя ей? Зачем ты запела ее? — спросила Алише дочь.

— Я знаю, кто научил ее этой песне,— злобно перебил ее Гуссейн,— я знаю... И напрасно ты будешь отнекиваться... Женщина хитра, и хитрая женщина научила Фатьму этой песне и заставила ее спеть мне. И эта хитрая женщина — ты!..

Фатьма вдруг еще сильнее ударила по струнам и, словно вдохновленная свыше, пропела громким и твердым голосом:

«Никто не научил меня этой песне, нет, не учил; сердце мне подсказало правдивые слова ее; из рыданий сложился скорбный напев ее. Тому, что идет от сердца и трогает самое душу, нельзя научить. Аллах говорит устами невинной девушки. Отец, сжалься надо мною!»

Фатьма сама не знала, как вырвались у нее эти слова. Это сделалось как-то само собою, помимо ее воли. Но, должно быть, она невольно вложила такую силу в них, таким отчаянным тоном отозвался грустный, искренний напев ее, что сердце Гуссейна смягчилось. Может быть, он подумал, что действительно сам Аллах вложил в уста его дочери эту песню. После ее последнего припева нельзя было сомневаться в том, что песня сочинена ею, а кто же, кроме Алише, мог вложить ей дар сочинять песни? Он опустил свой гневный взгляд, взялся рукою за голову и долго молчал, а потом поднялся и, подозвав к себе Фатьму, крепко-крепко поцеловал ее в лоб.

С этих пор Гуссейн не пропускал более послеобеденного кейфа в покоях Алише и, когда случалось ему приходить сюда расстроенным и мрачным, заставлял Фатьму петь ее песню.

XXVIII
ТИМБЕК

Фатьма торжествовала; но, к сожалению, торжество ее было недолго. Не прошло года, как снова влияние Тимбека на Гуссейна выразилось еще с большею, чем прежде, силою. На этот раз он повел дело еще хитрее. Видя, что развлечения, охоты и празднества если не совсем потеряли притягательную силу для Гуссейна, но, во всяком случае, не достигают цели, Тимбек сумел достать для гарема паши новую красавицу, затмившую всех прежних.

Бывали и прежде у Гуссейна любимицы помимо Алише, но до сих пор это носило лишь характер временной прихоти, которая проходила и нисколько не вредила отношениям Гуссейна к его избранной жене. Однако красавица, доставленная Тимбеком, обладала, по-видимому, не только прелестью внешней, но и умом, и талантами — словом, по прошествии трех недель со времени поступления ее в гарем, у нее оказались на противоположной стороне от покоев Алише свои покои, и старой жене и ее дочери было запрещено гулять в саду, когда туда выходила новая любимица, да и сам Гуссейн вдруг прекратил свои посещения к ним, словно стыдясь показаться.

Алише снова впала в отчаяние. Она проводила бессонные ночи, не ела, сидела у себя и плакала. Фатьме нечем было утешить ее, она могла только горевать вместе с нею.

И это горе сразило ее. Такого резкого, крутого перехода от полного, безмятежного счастья к ежеминутному и безнадежному горю не выдержала Фатьма. Она заболела.

Когда доложили Гуссейну о болезни дочери, он сказал, что навестит ее.

Это посещение Гуссейна было последним. Потерявшая голову Алише решилась послушаться старой кормилицы Фатьмы, которая уверяла, что паша не иначе, как приворожен тайными чарами к новой красавице, и что нужно в свою очередь употребить чары, чтобы разрушить влияние первых. Кормилица научила Алише напоить мужа кофе, которым предварительно нужно было омыть свою

левую ногу с известными заклинаниями. Она научила им Алише, и та исполнила все в точности.

Гуссейн навестил дочь, выпил кофе, был неразговорчив, но старался казаться ласковым и обещал Фатьме прислать подарок.

Болезнь Фатьмы оказалась не опасною. После первого же пароксизма началось улучшение, и она — может быть, именно вследствие посещения отца, после чего Алише стала спокойнее,— начала быстро выздоравливать.

Но тут началась страшная история в гареме.

Тимбек, невидимый для гарема, куда вход ему был, разумеется, запрещен, оказалось, мог слышать и видеть там, где не мог присутствовать. Евнухи ли были у него на откупе, сохранил ли он сношения с поставленной им красавицей, или имел сведения через других жен, но только при его посредстве стала известна Гуссейну история с кофе, и над несчастною головою Алише разразилось страшное обвинение в колдовстве и чародействе.

Первым пострадал главный евнух. Он исчез бесследно. Но гарем знал, что это значило. Его утопили в мешке без всякого суда и следствия. Алише было запрещено выходить из своих комнат.

Для Фатьмы и ее матери прошли три дня тревожной неизвестности. Эта медленность показалась им странною. Алише просила мужа позволить ей прийти к нему для оправдания. Ей не дали ответа. Фатьма звала отца к себе — он не пришел.

Впоследствии они узнали, что с тех пор как появился возле Гуссейна Тимбек, прежнее счастье стало изменять Гуссейну. Благодаря постоянной лести Тимбека, он возмечтал слишком много о своей силе и благодаря новой, рассеянной жизни, стал пренебрегать делами, всецело доверившись Тимбеку.

В диване[1] оказались недовольны Гуссейном. Подати запоздали, и главное — число подарков было сокращено. К Гуссейну пришла грозная бумага, но он, вместо того, чтобы смириться, послал дерзкий ответ, не препроводив для умилостивления новых подарков. Вскоре дело повернулось так, что Гуссейна сочли изменником и выслали против него военную силу. Он решился бороться.

---

[1] Диван — турецкое государственное учреждение, прежнее название императорского совета.

История Алише как раз совпала с тем временем, когда Гуссейн должен был отправиться, чтобы предводительствовать своими отрядами против султанских войск.

Кормилица, пробравшись к арестованной Алише, сообщила ей, что Гуссейн-паша отважился на большое, рискованное дело, что он уезжает, берет с собой Тимбека и откладывает суд над женою до своего возвращения. Результат этого суда предвидеть было нетрудно: Алише, а может быть, и Фатьму ждала участь несчастного евнуха.

Выбора действий не оставалось; единственное спасение заключалось в бегстве.

Ночью Алише и Фатьма, переодетые в евнухов, бежали и благополучно достигли маленькой хижины на окраине города, где жил дальний родственник кормилицы. Две недели они высидели в погребе, боясь показаться на свет Божий. Пищу им подавали через маленькое окошечко. Наконец явилась кормилица, которой удалось захватить драгоценности Алише и Фатьмы. Это давало им возможность отправиться далее.

В тот же день в городе стало известно, что Гуссейн-паша разбит, что он хотел скрыться, но Тимбек выдал его ради собственного спасения. Султанские войска приближались к городу, и дальнейшее бегство для жены возмутившегося паши, хотя и опальной, но все-таки жены, стало необходимым более, чем прежде.

Пробравшись за границу, Фатьма и мать очутились совершенно вне тех условий, к которым привыкли, и новая жизнь, совершенно отличная от гаремной замкнутости, испугала их и не понравилась им. Они ехали вперед без цели, сами не зная, куда, единственно потому, что каждое место, куда бы они ни приехали, было не по ним, совершенно чуждо им, не нравилось, и они, спеша переменить его на новое, забирались все далее и далее к чужим, неприятным людям. Впрочем, Фатьма рассказывала, что с ними все-таки обходились ласково, не обижали и по счастливой случайности даже в дороге с ними не происходило опасных приключений.

Так добрались они до Польши, продолжая стремиться вперед, сами не зная, куда. Единственный источник их доходов — драгоценные вещи, захваченные кормилицей,— исчезал довольно быстро, потому что Алише, плохо зная цену вещам и деньгам, отдавала их за бесценок. Наконец пережитые в последнее время тревоги окончательно надорвали силы Алише, она слегла и более уже не вставала.

Тут Фатьма встретилась с Лысковым.

XXIX
В ЗАМКЕ БАРОНА

— Ведь вы — друг ему... друг? — говорила Фатьма, рассказывая Чагину, беспрестанно путая слова и вставляя то польские, то немецкие.— Вы — друг... Ну, тогда я скажу... вам только скажу.

И почти с детской наивностью она передала подробности своей любви к Лыскову, рассказала о том, как они встретились, как она почти с первого взгляда почувствовала, что этот человек недаром встретился с нею, как потом... Но все, что происходило потом в душе Фатьмы, было не менее, чем ей, знакомо самому Чагину по его чувству к Соне Арсеньевой.

«Да, да,— думал он,— это всегда т а к бывает; я знаю это... Знаю...»

И тем не менее он все-таки терпеливо выслушал чистосердечную и милую исповедь девушки, не перебивая ее и стараясь подсказом помочь ей, когда она затруднялась в выражении.

И понял он ее больше не по рассказу, так как тот был очень сбивчив, а по чувству, жившему в нем и придававшему ему жизнь и смысл.

Время, проведенное под охраной полковой семьи, несмотря на все только что пред тем перенесенное ею горе, было если не самым счастливым, то, во всяком случае, таким, которое давало надежду, что счастье еще возможно впереди, что не все погибло и что она может иметь еще на земле радости.

— Так зачем же вы уехали тогда? — спросил Чагин по-немецки, так как она лучше понимала вопросы на этом языке.

— Зачем? Так нужно было! — ответила Фатьма.

— Как «нужно»? Кто же вас заставил?

— О, меня никто не заставил, я сама...

— Сами? — удивился Чагин.— Вы сами уехали, когда только что говорили, что были счастливы или надеялись быть счастливой?

Фатьма вдруг вскинула на него свои темные, прекрасные, как у газели, глаза и спросила вместо ответа:

— А вы... сами любили?

Слово «любить» во всех формах она произносила по-русски, с трудом преодолевая первый слог и меняя гласный

звук на разные лады, что, впрочем, казалось удивительно милым у нее.

Чагин ответил на вопрос откровенно. Ему даже приятно было сказать именно этой милой, хорошенькой Фатьме, что он любит и счастлив.

— И где та, которую вы любите? — продолжала она.

— Она в Петербурге, в главном городе России,— пояснил Чагин,— там, где я живу, и она живет и ждет меня там.

— И все-таки вы уехали от нее?

— Да, мне нужно было уехать... по делу.

— Ну, вот, по делу... Так говорят... И мне нужно было, как вам... И я думала, что он ждет, а он начал думать другое... Он думал, что я люблю человека, который ехал со мною...

И Фатьма, дрогнув всем телом, добавила что-то на своем непонятном для Чагина языке, но, судя по выражению, с каким она это сделала, ее слова должны были заключать в себе чувство, еще большее, чем отвращение.

— Кто же был этот человек? — живо спросил Чагин, потому что они добрались до самого интересного для него места в истории Фатьмы.

— Кто был этот человек, с которым я уехала? — переспросила Фатьма.— Это был «он»...

На этот раз она произнесла это местоимение совсем иначе, чем произносила его, говоря о Лыскове.

— Кто «он»? — удивился Чагин.

И Фатьма, нагнувшись к самому уху Чагина, чуть слышно сказала:

— Тим-бек...

Казалось, она боялась произнести само его имя. Она говорила о нем с каким-то суеверным страхом, будто он обладал нечеловеческими способностями ко злу.

Оказалось, он отправился по их следам вскоре после их побега. Две путешествующие турчанки были явлением довольно заметным, и потому Тимбеку не трудно было, после нескольких усилий, расспросов и поиска их, напасть на их след. Узнал он тоже, что старая турчанка умерла, а молодая была принята русским полком и отправилась с ним. Найти полк было вовсе уже нетрудно.

Однажды Фатьма гуляла пред отведенным ей на одной из стоянок полка домом, как вдруг к ней весьма почтительно подошел незнакомый человек, одетый европейцем, вовсе не похожий на турка, и, к удивлению Фатьмы, заговорил с нею на ее родном языке. Он сказал ей, что ее отец бежал от преследования султанских войск во владения

русской государыни, что он в несчастье, простил жену и дочь и зовет их к себе.

Фатьма и хотела, и боялась поверить этому незнакомцу, но он показал ей письмо от отца. Она спросила, как он узнал ее, где он мог ее видеть? Незнакомец ответил, что если бы даже никогда не видел ее, то все-таки нашел бы, потому что он знал, что дочь Гуссейна-паши Фатьма — самая красивая из женщин на земле, и вот он встретил ее.

Турецкий язык незнакомого человека, его лесть и письмо от отца подействовали на Фатьму. Она спросила его имя. Он назвал себя Тимбеком.

При этом имени явившееся было в Фатьме доверие исчезло. Но Тимбек словно предугадал это и стал оправдываться пред нею, уверял, что сам он ни в чем не виноват, что действовал лишь как слуга своего господина, по его приказаниям, не исполнить которые не имел права, и сам боялся гнева Гуссейна. Он говорил, что если и сделал зло ей и ее матери, то это было невольное зло, не зависевшее от него, теперь же он является только посланным, и Фатьма, разумеется, может действовать по своей воле. Если она хочет утешить старика-отца в несчастье, то пусть едет к нему, а если ее жизнь среди неверных дороже, то пусть остается.

Фатьма была тогда уже христианкой, и ей странно было слушать такие слова от человека, который сам был когда-то христианином, и она долго не решалась.

Тимбек сказал ей, что нужно держать в тайне местопребывание отца, что он скрывается под чужим именем и что если узнают, то его выдадут султану для казни. Поэтому необходимо было, чтобы они отправились тайно и никто из русских не подозревал этого. Потом, повидавшись и переговорив с отцом, Фатьма сможет вернуться и выхлопотать для него, если он пожелает, убежище в России.

Наконец Тимбек добился того, что убедил Фатьму, и она решилась ехать спасти отца.

Однако она не сомневалась, что Лысков пустится по их следам. Так и случилось. Он настиг их в придорожном трактире. Тут Фатьма хотела призвать его, рассказать ему все, но Тимбек снова начал уговаривать ее держать все в тайне, если она не хочет рисковать головою отца. При этом он поклялся ей, что ее отец близко, что завтра на заре она увидит его и тогда может говорить с Лысковым.

Фатьма взяла свой молитвенник, подчеркнула в нем слова, которые впоследствии нашел Чагин, и поручила трактирщику передать молитвенник Лыскову.

Рано на заре они поднялись. Тимбек все время торопил. Они выехали из трактира и направились по дороге крупною рысью. Через несколько времени они подъехали к стенам каменного замка (Чагину был знаком этот замок). Они вошли в него не через ворота, но через маленькую дверь в стене.

Встретил их сам господин замка (так Фатьма называла барона Кнафтбурга) и передал Тимбеку мешок с деньгами.

На вопрос Фатьмы об отце — Тимбек только рассмеялся.

Тогда Фатьма поняла, что она продана в рабство — по ее понятиям это выходило так. И действительно, с ней стали обращаться, как с рабыней. Ни слезы ее, ни крики не трогали никого, и никто не являлся ей на помощь. Никто не видел ее, и она не видела никого.

Поместили ее в отдаленной глухой части замка, и к ней приходила только старая прислужница-немка. Правда, тюрьма ее была обставлена очень хорошо и кормили ее прекрасно.

Иногда к ней являлся барон, пытался вступать с нею в беседу, но Фатьма чувствовала отвращение к нему, делала вид, что не понимает его слов.

Тогда было поручено старой немке выучить Фатьму по-немецки. Однако уроки оказались затруднительны: Фатьма нарочно представлялась глупее, чем была.

Впоследствии барон стал все реже и реже являться к ней, и наконец наступила та страшная ночь, конец которой был известен Чагину лучше, чем Фатьме.

XXX

ПРИЕЗД В РИГУ

Весь переезд до Риги, в продолжение которого Фатьма успела рассказать всю историю Чагину, был совершен ими так скоро, как только это возможно было. По счастью, нигде не встретилось задержки в лошадях, и они прибыли благополучно.

Лысков ждал их в заранее обусловленной гостинице.

— Ну, что ты, как? — спросил его Чагин, входя в приготовленную им комнату.

— Здоровы, хорошо чувствуете себя? — спросил в свою очередь Лысков.— Хорошо, что не задержались — я вас сегодня первый день жду. По моим расчетам выходило, что вы сегодня должны приехать.

Лысков казался очень веселым и оживленным. Он хлопотал и суетился, показывал отведенную для Фатьмы отдельную комнату, торопил с обедом, рассказывал, что угостит их каким-то рижским сладким пирогом, который удивительно как хорошо делали в гостинице, и говорил почти без умолка.

Чагин несколько раз пытался допроситься от него сведений о Демпоновском, но он или делал вид, что не слышит вопроса, или отвечал общими, ничего не говорящими фразами.

— Давно ли ты-то приехал сюда? — спросил наконец Чагин, когда они сели за стол.

— Нет, ты вот это попробуй! — перебил Лысков, передавая ему блюдо с очень вкусными на вид сосисками с капустою.— Меня тут каждый день этим кормят. Ты знаешь, если немец за обедом не поел сосисок, то он уверяет, что вовсе не обедал...

Вообще Лысков словно стал совсем другим человеком. Теперь он уже не стеснялся, открыто улыбался, его глаза блестели, язык развязался и движения сделались быстры. Словом, он совсем ожил.

Фатьма тоже преобразилась. Она не сидела уже с опущенными ресницами, а доверчиво и смело глядела на окружавших ее мужчин, причем ее щеки вспыхивали каждый раз, как она встречалась глазами с Лысковым.

Чагин, видя свою новую неудачу с вопросом относительно Демпоновского, послушно взял себе сосисок и принялся тыкать в них вилкой, но странный тон Лыскова не понравился почему-то ему.

«Что же, он уже считает меня недостойным узнать о деле, что ли?» — невольно подумал он.

— Что, брат, вкусно? — продолжал, между тем, Лысков.— Ты погоди, ты никогда не едал настоящей немецкой кухни, вот попробуешь. Тут, брат, говядину с вареньем подают, зелень с колбасой... И все вот этакими маленькими кусочками...

«И что он все про еду говорит? — подумал опять Чагин.— Очень интересно мне это!.. Или он при Фатьме не

хочет рассказывать?.. Но тогда отчего же он не нашел минуты, чтобы нам остаться вдвоем?»

И вдруг он, как ему показалось, понял, почему ему не нравился разговор друга. Конечно, Лысков слишком рад свиданию с Фатьмой, вследствие чего ему и не хочется отпустить ее, хотя бы даже на минуту, и он счастлив, вполне счастлив. И вот это-то счастье и подействовало неприятно на Чагина. Хорошо Лыскову было радоваться и веселиться, когда та, которую он любил, была с ним теперь, и каково теперь ему, Чагину, сидеть и смотреть на их удовольствие и не знать, в каком положении дело, от которого зависят во многом его собственная судьба и любовь! Может быть, Лысков вовсе позабыл об этом деле и даже не старался о нем, увлеченный мечтами о своем счастье, и теперь не хочет говорить о Демпоновском просто потому, что ему не хочется думать ни о каких делах, ни заботах и ему решительно безразлично, будут добыты бумаги или нет.

«Да, разумеется,— рассуждал Чагин,— ему безразлично. Вон он сосисками занят и рижским пирогом, а до остального ему и дела нет».

— Слушай, Лысков,— проговорил он вслух,— что ж ты, однако, намерен делать? Я серьезно спрашиваю.

Лысков широко, добродушно улыбнулся и весело проговорил:

— А вот вернемся, Бог даст, в Петербург, тогда посмотрим. Венчаться будем в полковой церкви — ты ведь знаешь, между нами,— и он обернулся в сторону Фатьмы,— уже решено... Сейчас дадут шампанского, я велел... А пока мы устроим Фатьму у полкового командира. Он не откажет для меня.

Фатьма, понявшая, в чем дело, покраснела опять и опустила глаза.

Чагину неловко было не разделить радости своего друга, но вместе с тем он боялся, что эта радость повредит делу и тогда не исполнится его собственное заветное желание.

— Я не об этом говорю,— поморщился он,— я тебя который уже раз спрашиваю о деле.

— Все, все будет в свое время! — ответил на этот раз Лысков, но этот ответ казался таким неопределенным, что вовсе не был успокоителен, а, напротив, еще более подтвердил догадки Чагина.

Принесли шампанское. Лысков налил бокалы, и они стали пить за будущее их благополучие, хотя по отношению к себе, по крайней мере, Чагин сильно сомневался в нем.

XXXI

ГЛАВА, ПОКА ЕЩЕ НЕ ПОНЯТАЯ

Шампанское было выпито, когда в дверь комнаты, где сидели молодые люди, раздался стук, служивший обыкновенным условным знаком для разрешения войти.

— Войдите! — ответил Лысков по-немецки.

Дверь отворилась, и в комнату вошел русский купец с бородою, в синем армяке нараспашку, из-под которого виднелась красная рубаха с запонкой. По всему было видно, что купец зажиточный.

Лысков оглядел его, подмигнул глазом и оглянулся на Чагина.

— Узнаешь? — спросил он его.

Чагин глядел во все глаза на купца, но узнать его решительно не мог.

— Нет, не узнаю,— ответил он.

— Странно, а это должен быть твой знакомый. Или в Петербурге не встречались?

Чагин много встречал купцов в Петербурге, но решительно ни одного из них не помнил и не мог признать знакомого в этом посетителе.

— Может быть... не знаю,— сказал он и, встав из-за стола, отошел к окну, удивляясь, зачем Лыскову в Риге понадобился петербургский купец.

«Денег у него занимать собирается, что ли?» — мелькнуло у него.

Фатьма тоже встала и отошла за Чагиным.

— Ну, что, как дела? — спросил у купца Лысков.

— Товар передан,— ответил тот густым басом.

— Передан? — протянул Лысков.— Когда?

— Сегодня.

— Сейчас только? Ты времени не упустил?

— Никак нет.

В голосе Лыскова слышалось беспокойство.

— А другой кто? — спросил он опять.

— Все тот же самый.

Чагина это бесило не на шутку.

— Да что ты, торговлю разве затеваешь? — не утерпел он, чтобы не спросить.

Лысков не ответил ему и обратился снова к купцу:

— Ты наверное знаешь, что тот же самый?

— Наверное.

— Ну, хорошо, ступай!

Купец вышел; Чагин слышал, по крайней мере, как скрипнула за ним дверь.

Он стоял, приложив лоб к стеклу окна, и не хотел оборачиваться.

«Этакий огромный город,— думал он про Ригу, глядя в окно.— Кого тут найдешь?.. Знает ли Лысков, по крайней мере, где остановился Демпоновский? Дела какие-то затеял тоже... И надо же мне было сплоховать так, что я не могу серьезно потребовать от него объяснений, и не могу потому, что он сейчас может ткнуть, что два раза, мол-де, чуть не испортил, так и не суйся. Ну, хорошо, я смолчу, но только если и у него ничего не выйдет... разумеется, не выйдет... Где же найти тут?»

В это время он вдруг почувствовал, что стоявшая рядом с ним Фатьма крепко схватила его за руку и стиснула, как это может только сделать человек, боящийся упасть.

Он быстро оглянулся. Фатьма стояла вся бледная и свободною рукою указывала в окно.

Чагин глянул туда и увидел, что с противоположной стороны улицы переходил мостовую человек высокого роста, с осанистой, видной наружностью. Он высоко держал голову, так что отлично можно было разглядеть из окна его усатое, загорелое лицо.

— Это — он... он,— прошептала Фатьма.

— Он? — переспросил голос Лыскова, подошедшего тоже к окну.— Слушай, Фатьма,— заговорил он быстро и впервые при Чагине обращаясь к Фатьме на «ты»,— слушай, ты наверное не ошибаешься, что этот человек — тот самый, который сделал тебе столько зла в твоей жизни; наверное это — он?

Ясно было по всему выражению Фатьмы, кого она увидела в окно.

Чагин, пред которым в последнее время прошло столь необыкновенных на первый взгляд событий, даже не уди-

вился теперь этой новой случайной встрече. Напротив, при виде взволнованной Фатьмы он почему-то остался совершенно спокоен, как будто ждал и был предупрежден кем-то заранее, что именно все произойдет так.

Впоследствии, когда он, вспоминая всю эту историю, заносил ее на страницы своих записок, он чувствовал, что его правдивая история может показаться нарочно придуманной, но тогда, когда он переживал лично описанные им события, ему казалось, что это так просто, что иначе и быть не могло. Если он так неожиданно встретил самое Фатьму, отчего же было не встретить им и ее врага, тем более, что этот человек, переменивший религию и снова отрекшийся, принадлежал к числу авантюристов, какие часто попадались в среде современников Чагина и постоянно переезжали из города в город.

«Конечно, сия знаменательная встреча,— говорит в записках Чагин,— показаться может несбыточною и эфемерною, но кто осмелится судьбе законы предписывать? И мне, скромному свидетелю столь дивных событий, остается лишь назидания ради потомству передать их с полною простотою, сколь доступно сие слабому перу моему».

На вопросы Лыскова Фатьма ответила, что она не ошибается, что она узнала бы из тысячи человек того, кто разлучил ее с ее милым; но убедительными казались не столько слова, сколько то волнение и страх, которые охватили ее всю, когда она увидела переходившего улицу человека.

— Так это наверное — он? — спросил еще раз Лысков.

— Да, да! Я боюсь его,— ответила Фатьма.

Лысков задумался на минуту, а затем спросил:

— Хочешь, чтобы этот человек был схвачен и получил наказание за все, что он сделал тебе?

Фатьма молчала.

XXXII

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР

После вышеописанного эпизода Фатьма успокоилась не скоро. Лысков вдруг начал выказывать признаки нетерпения и сказал, что ему нужно ехать куда-то, что она просила его остаться и он не поехал.

Вновь у него на лице появились сосредоточенность и задумчивость. Раза два он выходил из комнаты и возвращался несколько успокоенный.

Наконец Фатьма, уставшая с дороги, пожелала идти спать, хотя так и не дала ответа на предложенный ей Лысковым вопрос об аресте человека, причинившего ей зло, и, простившись, ушла в соседнюю, приготовленную для нее комнату.

У Чагина тоже глаза смыкались, но Лысков продолжал ходить, сосредоточенно куря одну трубку за другою. Когда Чагин пробовал заговорить, он делал ему «тсс...», махал рукою и прислушивался к тому, что делалось в комнате Фатьмы.

— Ну, кажется, заснула,— проговорил наконец Лысков,— теперь едем.

— Как едем? Куда едем? — удивился Чагин.

— К генерал-губернатору.

— К генерал-губернатору?

— Да.

Лысков взял свой плащ и шляпу. Чагин должен был сделать то же самое.

Уходя, Лысков велел Захарычу остаться в их комнате на случай, если Фатьма спросит, где они.

Было совсем темно, когда они вышли на улицу.

— Послушай, но ведь поздно уже,— заметил Чагин.

— Ну, так что же?

— Да ловко ли в такую пору к губернатору? Ты знаешь его? Кто здесь генерал-губернатор?

— Граф Броун.

— Ты не знаком с ним?

— Нет.

— Ну, вот видишь ли! Как же мы так?

— Очень просто. Вот увидишь.

— Раньше нужно бы было...

— Да ведь ты сам видел, раньше она не пускала... Значит, нужно было выбирать: ее ли тревожить, или генерала Броуна. Ну, а ее спокойствие мне дороже. Вот и все!..— и, остановив ехавшего навстречу им извозчика, Лысков сел и велел ехать к генерал-губернатору.

В передней генерал-губернатора очень удивились, когда Чагин с Лысковым появились там в такой поздний

час. Сначала прямо заявили, что граф не принимает и что если нужно, то можно завтра утром. Но Лысков остался непреклонен. Он требовал немедленного доклада.

Вызвали дворецкого. Тот тоже упорствовал, заявляя, что граф кончает ужинать и после ужина пойдет спать.

— Ну, милейший, мне тут разговаривать больше некогда! — заявил Лысков.— Если ты не пойдешь сейчас же и не доложишь графу, что его спрашивают двое офицеров из Петербурга по важному делу, то я сам войду без доклада. Понял?

Это убедило наконец дворецкого, и он, проведя незваных гостей в приемную, пошел докладывать о них.

Броун заставил себя ждать. Чагин успел во всех подробностях разглядеть обитый полотном и раскрашенный потолок приемной, на котором были изображены волны и пловец в какой-то скорлупообразной лодке с надписью «Кормило мое держу твердо», пока наконец за дверью послышались шаги, и в комнате появился Броун. Он вошел морщась, как человек, видимо, только что хорошо поужинавший, которому помешали насладиться спокойствием после еды. Он не подал руки и сухо поклонился, глянув так, как будто сказал этим взглядом: «Я отлично знаю, что вы — гвардейские офицеры из Петербурга, но это ничуть не мешает вам обходиться со мною с должным генерал-губернатору почтением».

Лысков с Чагиным почтительно поклонились ему. Броун прищурился.

— Вы, государи мои, по делу? Говорите, что по важному делу? Посмотрим! — произнес он.

Лысков, нисколько не смутившийся приемом, смело и ясно ответил, что дело, по которому они беспокоят графа, действительно первостепенной важности.

— Дело идет об аресте одного очень вредного человека,— сказал Лысков.— Этот человек — поляк, бежавший в Турцию, отступившийся там от христианства и затем продавший молодую девушку, дочь своего бывшего господина...

Чагин, воображавший, что они явились по делу бумаг Демпоновского, и увидевший теперь свою ошибку, потому что Лысков хлопотал совсем о другом, потупился и нахмурился. Если бы он знал, что Лысков отправляется чуть ли не ночью к Броуну только затем, чтобы требовать ареста пресловутого Тимбека, то отказался бы ехать с ним.

«Вот как можно голову потерять! — подумал он про своего друга.— Забыл все и только и думал об одном».

— И вы имеете на это солидные доказательства? — спросил Броун.

— Имею.

— А этот человек — русский подданный?

— Не знаю, какой он подданный...

— Но, во всяком случае, вы могли бы, государь мой, и завтра явиться,— произнес Броун.

— Завтра рано утром он уезжает.

Броун задумался, а затем наконец проговорил:

— Я подумаю, разберу это дело, но, во всяком случае, тут нужно быть очень осторожным... Ведь если он не русский подданный...

— Я просил бы ваше сиятельство,— перебил Лысков, смягчая свою настойчивость тем, что титулует Броуна,— немедленно сделать распоряжение об аресте этого человека.

— Ого,— воскликнул Броун, подняв брови,— вы слишком поспешны, молодой человек!.. Так нельзя.

— Если вашему сиятельству,— спокойно продолжал Лысков — мало указанных мною причин для ареста, то вот еще одно подтверждение! — и он, вынув из кармана камзола сложенную вчетверо бумагу, подал ее Броуну.

Тот развернул ее, просмотрел и вдруг сделался очень серьезен.

— Да, это — другое дело,— шепотом уже сказал он.— Вы уполномочены перехватить польские бумаги, и если этот человек везет их, то я обязан содействовать вам... Вы говорите, арестовать нужно сейчас же?

— Да, сейчас же,— спокойно ответил Лысков.

— Прошу подождать! — сказал генерал-губернатор и вышел из комнаты.

XXXIII

ОБЪЯСНЕНИЕ ГЛАВЫ ТРИДЦАТОЙ

Как только Броун вышел, Чагин, весь красный, с налившимися кровью глазами, большими шагами приблизился к Лыскову и схватил его за руку.

— Этого я не ожидал от тебя,— заговорил он, волнуясь и глотая слова.— Как? Ты для своих целей, для того, чтобы успокоить ту, которую любишь, решился воспользоваться данным тебе полномочием? Ты мог, ты должен был арестовать Демпоновского, а вместо него забираешь другого, который нужнее тебе по личному делу?.. Этого я не ожидал, извини меня, но я не ожидал...

Лысков, снова прежний невозмутимый Лысков, улыбаясь, смотрел на друга.

— Не кричи так! — сказал он.

— Нет, буду кричать, и мало того — заявлю, скажу, что надо арестовать Демпоновского, а не того, которого ты желаешь схватить... Тебе хорошо, а мне-то каково? Ведь, упустив Демпоновского, я лишаюсь сам весьма многого... Ты подумал ли хоть об этом, а?..

— Да замолчишь ли ты? — проговорил Лысков, сложив руки.— Я тебя взял потому, что думал, что ты хоть на этот раз сдержишь условие — слушаться... Два раза чуть не испортил всего, так помни, на этот раз испортишь, поправить нельзя будет.

— Два раза испортил! Ты поймал меня на этом, как будто сам не можешь делать промахов... А тут, брат, очевидно... Нет, как хочешь, я не могу согласиться.

— Да не соглашайся, только не мешай!

— И помешаю... Так нельзя...

— Пойми ты — бумаги больше не у Демпоновского.

— Как, не у Демпоновского?

— А так. Они у того человека, в котором Фатьма узнала Тимбека.

— Ты не шутишь?

— Нимало.

— Постой!.. Откуда же ты знаешь это?

— Откуда? Оттуда, что я слежу за ним с самого приезда в Ригу. Ты видел сегодня у меня купца и не узнал его?

— Ну?

— Ну, этот купец — Бондаренко, переодетый...

— Неужели?

— Ага, вот теперь «неужели»? Да, Бондаренко. Я одел его купцом и поместил в той гостинице, где остановился Демпоновский, рядом с номером, который тот занимает.

Сегодня Бондаренко пришел и сообщил мне при тебе, что бумаги переданы, а ты ничего не понял.

Все случилось так, как говорил Лысков. Бумаги действительно оказались у самозванца Тимбека, арестованного по причине его прошлых деяний.

Лысков с Чагиным привезли их в Петербург и получили за исполненное поручение должную награду.

Но главная награда состояла для них в том счастье, которое они нашли, женившись каждый по давно сделанному ими выбору.

СОДЕРЖАНИЕ

Волконский М. Н.

В 68 Сочинения: В 4 т. Т. 3. Воля судьбы. Забытые хоромы / Сост. Т. Ф. Прокопова.—М.: Пресса, 1992.— 384 с.

ISBN 5—253—00630—3

В третий том Сочинений М. Н. Волконского включены два произведения. Сюжетным стержнем романа «Воля судьбы» стала история восшествия на престол Екатерины II. События романа «Забытые хоромы» разворачиваются в течение нескольких дней, но за столь короткий срок его герои — офицеры Лысков и Чагин, исполняющие секретное поручение российского двора, оказываются втянутыми в водоворот самых невероятных приключений.

В $\frac{4702010101-2582}{080(02)-92}$ **2582—92**

84 Р 1

Литературно-художественное издание

ВОЛКОНСКИЙ
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Сочинения в четырех томах
Том 3

ВОЛЯ СУДЬБЫ
ЗАБЫТЫЕ ХОРОМЫ

Составитель
ПРОКОПОВ ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВИЧ

Редактор
Е. М. КОСТРОВА

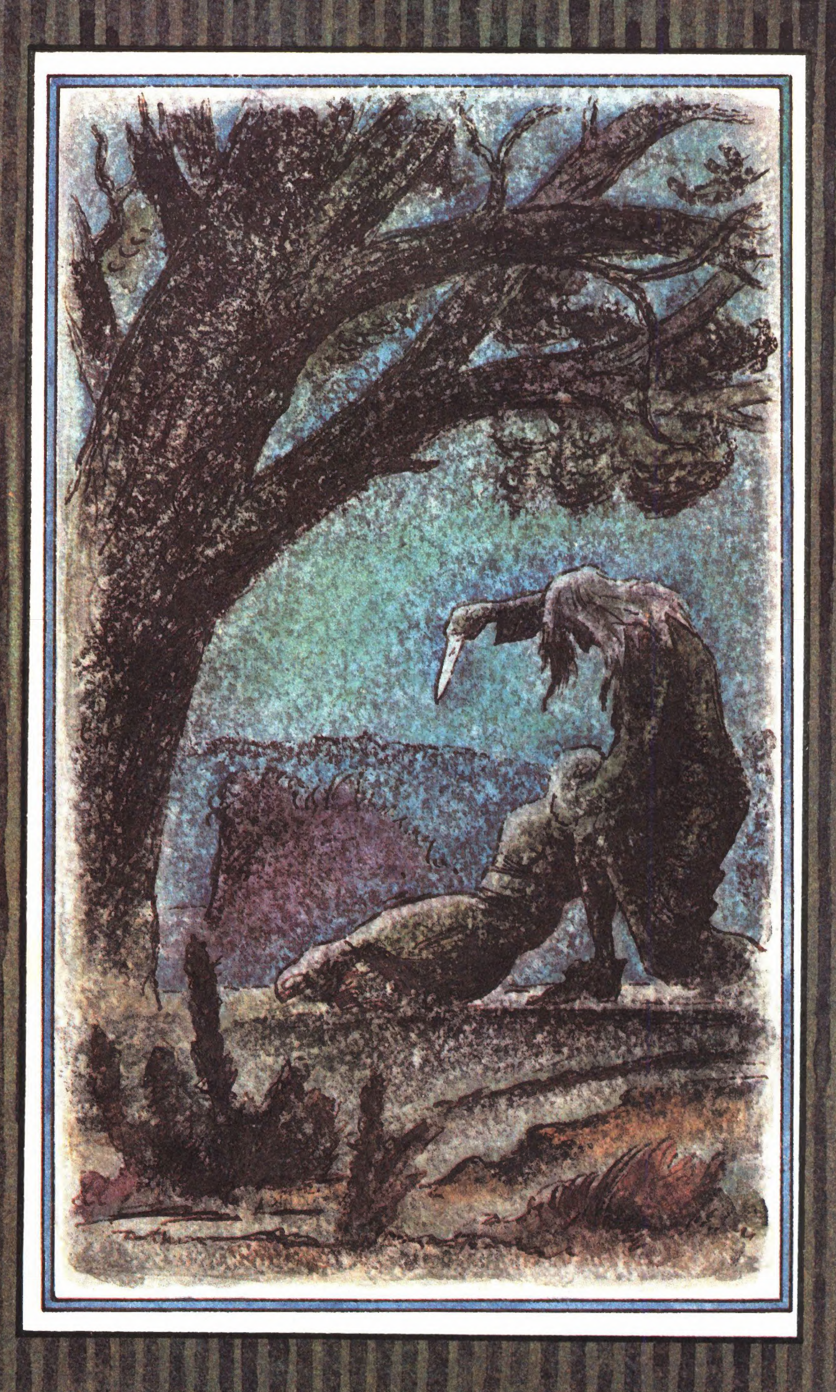
Художественный редактор
И. С. ЗАХАРОВ

Технический редактор
В. Н. ВЕСЕЛОВСКАЯ

ИБ 2582

Сдано в набор 30.01.91 Подписано к печати 13.02.92.
Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага газетная.
Гарнитура «Академическая» Печать высокая.
Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,58. Уч.-изд. л. 21,98.
Тираж 660 000 экз. (1-й завод: 1—220 000 экз.)
Заказ № 317. Цена 10 руб.

Набрано и сматрицировано в типографии
издательства «Пресса».
125865, ГСП Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
Отпечатано в типографии издательства
«Советская Сибирь». 630048, г. Новосибирск, 48,
ул. Немировича-Данченко, 104.




3
М.Н.Волконский